

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

МАРК АЗОВ
АНДРЕЙ АНПИЛОВ
СЕРГЕЙ АРНО
ГУРАМ БАТИАШВИЛИ
АНАИДА БЕСТАВАШВИЛИ
СЕМЁН ГРИНБЕРГ
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ
АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ
БОРИС КАМЯНОВ
АЛЁНА КАРИМОВА
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ
САМИЛЛА МАЙЗЕЛЬС
ДАВИД МАРКИШ
СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ
ЕВГЕНИЙ МИНИН
ЛИОН НАДЕЛЬ
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР
МИХАИЛ СИПЕР
МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН
МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН
И ДРУГИЕ

№32



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2009' 32

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

От всей души поздравляем наших авторов –
поэта и художника
Сусанну ЧЕРНОБРОВУ
с присуждением ей СРПИ премии им. Д. Самойлова,
прозаика Якова ШЕХТЕРА
с присуждением ему СРПИ премии им. Ю. Нагибина,
афориста Геннадия МАЛКИНА
с присуждением

מחלקת לקליטת עליה בחיפה
חדש ל פרץ 20 חופה 2004
9133

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

32 2009

Иерусалимский журнал, № 32, 2009 9133

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ а также antho.net/jr/index.html

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Редактура и корректура: **Бина Смахова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютинна, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Российский Еврейский Конгресс



Фонд
«Русский мир»



Отдел литературы
при Управлении культуры
Министерство науки, культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2009. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Семен Тринберг

В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

* * *

То ли в Устныя Торе или Рут Мегилат,
То ли было взаправду или так говорят,
Возвращалась Наоми из Моава в Эфрат,
А Бейт-Лехем – сплошные мечети.
И пришла, поднялась на вершину холма,
И смотрела на город, красивый весьма,
Где возвысился новый квартал Ар-Хома
И сновали еврейские дети.
Дело прошлое, много воды утекло,
Что ни год отступает Кинерет,
Баклажаны не шекель, а два пятьдесят за кило,
И стреляют везде, а не только в районе Гило.

* * *

Приснилось мне, что мне приснился сон.
Во сне, который первый, настоящий,
Был стол накрыт на несколько персон,
И я сидел со всеми наравне,
И вышел, как бы выразиться проще,
И постоял, приблизившись к стене.
И поднял голову. Полночное светило
Посередине купола светило,
Цикады опадали на траву,
Всё шевелилось и происходило,
Как наяву.

* * *

И приблизилось время светящих витрин,
Разукрашенных букв ПАНАСОНИК и МЕЦ,
И закат, состоящий из двух половин,
За холмы и строенья ушёл по колена,
И особенно виден летящий дворец –
Недостроенный дом королевы Ярдена.

И куда эта улица – не угадать,
Никого, ничего, ни людей, ни рептилий.
Среди белых оград и цветов бугенвиллий
Благодать.

* * *

Олив немного, несколько всего,
Всё больше олеандры, кипарисы.
Решётки, стены, сомкнутые трисы
Увиты виноградным рококо.
Напротив парикмахерской Азам
Аптека, Оптика и обувная лавка.
Не нравится? Заметно по глазам.
Не слышно музыки и в этом тупике,
Лишь истуканы в трикотажных плавках.
У каждого по яблоку в руке.
Теперь припомни. Вспомни и сравни
Про эти самые или другие дни,
Когда, надев очки в простой оправе,
Как манекен, хотя и без весла,
В сырую полночь из дому ушла
За Каберне и сыром Скандинави.

* * *

Между витрин располагался вход.
Толкнувши льва игрушечную морду,
Обычную в домах такого сорта
На правой стороне от Керен Аясод,
По лестнице, кружившейся в мансарду,
Где кроме ветхих стульев и стола
Заметным украшением была
Картина длинная работы Леонардо,
Весьма похожа на оригинал –
Последний Седер-Песах Иисуса.
Сей постер, как положено, являл
Собой предел изящества и вкуса.

* * *

Уж вечер близился. В отеле Трёх олив,
Где жил Дантес, слагавший Vita nova,
Бывали короли без королев,
Живал небезызвестный Казанова,

И этих и другой угадывался след,
Тянувшийся назад почти две тыщи лет, –
Запечатлённого в холсте и глянцевого бумаге,
Который пил вино и преломлял мацу,
Раскрашенный в цвета, как на российском флаге,
И узнаваемый по узкому лицу.

* * *

Под вечер умер старый господин.
За стенкой слышно постучали в номер,
Топтались многие, хотя он был один,
Мужские, женские казались голоса.
Потом утихло. Через полчаса
Вернулись и обронули: «Помер».
Отель как вымер. Тихие ковры,
Цветы растений, лестницы, охрана,
И птицы тоже вышли из игры.
Шёл мелкий дождь, заладивший с утра.
Напротив засветилась нора
Восточного как будто ресторана.

* * *

Знакомые в районе Бар-Илан
Бесчисленные лавки и киоски,
Тылы строений с пятнами извёстки,
Толпа напоминающих цыган,
Под шляпами скрывающих причёски,
Как говорил, смеясь, один болван,
И этот двор, где собрались подростки,
Когда представился их ребе Йоханан.

* * *

Смеркается. Все выглядят, ей-богу,
Как бы сказать, надменными слегка,
И первый же попавшийся ханыга
Покручивает пальцем у виска
И мужики, похожие на крабов,
И жёны – на стрекоз величиной глазищ
Осознают присутствие арабов
По чёрным бойлерам на кровлях их жилищ.

4 ноября 2005

* * *

Полуодета, на плечах вуали,
Зажёгся свет на низком этаже,
Две тени, две руки, кувшин на стеллаже,
Автобус двинулся, виденья исчезали.
Ещё зигзаг – и улица Янай
Втекает в многорядный путепровод,
Жизнь продолжается, и русские идут,
И сам собой
Истаивает Старый город
За пару продолжительных минут.

* * *

Ночь опускается. Сograждан кое-как
Утешили, уgomонили.
У дома двадцать два по Узиель,
Где реб Ицхак
Сидит под лепестками бугенвиллий,
Большое дерево, похожее на ель.
Оно и впрямь ни летом, ни зимой,
Ни осенью не сбрасывает ризу.
И лунный серп висит над головой,
Своею выпуклостью обращённый книзу.

Светлана Шенбрунн
*РОЗЫ И ХРИЗАНТЕМЫ**

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Что это? Жжет, жжет, разрывает ноздри! Я пытаюсь вырваться, выгибаюсь, кручу головой, но кто-то держит за плечи, вжимает голову в подушку, затыкает нос какой-то мерзкой тряпкой... Нашатырь, это нашатырь, ну да, у нас дома есть маленький черненький пузырек, когда папа приходит домой совсем пьяный, мама отвинчивает пробку и сует ему под нос. Зачем, зачем они это делают?!

– Очнулась, – говорит кто-то.

– Наконец-то!

Я не хочу, не хочу!.. Зачем они заставили меня очнуться? Мне было хорошо! Зачем!? Столпились вокруг меня...

Что-то такое было... Мамино письмо! Бабушка...

– Бабушка! Бабушка!!! Бабушка!.. – кричу я.

– Хорошо, хорошо, – говорит кто-то, – успокойся, не вопи так...

Она умерла! Как они не понимают? Бабушка! Бабушка умерла! Я пытаюсь вскочить, вырваться. Умерла... Теперь она не увидит вот этих деревьев! Вот этих деревьев! Не увидит этих зеленых деревьев!

– Успокойся, – говорит тот же голос. – Хватит, хватит уже!..

Они не знают, они не читали письма!..

– Ну, вы подумайте! – Теперь я вижу: это Вера Алексеевна. – Что за мать! Идиотка какая-то! Извините, что я так говорю, но иначе не скажешь, ведь знает, небось, своего ребенка! Могла бы сообщить мне, я бы как-то подготовила. Нет, это надо уметь! Поспешила, написала, боялась, не успеет! Пожар какой. На следующей неделе родительский день, так нет – потребовалось слать письмо! Сидит себе там в Москве, а мы тут, выходит, за всё ответчики.

– Да, можно подумать, такая исключительно замечательная новость! – соглашается с ней врач Ирина Самойловна. – Не терпит отлагательств! И умерла-то, насколько я понимаю, две недели назад, ничего бы не случилось, если бы еще несколько дней потеряла со столь ценным сообщением.

– Бабушка, бабушка, бабушка! – кричу я. – Бабушка!..

– Ирина Самойловна, ну, сделайте что-нибудь, невозможно же так... Дайте ей успокаивающее.

– Легко сказать... – вздыхает Ирина Самойловна.

– И мать хороша, и дочка, я вам доложу, тоже не подарок! Нет, я ее больше ни за что не возьму, пусть даже и не мечтают! Сегодня

* Первые две части романа были опубликованы в 1999 году в журнале «Дружба народов» (в сокращении) и в 2000 году – в изд-ве «Текст» отдельной книгой, которая вошла в финальную шестерку премии «Букер».

же позвоню в литфонд. Отец, я так понимаю, не особенно какой-нибудь там... выдающийся... Нужно выяснить.

– Бабушка! Бабушка, бабушка!!!

– Перестань, успокойся!..

Я не могу, не могу, не могу успокоиться! Этого не должно быть! Не может быть! Почему она умерла?! Она не должна была умирать!!!

Я не хочу, не хочу...

Ирина Самойловна пытается засунуть мне в рот какую-то таблетку. Ни за что, ни за что! Бабушка умерла...

– Еще и кусается! – говорит Ирина Самойловна. – Придется сделать укол.

– Ну так сделайте укол! – сердится Вера Алексеевна. – Вот ведь мучение...

Девочки стоят вокруг и смотрят. Да, нельзя так кричать, нельзя, стыдно так кричать, но что же мне делать? Они не понимают, не понимают!.. Она больше не увидит!.. Ничего не увидит! Никогда... Даже этих деревьев...

Держат, держат меня... Я, кажется...

Темно, темно и ничего не видно, чуть-чуть светится белая оконная рама. Девочки не спят, я чувствую, что они не спят – шушукуются потихоньку. Про меня... Ужасно, что я так кричала... Зачем я так кричала?

– Вы не спите?

Никто не отвечает, все молчат. Плохо... Может, они знают что-то такое, чего я не знаю? Письмо... А потом? Не помню... Как я очутилась в палате? Стояла на пригорке, были белые странички мамино письма, так плавно опускались на меня откуда-то сверху... Выходит, кто-то перенес меня в палату...

– Хотите, я что-нибудь расскажу? – говорю я спокойно, совершенно спокойно, как будто ничего такого не было, как будто это вообще не я так ужасно кричала. – Я читала книжку... Про одного студента. Он жил в Австрии...

– Расскажи, – откликается кто-то.

– Его звали Фридрих, он жил в маленьком городке с отцом и матерью, в горах, на берегу озера. Но потом он уехал в столицу, в Вену, чтобы учиться в университете. В Вене ему очень нравилось, потому что Вена большой город, ну, почти как Москва. Шикарный такой город, много театров и вообще всего, магазинов, карет, всяких замечательных вещей. Мать и отец присылали ему деньги, и он снимал комнату в мансарде вместе с еще одним студентом. И вот однажды он получил от матери письмо. Мать сообщала, что его отец тяжело заболел, поэтому Фридрих должен немедленно ехать домой. Ему было жалко отца, но ужасно не хотелось уезжать из Вены, он просто не мог себе представить, как он уедет и больше не увидит своих товарищей, университета, театров. Родной его городок теперь казался ему таким маленьким, скучным. Вообще, раньше жизнь в маленьких городках была очень тоскливая, существовало даже такое правило, чтобы в десять часов вечера тушить все огни и ложиться спать.

– Как у нас в лагере! – говорит Белла Корабельская.

– Сосед по комнате стал утешать его, сказал, что ничего страшного не случилось, отец поправится, и Фридрих сможет снова вернуться в Вену. Но дома он застал отца в очень тяжелом состоянии. Врач сказал, что отчаиваться рано, следует надеяться, что организм справится с болезнью...

Конечно, организмы должны справляться с болезнями... А бабушкин организм... Я чувствую, что у меня опять перехватывает горло. Только бы не заплакать. Только не заплакать... Это будет еще хуже... Зачем я стала рассказывать?..

– А дальше? – спрашивает кто-то от окна.

Я молчу, и девочки молчат.

– Дальше... Я завтра расскажу...

– Вставай, вставай, дружок! С постели на горшок! – играет горн.

Подъем. Да, нужно встать. Проснуться и встать. Буду всё делать, как положено. Чтобы Вера Алексеевна не говорила: «И мать хороша, и дочка тоже не подарочек». Надо же – я так и спала в платье, даже одеваться не придется, а сандалии я никогда не надеваю, всё время хожу босиком, сандалии у меня есть, но они просто так, «для красоты», я их ненавижу, у всех девочек есть нормальные туфли или босоножки, а у меня эти сандалии, как у маленькой. Неважно, какая разница, я привыкла ходить босиком, нужно только причесть и заправить койку. Немножко кружится голова...

– Нет, ты лежи, лежи! – говорит Ирина Самойловна. – Завтрак тебе принесут.

– Я лучше сама пойду...

– Нет уж, лежи. От греха подальше. И прими вот это. – Она опять засовывает мне в рот какую-то таблетку, которую я совершенно не хочу глотать, но пусть, не буду с ней спорить, буду делать все, как они скажут, буду совершенно хорошая, спокойная девочка.

Ирина Самойловна уходит, но тут же появляется Вера Алексеевна.

– Ну, как ты? Ничего? Вот и правильно! А то раскудахталась, как кочка на насесте!

Раскудахталась?..

– Я могу встать, честное слово...

– Лежи! Письмо твое... – Она кладет на тумбочку измятые и сомканные листочки, придавливает их ладонью и уходит.

Письмо, правда, я ведь так и не дочитала его. «17-го числа умерла мама...» В груди у меня опять всё сжимается, я закрываю глаза и лежу, жду, пока это пройдет. Ни за что не стану больше кричать и плакать. «17-го числа умерла мама, а эта скотина, твой отец...» Что?.. Внутри у меня всё холодеет, перед глазами начинают качаться серые круги. «... эта скотина, твой отец...» Какой ужас, какой позор! Что теперь будет?.. Бедный папа... Ведь это... Это... Я вся дрожу, не могу унять дрожь, мне кажется, даже кровать трясется подо мной. «... появился домой под утро, разумеется, мертвецки пьяный, в таком состоянии, что, поверь, не опишешь никакими словами, не сумел даже доползти до порога собственной комнаты, рухнул в коридорчике и вдобавок опрокинул на себя твою раскладушку, так что, я полагаю, перебудил всех соседей, ни один извозчик не позволит себе назюзюкаться до подобного непотребства, полное

забвение всех норм, принятых в мало-мальски приличном обществе, я уж не говорю об элементарном уважении к близким, бог с ним, с уважением! Но такое скотство, такая подлость, такая низость, полнейшее отсутствие всех сдерживающих центров, должны же, в конце концов, существовать какие-то пределы? Сам летит в бездонную пропасть и меня толкает туда же, растянулся, представь себе, под дверью, не знаю, может, воображал, что я кинусь поднимать его, друга любезного, вот уж, действительно, прекрасная роль – жена мастерового, которая волочет на себе из кабака пьяного мужа! Да еще в такой кошмарный день, когда родная мать валяется в морге, и что более всего удивляет: казалось бы, уже пережито столько ударов судьбы, пора бы, наверно, как-то привыкнуть, смириться, но нет, не удастся, всякий раз это свинство, это бездушие потрясает заново, причем с каждым днем падение всё глубже, в прошлом году еще хоть как-то прислушивался к моим словам, пытался хотя бы отчасти сохранить видимость приличий, а теперь всё окончательно забыто и отброшено, что ни день, то новое издевательство, если бы мне кто-нибудь сказал...»

И они все это читали! Читали все это!.. И Вера Алексеевна, и Ирина Самойловна, и вожатые, и воспитатели, и девочки – весь лагерь! Одна только я не знала, что тут написано...

«Воистину, остается только удивляться, сколько человек может вынести, а как подумаю, что еще ждет впереди, так, ей -богу, начинаю жалеть, что не сдохла вместе с матерью, недаром, видно, сказано: пожалеешь о том дне, когда появился на свет...»

Пожалеешь о том дне, когда появился... Я давно жалею о том дне, когда я появилась на свет, но что же теперь делать? Что теперь делать?! Если бы можно было вдруг исчезнуть, раствориться, провалиться сквозь землю, никогда больше никого не видеть... Может, попробовать совсем не дышать? Вдохнуть один раз воздух, и все, больше не дышать. Бедный папа! Теперь, конечно, все узнают, и разстреляют, и в Литфонде – Вера Алексеевна постоянно ездит в литфонд! – и в Союзе Писателей, и в Правлении... И в «Новом мире», и в «Октябре»... Все друг с другом знакомы, будут рассказывать, смеяться... Я, я во всем виновата! Как я могла, как я позволила?! Как я допустила, чтобы весь лагерь прочел такое письмо?! Убить меня мало! Бежать, бежать отсюда!

Девочки возвращаются из столовой, такие веселые голоса... Они, конечно, все знают... Не дышать, не дышать. Я комкаю письмо и прячу под подушку. Притворюсь, будто сплю. Если бы можно было спать, спать и никогда не проснуться, зачем они сделали так, чтобы я очнулась? Бабушка! Бабушка, если бы ты не умерла!.. Хотя бы эта кровать превратилась в ковер-самолет и вылетела в окно вместе со мной и с проклятым письмом! Нет, не останусь здесь, ни за что не останусь! Уйду пешком в Москву, может, какой-нибудь волк накинет на меня в лесу и сожрет, и никто не узнает, что со мной случилось, будут искать и не найдут. А письмо разорву на мелкие клочки, чтобы никто его больше не смог прочесть!

– Весь день, весь день, – рассказываю я вечером, после отбоя – да, буду притворяться, как будто ничего не случилось, как будто я ничего не читала, никакого письма, – весь день Фридрих ждал, что

друзья придут повидаться с ним, послушать про его счастливое житье в Вене...

Буду рассказывать, пока все не уснут, а потом встану и уйду отсюда, насовсем, чтобы меня вообще больше не было тут, чтобы нигде не было. Расскажу им про Фридриха, который живет в Австрии, а потом встану потихоньку и уйду в лес...

– Но никто так и не пришел к нему. «Может, они еще не знают, что я приехал?» – подумал Фридрих. Под вечер не выдержал и вышел немного прогуляться. Ему повстречались два школьных товарища, он поспешил им навстречу, но они как-то странно посмотрели на него, даже не поздоровались и прошли мимо. Самое удивительное, что через несколько минут то же самое повторилось: еще раз еще два приятеля прошли мимо него, не узнав и не поздоровавшись. Фридрих растерялся. «Неужели я так сильно изменился?», подумал он.

– На следующее утро он разыскал своего самого хорошего товарища и пригласил его позавтракать вместе в кондитерской в центре города. Но опять что-то было не в порядке. Фридрих видел, что знакомые как-то нарочно сторонятся его, стараются не смотреть в его сторону, а если и здороваются, то очень сухо и сдержанно, как будто им известно про него что-то нехорошее...

– Не кажется ли тебе странным, – спросил он товарища, – что никто не хочет поприветствовать меня? Неужели никто не рад тому, что я вернулся? Посмотри, люди избегают даже глядеть на меня, как будто я чем-то их обидел или совершил какой-то скверный поступок. Уж не распустил ли тут кто-нибудь в мое отсутствие какую-то нелепую клевету, подлый слухок?

– Нет, дело не в этом, – усмехнулся товарищ, – просто у тебя завелся двойник, да, представь себе! Я думал, ты уже имел честь повстречать его, он постоянно околачивается в самых людных местах, ужасно неприятный тип, вздорный, нахальный, но при этом похож на тебя, как две капли воды, как родной брат-близнец, удивительное сходство! Счастье еще, что он носит бородку, а то вас вообще невозможно было бы различить. Все в нашем городе, особенно те, которые не очень хорошо с тобой знакомы, встречая его, думают, что это ты, да ты и сам наверняка скоро наткнешься на него, не знаю, на что он живет, но выглядит он полным бездельником и при каждом удобном случае успевает хоть чем-нибудь досадить людям. Ужасный человек, грубый, невоспитанный, необразованный, однако, должен заметить, сметливый и острый на язык.

– Откуда же он взялся в нашем городе? – воскликнул потрясенный Фридрих.

– Этого никто не знает, – ответил товарищ, – возник внезапно вскоре после твоего отъезда. Между нами, – прибавил он, понизив голос и оглянувшись по сторонам, – мне кажется, что и болезнь твоего отца каким-то образом связана с его появлением, поверь мне, он мог использовать ваше сходство в неблагоприятных целях.

– Неблаговидных целях? – удивился Фридрих. – Каких именно?

– Да мало ли, каких? – сказал товарищ. – Твой отец человек уважаемый, пользуется всеобщим доверием, представь себе, что в какую-нибудь солидную контору или в банк является некто, как две капли воды похожий на тебя, и заявляет, что пришел по поручению отца...

– Слушай, не пугай меня! – воскликнул Фридрих.

– В таком городке, как наш, – сказал товарищ, – честное слово человека до сих пор значит гораздо больше, чем любая расписка или вексель.

– Что это – вексель? – спрашивает Катя Семенова.

– Ну, такая долговая бумага... Не знаю точно.

– Какая разница! – сердится Лёля Левицкая. – Не мешай, дай слушать!

– И вот, – продолжаю я, – не прошло и часа, как Фридрих и вправду повстречал своего двойника, причем рядом с собственным домом. Можно было подумать, что тот специально дожидался его. Если бы не русая борода, прикрывавшая нижнюю часть лица самозванца, Фридрих подумал бы, что перед ним поставили зеркало и он видит собственное отражение: те же прямые брови, та же узкая переносица, светло-голубые глаза и, что самое удивительное, то же темное родимое пятно на виске – только не на правом, как у Фридриха, а на левом. Отражение, наклеившее бородку. Фридриху почудилось, что у него украли внешность. Он невольно потянулся рукой к своему правому виску проверить, на месте ли родимое пятно. Двойник стоял перед ним, не двигаясь, нахально усмехался и слегка покачивался с носков на пятки. Фридрих почувствовал, что бледнеет под его презрительным взглядом и вот-вот лишится чувств. С великим трудом он взял себя в руки и двинулся дальше, двойник как будто хотел последовать за ним или что-то сказать, но передумал и позволил ему пройти мимо.

Зайдя в дом, Фридрих, не снимая пальто и шляпы, упал в кресло. Все его мысли смешались и перепутались. «Кто этот человек? – думал он. – Он что-то замышляет, может быть, даже что-то опасное, необходимо принять какие-то меры». Но не мог сообразить, какие. Нужно было с кем-то посоветоваться, но с кем? Отец слишком слаб и болен, его нельзя беспокоить, всякое волнение может убить его. Оставалось только одно: поговорить с матерью. «За всем этим скрывается какая-то тайна, – думал Фридрих, – какая-то ужасная тайна...» Так он просидел в кресле полчаса, а может, и больше, наконец в комнату заглянула служанка, а следом за ней появилась и мать, госпожа Феербах.

«Хорошо, что ты вернулся, – сказала она, – я не знала, как мне поступить с завтраком, ты ушел, не позавтракав...»

«Я позавтракал в городе, – буркнул Фридрих. – Мама, мне необходимо поговорить с тобой. Ты, наверно, и сама заметила, что тут происходит что-то очень странное...»

Мать вздохнула и ничего не ответила. Фридрих подумал, что она догадалась, о чем он собирается с ней говорить, но даже если она и догадалась, то предстоящий разговор, судя по всему, нисколько ее не радовал... В это время...

Я смотрю на оконную раму. Что это? Кто-то стоит там. То слегка отступает, то вплотную придвигается к стеклу. Я сажусь на постели и изо всех сил вжимаюсь спиной в подушку.

– Что в это время? – спрашивает кто-то из девочек.

– В это время...

Нет, там в самом деле то-то стоит! Женщина... Наклоняется... Длинные белые волосы развеваются под ветром, взлетают над

головой... Два прозрачных глаза – в точности, как у Гали Константиновой! Светятся, как два лунных камня...

– Ну, что ты? Рассказывай! – требуют девочки. – Что дальше?

– Не знаю, – говорю я, – не помню... Давайте лучше спать.

– Ну, пожалуйста! – упрасивает Мира Долгопольская. – Так нечестно! На самом интересном месте!

– А что ты хочешь – чтобы тебе за одну ночь пересказали всю книгу? – заступает за меня Света Федина.

Я смотрю на оконный переплет и боюсь отвести глаза. Почему никто из девочек не замечает, что там кто-то стоит, за окном? Сказать им? Нет, не буду, они еще подумают, что я совсем сошла с ума... Спрятаться под одеяло? А если она, эта женщина, заберется в палату? Нет, в лес я сегодня не пойду, ни за что не пойду...

Утро, тепло, солнышко светит, пригревает плечи и спину, я сижу на пригорке над речкой. Кучка земли шевелится, осыпается у моих ног. Это крот роет себе нору, прокладывает подземные ходы, а лишнюю землю выталкивает наверх. Мальчики иногда раскапывают норы и вытаскивают крота наружу. Он толстый, черный и очень симпатичный. У него такая плотная блестящая шуба. Я ни за что не стала бы выкапывать крота – пускай себе живет, занимается своими делами, запасает зернышки на зиму.

В столовую я сегодня не пошла, не хочу никого видеть... Все пошли на завтрак, а я потихонечку убежала на речку. Как это замечательно, что в Алешине есть речка! Посижу вот так, не буду ни о чем думать, ни о чем...

Кусты вдруг раздвигаются, и на пригорок взбирается Галя Константинова. Откуда она узнала, что я тут? Или просто так шла и случайно наткнулась на меня? А может, она почувствовала, что я тут? Если она чувствует взгляд, может, она умеет почувствовать, где искать человека?

– Хорошо тут... – Галя присаживается на ствол упавшего дерева.

– Хорошо, – соглашаюсь я.

– Самое приятное, что никого нет...

Как это никого нет? А я? Какая она красивая... За этот год она сделалась еще красивее. Удивительная девочка...

– Полно земляники, – сообщает Галя.

Я не отвечаю. Да, конечно, тут везде много земляники, особенно на кладбище.

– Ты очень любила бабушку? – спрашивает она.

– Не знаю, не думаю...

– А почему же ты так кричала?

– Ты думаешь, это из-за любви? Нет, по-моему, любовь тут вообще ни при чем. Даже если бы я ее совсем не любила, всё равно это ужасно, что она умерла...

Галя подымает свои необыкновенные светло-серые прозрачные глаза и смотрит на меня так, будто старается угадать мои мысли. Будто уже читает взглядом мысли, которые у меня в голове... Раньше она никогда со мной не говорила, ну может, несколько слов случайно, а теперь вдруг интересуется, почему я так кричала...

– Ведь это ужасно, с говорю я, – был человек и вдруг его нет. Целый человек, со всеми его... – Мама сказала бы «бзиками», но

мне не хочется говорить про бабушку «бзиками». – Со всеми его мыслями, разговорами, поступками... Был, и вдруг ничего нет... И уже никогда не будет. Это ужасно, нечестно, несправедливо!

– Наоборот, – не соглашается Галя и отводит наконец свой лунный взгляд от моего лица, – смерть – это самая справедливая вещь на свете, может быть, это единственная справедливость на земле. Умирают все: и самые богатые, и самые сильные. В конце концов умирают все...

– Да... Но так не должно быть...

– Что значит – не должно? Невозможно ведь жить вечно.

– Люди не должны умирать!

– Ты чудная... Ты хотела бы, чтобы люди старели, старели и никогда не умирали? Чтобы весь мир наполнился древними стариками?

– И стареть не должны, это тоже неправильно.

– А если какой-нибудь ужасный злодей? Гитлер, например? Ты хочешь, чтобы он тоже жил вечно?

– Не знаю, может быть, если люди не будут стареть и не будут умирать, то никакого Гитлера вообще не будет. Может, это всё из-за смерти.

Галя молчит.

– Ты говоришь: справедливость. Про такую страшную вещь, про смерть, ты говоришь: справедливость? Значит, если немцы убивали всех евреев, и взрослых, и маленьких детей, это, по-твоему, справедливость?

– Нет, конечно, – хмыкает она, – убивать это преступление, а когда убивают детей, то это вдвойне, втройне преступление, потому что дети... Это ведь не только их убивают, вместе с ними убивают и их детей, вообще всё их потомство.

– Никакая смерть не может быть справедливостью.

– А сколько ей было лет?

– Семьдесят два.

– Все-таки она была уже старенькая.

– При чем тут старенькая? Она была живая! Она была! Понимаешь, была! А теперь ее нет...

Зачем она делает это? Зачем она говорит со мной об этом? Я сейчас опять закричу...

– Зато теперь у нее ничего не болит. Ты должна радоваться, что она больше не мучается.

– Что значит, не мучается?

– Ну, ничего не чувствует...

– Значит, ты совершенно не понимаешь, что такое смерть. Никто не понимает, и получается, что ты тоже не понимаешь. Ты говоришь так, как будто это какой-то отдых от боли, от мучений, какой-то санаторий.

– А разве нет?

– Конечно, нет. «Ничего не чувствует!» Это живой человек может чувствовать, а может не чувствовать, вот ты, например, чувствуешь сейчас запах земляники, а я, допустим, не чувствую. А смерть это совсем другое, смерть это когда ничего не может быть – невозможно чувствовать и не чувствовать тоже невозможно, точно также невозможно, понимаешь? Ничего невозможно, совсем! Пустота... От этого я кричала, а вовсе не от того, что любила бабушку.

– Я и говорю, что ты чудная, – хмыкает Галя и опять впивается в меня своим пронизывающим взглядом. – Ты любишь физику?

– Ну, в общем, да. Папа всё время покупает мне всякие такие книжки.

Зря, зря я сказала про папу. Галин папа ушел от них, вдруг он вообще ничего не покупает ей?

Мы сидим друг против друга, я на траве, она на стволе поваленного дерева, срываем круглые длинные травинки, у которых внутри как будто трубочка, грызем передними зубами и молчим.

– Ты говоришь: смерть – это вообще ничего, – произносит Галя задумчиво, – но ведь ты ее помнишь, правда? И другие люди ее помнят, а пока кто-то помнит ее, получается, что она еще не совсем умерла.

Помню? Да, конечно... Я сижу за столом, делаю уроки, а бабушка входит в комнату и начинает рыться в маминых тряпках, что-то искать, оказывается, она на кухне порезала палец и хочет теперь перевязать его, подходит к окну, чтобы лучше видеть, просит меня, чтобы я разорвала край тряпки и завязала узелком, я подхожу к ней и завязываю маленький аккуратный узелочек, окно открыто, потому что тепло, весна, душистый ветерок залетает в комнату, такой приятный сладковатый запах пыли и солнца, мне так хорошо от этого теплого ветерка, от весеннего запаха, оттого, что мы с бабушкой стоим рядом у открытого окна... И белая тряпица у нее на пальце с этим аккуратным узелочком мне очень нравится, я и сейчас, вот в эту минуту, чувствую рядом ее руку, ее теплое тело, даже лучше чувствую, чем травинку, которую сжимаю в зубах. Но зачем, зачем теперь это все, если бабушка умерла? Теперь мне больно от всего этого, грудь у меня разрывается на две половинки...

– Она живет в памяти других людей, – повторяет Галя.

– Которые потом тоже умрут.

– А ты сама никогда не хотела умереть? – спрашивает она.

Сказать или не говорить? Нет, лучше не говорить. И вообще, при чем тут я?

– При чем тут я?

– Значит, хотела, – решает Галя.

– Даже если хотела, это совсем не то же самое.

– Почему же? Абсолютно то же самое.

– Я тогда была маленькая.

– Я тоже один раз хотела умереть...

Я жду, что она скажет дальше, но она ничего не говорит. Мы смотрим на речку, по которой плывут широкие темно-зеленые листья, не плывут – лежат на воде, чуть-чуть колыхнутся, темно-зеленые листья и желтые кувшинки... Потом это тоже будет воспоминание. Неужели и от него будет так же больно?

– А ты хотела бы сейчас, вот прямо в эту минуту, оказаться в Москве? – спрашивает Галя.

– Нет...

В Москве? Что мне делать в Москве?... «И вдобавок опрокинул на себя твою раскладушку, так что, я думаю, перебудил всех соседей...» Нет, я не хочу в Москву.

Отбой, нужно бежать мыть ноги, с грязными ногами Ирина Самойловна не разрешает ложиться в постель, она очень строго следит,

чтобы все обязательно мыли ноги, сама лично ходит по палатам и проверяет. Если замечает у кого-то грязные ноги, начинает возмущаться, и главное, ругает Кармелу, нашу вожатую, как это она допускает, чтобы мы залезали в постель с грязными ногами!

Чтобы как следует вымыть ноги, нужно, во-первых, мыло – мыло душистое, во-вторых, полотенце – полотенце пушистое, – пушистых полотенец нам не выдают, выдают два вафельных, одно, побольше, для лица (так называется «для лица»), а второе, поменьше, для ног, а в-третьих, нужна какая-нибудь обувь, чтобы не идти обратно в корпус босиком. Мыла у меня нет, давным-давно куда-то пропало, полотенце я почему-то обязательно забываю взять – каждый день помню, что нужно взять полотенце, и каждый вечер забываю, а сандалии я никогда не вытаскиваю из тумбочки, не хочу даже видеть их. Я задираю ногу под умывальник – четыре длинных жестяных умывальника, как четыре корыта, подвешены на деревянных планках сбоку от корпуса – задираю ногу и тру ее просто так водой без мыла. Потом изо всех сил отряхиваю чистую ногу от воды и осторожно становлюсь этой почти сухой ногой на землю, тру точно так же вторую ногу и тоже стряхиваю с нее остатки воды, а потом на цыпочках пробираюсь в корпус. В начале смены возле стены еще была полоска зеленой травы, по ней запросто можно было пройти, не запачкавшись, но теперь травы уже нет, высохла, а может, вытоптали, теперь труднее находить чистое местечко, куда можно поставить ногу, но ничего, я делаю большие-большие, огромные шаги, чтобы поменьше наступать на землю.

В палате девочки накручивают мокрые ленты на спинки кроватей, за ночь ленты успевают высохнуть и становятся как будто глаженные, я ничего не накручиваю – ленты у меня старые, выцветшие и совсем узенькие, как тесемочки, что толку их накручивать? Красивее они всё равно не станут.

Наконец все девочки укладываются в постель, Кармела проверяет ноги, останавливается возле меня, вздыхает, но ничего не говорит и проходит дальше. Кармела испанка, из тех испанских детей, которых привезли в Советский Союз после того, как в Испании победил фашист Франко.

– Рассказывай! – требует Мила Загоскина, подбивая подушку.

Это я должна рассказывать, я обещала. Я смотрю на оконные переплеты, они почти сливаются с вечерними сумерками. Нет там никакой женщины с прозрачными лунными глазами, выдумки, Ика говорит: «морок дурной головы», но может, привидения появляются только в полной тьме, только после того, как часы пробьют полночь?

– Рассказывай! – упрашивают девочки.

– Только на следующий день, – начинаю я, – Фридриху удалось наконец остаться с матерью наедине. Он надеялся, что она что-то знает, ведь должно быть какое-то объяснение таинственному сходству между ним и неприятным незнакомцем, но надежды его оказались напрасными: госпожа Феербах твердила, что ей ничего не известно ни про какого двойника, она его не видела, не встречала и совершенно не понимает, о чем Фридрих говорит.

А двойник, между прочим, существовал, и не просто существовал, а преследовал Фридриха, поджидал его на каждом углу и даже приставал с какими-то глупыми вопросами и просьбами.

«Не подскажете ли, любезный господин, где тут ратуша?» – заливался он дурацким хохотом, стоя возле этой самой ратуши.

Или принимался выпрашивать у Фридриха несколько монет на табак. Фридрих попробовал объясниться с ним, но из этого тоже ничего не вышло, на любой вопрос двойник отвечал: «Не имею чести знать, ваша милость».

«Как тебя звать, ты хотя бы знаешь?» – спросил Фридрих, стараясь сдержать свою злость.

«Имя-то, конечно, есть, – отвечал его преследователь, – да только оно не настоящее, я ведь подкидыш, ваша милость, добрые люди, которые меня вырастили, окрестили Францем».

«А где ты жил прежде?» – спросил Фридрих. – Ты ведь не из нашего города».

«Боюсь, что в этом, – отвечал двойник, – вы как раз ошибаетесь, ваша милость. Сдается мне, что я как раз из вашего города, а жил во многих местах, всех не упомнишь, да и зачем вам знать?».

«Чего ты от меня хочешь?» – добивался Фридрих. – Скажи наконец, что тебе нужно!».

«Чего мне хотеть от вашей милости?» – пожимал тот плечами. – Разве что поменяться внешностью!» – И опять хохотал.

Ночью, не в силах заснуть, Фридрих ворочался в постели и пытался найти какую-то разгадку своего ужасного положения.

«Допустим, думал он, допустим, что моя бедная матушка по какой-то причине не могла иметь детей, и вот... И вот в один прекрасный день она находит на крыльце своего дома младенца, и, разумеется, с радостью берет его себе, но на самом деле у этого младенца, то есть у меня, имеется брат-близнец... Которого его родная мать по каким-то своим соображениям либо оставила у себя, либо подкинула в другую семью, может, опасалась, что люди не захотят взять на воспитание сразу двоих детей... Но если так, размышлял он дальше, если я подкидыш, усыновление, согласно закону, должно быть оформлено...»

Утром он помчался проверять свое предположение, но никаких документов об усыновлении нигде не обнаружилось. А чиновник, к которому он обратился за помощью, бросал на него чрезвычайно странные взгляды. «Ну что же, решил Фридрих, не исключено, что отец и матушка решили скрыть, что нашли подкидыша, и выдали меня за своего родного сына. В такой ситуации люди могут не посчитаться с законом».

Ему удалось разыскать старичка-врача, который двадцать три года назад вроде бы навещал роженицу и младенца, но тот не смог припомнить ничего особенного, заявил, что лично при родах не присутствовал, но думает, что подозрения Фридриха безосновательны, а впрочем, посоветовал ему расспросить акушерку, которая принимала роды. «К тому же, молодой человек, – сказал врач, – даже если бы я знал больше, чем я знаю на самом деле, я не стал бы разглашать тайну моей уважаемой пациентки». Выяснилось, что акушерка, принимавшая роды у госпожи Феербах, умерла два года назад. Ее дочь, с которой Фридриху удалось поговорить, была столь любезна, что разыскала книгу, в которой ее мать записывала даты родов. Против имени госпожи Феербах было записано, что в ночь на такое-то число та благополучно разродилась младенцем мужского пола и

уплатила за оказанные услуги такую-то сумму. Фридрих успел заметить, что сумма превышала размеры обычной платы, но это, разумеется, еще ни о чем не говорило: ведь и роды у пожилой матери могли оказаться более сложными, чем обычно. И тут Фридриху пришла в голову блестящая, как ему показалось, мысль посвятить в свои соображения проклятого двойника! Может, тот как-нибудь проговорится и против собственной воли подскажет разгадку.

«Знаешь, что я подумал? – сказал Фридрих своему мучителю при следующей встрече. – Мы с тобой так похожи, что могли бы и подружиться. Почему бы нам для начала не посидеть вместе за кружкой пива?»

«Кружка пива, – возликовал тот, – чрезвычайно ценное с вашей стороны предложение! У меня давно уже пересохло в горле!».

И посетители, и хозяин погребка с изумлением взирали на двух молодых людей с абсолютно одинаковыми лицами, но совсем по-разному одетыми. Фридрих велел принести им пива и заговорил первым.

«Ваши догадки не лишены интереса, ваша милость, – сказал Франц, даже не дослушав Фридриха, – но я-то, – сказал он, – в отличие от вас, в точности знаю, как оно было на самом деле. Вы правы: ваша матушка и вправду затруднялась подарить вашему батюшке наследника, но под конец Господь наградил его аж двумя сыновьями-близнецами, правда, не от благочестивой супруги, а от проживавшей на соседней улице белошвейки. Вот тут-то, ваша милость, наши с вами пути и разошлись. С одной стороны, не желая простить супругу измены и пылая жаждой мести, но с другой стороны, признавая за ним право иметь законного наследника, ваша любезная матушка согласилась принять в дом мальчика, но только одного. Второго же, лишнего, коим, по злосчастному недоразумению, оказался именно я, отослали с глаз долой и пристроили в крестьянской семье на другом конце страны с условием, чтобы воспитанник никогда не узнал о своем истинном происхождении. Хотя ваш батюшка – правильнее сказать, наш общий батюшка – и высылал регулярно деньги на мое воспитание и пропитание, однако они расходовались не на одного меня, а на всех восьмерых детишек, которых моя приемная родительница произвела на свет. Она-то, благодарение Богу, не страдала бесплодием и что ни год пополняла семейство новым голодным ртом, так что в отличие от вас, ваша милость, мне с малых лет довелось узнать, что такое нужда и тяжелый труд, и хотя никто не посвятил меня в тайну моего рождения, но нутром я чувствовал, что не создан для столь ужасного положения. В пятнадцать лет я сбежал из дому. Не стану затруднять вас рассказом о своих мытарствах, скажу только, что судьба вовремя привела меня в этот город – как вы уже поняли, родной для нас обоих».

«Допустим, – сказал Фридрих, – допустим, что твой рассказ, мой названный братец, верен, и мы действительно некогда появились на свет от одной и той же матери и одного и того же отца, но чего ты хочешь теперь?».

«Своей доли! – сказал Франц, всем телом подавшись вперед и пристально глядя Фридриху в глаза. – Тем более что батюшка наш, как я понимаю, дышит на ладан и вскорости покинет сей бренный мир. Хочу признания своих законных сыновних прав!».

«По моему разумению, — произнес Фридрих, немного поразмыслив, у тебя нет никаких прав. Даже если все, что ты рассказал, чистая правда, ты никогда не был записан как его сын, а закон верит только бумаге, да и вообще, откуда у тебя все эти сведения?».

«Откуда у меня эти сведения, не ваше дело, — пробурчал Франц, — но тебе, дорогой брат, все-таки придется потесниться и уступить мне половину отцовского наследства, достаточно значительного, как я успел выяснить».

«А если я откажусь?» — спросил Фридрих.

«А если ты откажешься, — прошипел Франц, придвинувшись к нему вплотную, — то в один прекрасный день тебя не станет. Ты исчезнешь, и я без труда займу твоё место, потому что никто не усомнится в том, что я — это ты. Надеюсь, ты не сделаешь такой глупости. Подумай, ведь лучше получить половину, чем не получить ничего. Видишь, может, я не так образован, как ты, но умом господь Бог и меня не обидел! — И он опять захохотал на весь погребок. — Мое предложение честное, — добавил он, успокоившись. — Не заставляй, братишка, брать грех на душу».

«Какой гнусный, отвратительный тип! — подумал Фридрих. — Похож на меня как две капли воды, и при этом такая низкая коварная тварь... Испорченная, преступная личность...».

Так что никакой пользы от этого разговора не вышло, а вышли, наоборот, одни только неприятности, но в дальнейшем он имел неожиданные последствия.

— Кто имел? — спрашивает Катя Семенова сонным голосом.

— Разговор.

— Какой разговор? — не понимает Мила Загоскина.

— Да ну вас, девочки! — говорю я. — Вы уже спите.

— Мы не спим, — спорит Катя, — ты попонятней рассказывай.

— Разговор имел неожиданные последствия, — повторяю я, — что тут непонятно?

— Какие последствия? — спрашивает Ляля Светлая.

Больно хитрая — так всё сразу и расскажи ей! Я пока и сама не знаю, какие. После придумаю. Когда рассказываешь, обязательно надо придумывать что-нибудь такое таинственное, какие-нибудь неожиданные последствия, иначе будет неинтересно.

— Последствия, — объясняет Таня Зеленская, — это то, что последовало. Что из этого вышло.

— Ладно, про последствия потом, — говорю я. — Пока что Фридрих снова стал добиваться от матери, чтобы она открыла ему тайну его рождения, даже потребовал, чтобы она поклялась на Библии, что он ее родной сын, а не приемный, но госпожа Феербах и слушать не пожелала.

— Оставь меня! — воскликнула она гневно. — Как тебе не стыдно — отец твой лежит на смертном одре! — и залилась слезами.

— А дальше? — спрашивает Катя.

— Дальше расскажу завтра, — говорю я.

— Ну вот, всегда так!..

— Это рассказ с продолжениями и последствиями, — хихикает Наташа Горская.

Ночью мне снится сон — чудной такой, но очень красивый. Как будто я иду через маленькие уютные дворики, дома по сторонам

невысокие, двухэтажные, как на Хорошёвке, и тоже выкрашены желтой краской, но свежей, блестящей, в каждом доме высокая круглая арка, а за аркой дворик, клумба с цветами, деревья, зеленые скамеечки, всё такое веселое, приветливое, еще одна арка, еще один дворик... Я иду, иду, цветов становится всё больше, трудно уже найти место, куда поставить ногу, чтобы не помять их. Крупные, пышные цветы с пухлыми красными лепестками, и всю землю устилают толстые мягкие стебли – не выдерживают тяжести головок, сгибаются, падают на дорожки. Кажется, наступишь на такой цветок, из него сразу брызнет розовый сок.

Из кустов выглядывает пушистый зверек, я пугаюсь, хочу спрятаться от него, но не вижу, где тут можно спрятаться.

– Не бойся, – говорит Галя Константинова, – он ничего тебе не сделает.

Я оглядываюсь – она стоит на крылечке в нарядном голубеньком платье. Воротничок и карманчики оторочены беленькими кружевцами.

– Кто это? – спрашиваю я.

– Мангуста, – говорит она.

– Мангуста? – удивляюсь я. – Похож на медвежонка...

– Нет, это мангуста, – объясняет Галя, – их тут много.

Зверек встает на задние лапы и протягивает ко мне передние, я тоже протягиваю к нему руки, он кладет свои тонкие рыжие лапы с длинными острыми когтями в мои ладони. Какой он большой, почти с меня ростом!

Из-под арки вдруг появляется Вера Алексеевна.

– Что за безобразие! – возмущается она. – Кто это допустил, чтобы по территории пионерского лагеря разгуливали животные? Это, в конце концов, пионерский лагерь! На территории пионерского лагеря запрещено держать животных! Ирина Самойловна, куда вы смотрите?

Мангуста пугается ее голоса, приседает, сжимается и удирает. Мне ужасно жалко, что он убегает от меня, так жалко, что я даже начинаю плакать – громче, громче, и просыпаюсь.

В палате темно, девочки спят. Почему мне приснился мангуста? Я никогда в жизни не видела мангусту, даже на картинке не видела, вообще не знаю, как он выглядит, может, это бабушка превратилась теперь в мангусту? Она всегда говорила, что ей не страшно умирать, потому что она всё равно на том свете воскреснет. Что если она там воскресла и стала мангустой?..

Родительский день. Мы все в пионерских формах – и девочки, и мальчики: темный низ, белый верх. Сестра-хозяйка выдала нам белые кружевные покрывала и такие же белые кружевные накидки на подушки. Палата сделалась очень нарядная, кровати похожи на снежные сугробы, или на пирожные безе, присыпанные сахарной пудрой.

– Ты почему босиком? – ловит меня Вера Алексеевна.

– Я всегда босиком...

– Всегда меня не интересует! – сердится она. – Меня интересует сегодня. У тебя что, нету обуви?

– Есть...

– Так иди и немедленно обуйся!

Что делать? Придется надеть эти несчастные сандалии. Действительно, не зря же я их привезла, хоть один раз нужно надеть. Хоть они и очень противные.

Мы бродим по территории и ждем автобусов, которые привезут родителей, а они все не едут и не едут.

– Ну, это все-таки далеко, – говорит Риша (Ира Барашина), – это вам все-таки не Ильинка.

– Да, так что же, они после ужина приедут? – ноет Наташа Горская.

Автобусов не видно, и Вера Алексеевна заставляет Сережу Канторовича сыграть горн «на обед». Никто не торопится идти в столовую, все хотят ждать родителей, но Вера Алексеевна обещает, что как только автобусы покажутся на горизонте, она тут же объявит.

В родительский день дают самую вкусную вещь на свете: консервированный сливовый компот! И еще вареную курицу с рисом. На каждый стол на восемь человек полагается одна курица. Дежурные – сегодня дежурят мальчишки из первого отряда – разносят тарелки. Выясняется, что перед Ришей, Беллой Корабельской, Ёлкой Евсеевой и Галей Константиновой они поставили тарелки с половинками куриной ноги, перед Светой Фединой и Олей Ожановой с кусками грудки, а нам с Наташей Горской достались крылышки с куском спины. Я бы этого, наверно, вообще не заметила, но Наташа отпихивает свою тарелку и говорит:

– Вот еще! Я тоже хочу ногу! Дайте мне ногу!

– А у курицы всего две ноги, – ехидничает Белла Корабельская, – это у свиньи четыре.

– Если ты такая умная, вот и ешь сама эту гадость! – Наташа еще сильнее отпихивает свою тарелку.

– Это не гадость, а вареная курица, – поправляет Белла и как ни в чем не бывало принимает за свою порцию.

– Я хочу ногу! Ногу и все! Пускай мне принесут ногу! – визжит Наташа и колотит руками по столу. – Почему им ногу, а мне эту гадость?

Вожатые и воспитатели на другом конце столовой поднимаются из-за своих столов.

– Что такое, Наташа? – волнуется Кармела. – В чем дело? Что случилось?

– Я хочу ногу! Ногу и все! Пускай мне дадут ногу! – рыдает Наташа.

– Ну, что ты? Ну, подожди... – пытается урезонить ее Кармела. – Замечательная курица...

– Замечательная?! – кричит Наташа. – Что тут есть в этом крыле? Покажи мне, покажи! Тут одни кости! Может, еще капелька кожи. Я ненавижу куриную кожу!

– Ну почему же?... Крыло и часть грудки, – доказывает Кармела.

– И главное, – не унимается Наташа, – именно мне эту гадость!

Вера Алексеевна, которая до этого стояла у дверей, спешит к нашему столу.

– Тихо! – требует она. – А ну-ка быстренько все замолчали! Успокойся! Я кому говорю, успокойся! Тут пионерский лагерь, а не что-нибудь, понимаете, такое! Сейчас подъедут автобусы, а ты орешь, как оглашенная!

– Буду, вот назло вам буду орать как оглашенная! – обещает Наташа. – Папа с мамой приедут, я им всё расскажу! Да, не беспокойтесь!

Расскажу, как дежурные лучшие куски раздают своим подружкам, а дочери поэта Горского пихают какое-то несчастное крыло!

– Девочки! – пытается Вера Алексеевна восстановить спокойствие. – Поменяйтесь кто-нибудь с ней.

– Ну вот еще, – говорит Белла, – с какой стати? Подумаешь, принцесса!

Я смотрю в свою тарелку. Я бы поменялась, но у меня у самой крыло...

– Ага, подайте ей то, подайте ей это! – издевается Риша. – А то она рассердится и задрыгает ножками! Дома у мамочки будешь кушать ножку!

– Вот именно, – фыркает Белла. – Дочь великого поэта Горского!

– Лермонтов какой нашелся! – поддерживает ее Оля.

Никто не любит Наташу, я, в общем-то, тоже ее не люблю...

– Я чувствовала, чувствовала! – сокрушается Вера Алексеевна. – Надо было делать котлеты. Котлеты, и никаких кур! Это вы, Ирина Самойловна, со своими идеями – в родительский день курицу! Вот вам и курица! Котлеты, и не было бы места ни для каких претензий!

– Да он вообще, если хотите знать, никакой не Горский, – объявляет Дима Рагозин, один из дежурных. – Если хотите знать, его настоящая фамилия Гольдберг.

В столовой становится тихо, все смотрят в свои тарелки и молчат. Нет, никто тут, похоже, не хотел знать настоящей фамилии поэта Горского. Здесь почти у всех настоящие фамилии не совпадают с теми, что наши папы или мамы ставят на обложках своих книжек. Я тоже на самом деле не Шатилова, а Олина настоящая фамилия Бурштейн.

– Галя, я прошу тебя, – говорит Вера Алексеевна, – я лично от себя прошу! Лично для меня сделай такое одолжение! Поменяйся с ней этой проклятой ногой, уступи ей!

– Да пусть берет, пусть подавится! – Галя подталкивает свою тарелку к Наташе и вскакивает из-за стола. Стул с грохотом падает за ее спиной. – Желаю тебе сожрать все куриные ноги на свете! – бросает она Наташе. – Как всё это мерзко, как отвратительно! Я уеду отсюда, сегодня же!.. – И не оборачиваясь, ни на кого не глядя, высокая и стройная, направляется к двери.

– Вот и попроси свою маму, чтобы она забрала тебя отсюда, – говорит ей вслед Света Федина, – сегодня как раз есть такая возможность.

– Да, как же – заберет она, – фыркает Белла Корабельская, – разбежалась!.. Еще и на вторую смену оставит.

– Зато привезет еще одно нарядное платье, – добавляет как-то печально Ёлка Евсеева.

– Перестаньте, девочки, не болтайте чепухи, – сердится Вера Алексеевна. – А ты ешь! – набрасывается она на Наташу. – Получила свою ногу, так ешь теперь!

– Приехали, приехали! – Все бегут встречать родителей, подпрыгивают и стараются увидеть своих мам и пап через окошко автобуса. Родители Тани Зеленской приехали следом за автобусами в собственной машине и привезли огромную собаку, добермана.

– Уф! Ничего себе дорожка!.. – говорит чей-то папа. – Все кости порастрясло.

– Ничего, главное, добрались...

Папы и мамы выпрыгивают из автобусов, обнимают и целуют своих детей и расходятся с ними в разные стороны. На площадке перед столовой остаемся только мы с Верой Алексеевной, да еще водители автобусов.

– Что, не приехали? – спрашивает Вера Алексеевна.

– Не знаю... – говорю я.

– Чего ж тут не знать? – удивляется она, но для верности еще раз заглядывает внутрь автобусов, как будто надеется увидеть там моих маму и папу, как будто они сидят там и не догадываются выйти. – Не приехали! Ну, ничего, не грусти. Не расстраивайся, может, заболели.

– Наверно, – говорю я и изо всех сил стараюсь не заплакать.

Только бы не заплакать... Зачем? Зачем я надела эти проклятые сандалии! Я поворачиваюсь и бегу за угол столовой, Вера Алексеевна кричит что-то мне вслед, но я не слышу ее.

За столовой колхозное поле, на нем недавно поставили стога – огромные, с трехэтажный дом. Мы не видели, как их складывали, но я умею залазить на них. Я сама догадалась, как можно на них залезть. Нужно только поглубже засовывать руки вглубь стога и хвататься за сено. Травинки в глубине сбиты так плотно, что за просто выдерживают мой вес, я перебираю руками и ногами и лезу, лезу вверх прямо как по лестнице. Стог мягкий и душистый, можно зарыться в сено и спать, а можно просто лежать, смотреть в небо и слушать, как кричат птицы. Всякие букашки и муравьишки ползают по травинкам, взбираются иногда на ноги, щекочут шею, кто-то попискивает внутри стога, может, мыши? Ну и что, пускай, они сюда не полезут...

Не приехали, почему они не приехали?

Какой-то треск, шелест вниз, шаги... Кто-то идет, кто бы это мог идти сюда? Деревенские ребята? Нет, они бы переговаривались, перекрикивались, шумели. Может, они видели, как я забираюсь сюда, и теперь нарочно договорились подкрасться потихоньку? Они ненавидят нас, если мы проходим мимо, они всегда кричат всякие гадости и обзывают нас очень нехорошими словами. За что они так ненавидят нас? За то, что мы живем в их школе?

Я подкатываюсь к краю стога, заглядываю вниз и почти сталкиваюсь голова к голове с Кармелой.

– Я видела, как ты побежала сюда, – объясняет Кармела, переваливается через край стога и усаживается возле меня.

Значит, она тоже умеет забираться на стог.

– Почему ты убежала? Из-за того, что родители не приехали?

– Что мне там делать? Сидеть одной на площадке?

– Нет, я понимаю, – говорит она. – Конечно, это обидно – ко всем приехали, а к тебе нет. Может, заболели?

– Может, – соглашаюсь я.

Мама всегда говорит, что она тяжело больной человек, но на самом деле она даже гриппом никогда не болеет, у нее даже насморка не бывает. Вот у папы два раза была рожа, такое заболевание – рожа, с очень высокой температурой, он сказал, что это из-за окопной жизни, в окопной сырости размножаются стрептококки и проникают в организм через маленькие ранки и ссадины на

коже. Но после войны прошло уже много времени, не может быть, чтобы стрептококки всё ещё размножались...

– У мамы большое сердце, – говорю я, чтобы Кармела не подумала, что они просто так не приехали, не захотели приехать. – У нее один раз даже был сердечный приступ и она чуть не умерла. Давно, во время войны...

– А к нам вообще никто никогда не приезжал, – говорит Кармела, – у нас никогда не было родительского дня.

– Где? – спрашиваю я.

– В интернате, и в лагере тоже...

Я смотрю на нее сбоку. Ну почему она такая некрасивая? Худая, глаза запавшие, как у старой старухи, под глазами коричневые круги, и нос торчит, как у курицы. Неужели все испанки такие некрасивые? Папа иногда, когда сидит за машинкой, напевает песенку – задумывается о чем-нибудь и напевает:

Запах аптекарской склянки,
Блеск воспаленных очей,
Всё это есть у испанки,
Дочери южных ночей...

Испанка – это грипп, которым вся Европа переболела после Первой мировой войны. Мама говорит, что от этого гриппа умерло двадцать миллионов человек – даже больше, чем погибло на всех фронтах. Двадцать миллионов от одного гриппа... Это невозможно представить – двадцать миллионов человек... А папина сестра Ира умерла от тифа в двадцать втором году, во время Гражданской войны. Мама говорит, что тогда люди тысячами умирали от тифа.

– Я даже не знаю, есть ли могила у моего отца, – говорит Кармела. – Скорее всего, нет. Их вообще не хоронили, просто сбрасывали с откоса в реку.

– Откуда ты знаешь?

– Люди рассказывали, я сама плохо помню Испанию...

– А сколько тебе было лет, когда тебя увезли оттуда? – спрашиваю я.

– Девять.

– Девять лет? Ты должна помнить! Как это ты можешь не помнить?

– Не знаю... Было так страшно... У нас многие ничего не помнят. Я даже не помню, когда я последний раз видела маму. Даже этого не помню...

– У нас тоже было страшно во время войны, – говорю я, – но я всё помню.

– Тут у вас было иначе, не так, как там... Зато я помню, как нас везли на пароходе. Долго-долго, и как будто пересаживали с одного парохода на другой. Сначала, мне кажется, был какой-то маленький пароходик, а потом пересадили на большой, и почти не кормили. Мы все ужасно хотели есть, ты не представляешь себе, как мы страдали от голода. А матросы время от времени заглядывали в каюту, показывали шоколадку и старались выманить какую-нибудь девочку. Но мы не выходили, мы уже знали, что нельзя выходить, потому что если кто-нибудь выйдет, то изнасилуют и выбросят за

борт, это несколько раз случалось, что девочка выйдет и больше уже не возвращается.

Изнасилюют... В «Тихом доне» Аксинью изнасиловал отец, и мать с братом убили его за это. Но Аксинья была уже не маленькая девочка, ей уже было шестнадцать лет.

– А если и давали какую-нибудь еду, то бросали прямо на пол, как скотине, а сами стояли и смеялись. Им нравилось, что мы подлизываем с пола и деремся за каждый кусок, – рассказывает Кармела.

– Что же это был за пароход? – спрашиваю я. – Чей он был? Какой страны?

– Не знаю, – говорит Кармела.

– Но на каком языке они говорили, эти матросы?

– Не знаю...

– Как это ты ничего не знаешь? Как это может быть?

– Может, по-русски... А может, по-английски...

Наверно, наверно, по-английски. Конечно, по-английски! Не может быть, чтобы наши русские матросы, наши советские матросы! – делали такие ужасные вещи...

– А потом, уже перед самым прибытием, они накидали нам целую гору шоколада, по несколько пачек на каждого, наверно, у них осталось очень много этого шоколада, неиспользованного, и мы набросились на него, стали есть, есть, и нас всех ужасно рвало, почти никто не мог сам сойти на берег. Я помню, как нас выносили на руках, и меня всё время рвало от этого шоколада, а они говорили: «Бедненькие, укачало».

– Откуда ты знаешь, что они говорили?

– Это я запомнила.

– А потом? Что было потом?

– Потом? Детский дом, интернат, всякое было... Война... И плохое было, и хорошее тоже...

Сверху село Алешино и наш лагерь как на ладони. Вот кто-то идет от сарая к столовой, наверно, повариха. Над линейкой полочется алый флаг. Барский дом, который теперь школа, отсюда кажется очень красивым, прямо как на картинке, а на том берегу речки виден серый двухэтажный барак и несколько таких же серых изб. А вокруг во все стороны тянется лес. Две женщины выходят из лесу с бидонами в руках, наверно, ягоды собирали.

– А что ты сейчас делаешь? – спрашиваю я.

– Как что? Вот, работаю пионервожатой у вас в лагере.

– А зимой?

– Зимой учусь в университете, изучаю испанскую литературу. Мигель де Сервантес, слышала?

– Слышала, но еще не читала.

– Ничего, прочитаешь, весь мир его читает. «Дон Кихот Ламанчский» – самая великая книга на свете. А был еще современник Сервантеса Матео Алеман, который написал «Жизнь и подвиги пройдохи Гусмана из Альфараче».

Алеман, Гусман какие-то не испанские фамилии, больше похожи на еврейские: Перельман, Зусман...

– И еще великий Лопе де Вега, – хвастается Кармела. – Вообще много, очень много выдающихся писателей, испанская литература – самая великая из всех. Сегодня у нас тоже есть замечательные

писатели, и не только в самой Испании, ты ведь знаешь: в странах Латинской Америки тоже пишут по-испански – в Аргентине, Мексике, Бразилии. Сегодня почти все писатели – коммунисты. Самые великие книги написаны по-испански.

Я не очень-то ей верю: придумывает, преувеличивает... Просто ей хочется, чтобы всё самое великое было в Испании. Русская литература уж точно не хуже испанской.

– Знаешь, я иногда слушаю, как ты рассказываешь, – говорит Кармела и сдувает с колен какую-то букашку, – у тебя здорово получается. Особенно мне понравилось про девушку, у которой вдруг пропал жених. У тебя отец – писатель? Что он написал, какие книги?

Вот этого я как раз не люблю – когда у меня выспрашивают, какие книги написал мой отец. Сначала пристают: ну, назови, назови хоть одну, а потом хмыкают и говорят, что не слышали. И еще кривятся, дескать, тоже мне писатель, мы про такого и не слыхивали! Кармела тоже наверняка не слыхивала...

– Ты, наверно, сама будешь писателем, – решает она почему-то.

– Я – писателем? Про что же я могу написать?

– Как про что? Про нашу жизнь, например.

– Про нашу жизнь?

– Конечно. Ты, когда рассказываешь, у тебя замечательно получается.

– Так ведь я рассказываю то, что уже написано в книжках! Просто пересказываю. А ты? – вдруг догадываюсь я. – Ты хочешь стать писателем?

– Не знаю, – вздыхает она, – может быть, попробую когда-нибудь... Потом, когда вернусь домой.

– Куда домой?

– В Испанию, куда же!

– Ты хочешь вернуться в Испанию? – не верю я.

– Конечно.

– Почему?

– Что значит, почему? Там мой народ, моя земля, моя родина. Может, я сумею разыскать братьев отца. Я помню, у него было четверо братьев.

– Но ведь там Франко...

– Ну и что, что Франко? Франко это не навсегда, вполне вероятно, что его свергнут, а может, он сам сдохнет.

– И тебе не жалко будет уезжать отсюда, из страны Советов?

– Жалко? Конечно, жалко, но ведь я испанка!

Испанка... Такая щупленькая, некрасивая...

Пшениная каша! Сегодня на завтрак пшениная каша, и никто из девочек не собирается ее есть, потому что родители навезли им всяких вкусных вещей. Чудаки, я бы ни за что не отказалась от пшениной каши, я ее обожаю, и мне достаются сегодня все восемь порций с нашего стола. Мне одной – все восемь порций!

Нет, это все-таки не очень приятный день: автобус перевернулся. На обратной дороге в Москву перевернулся автобус с родителями, один из трех, но никто в точности не знает, какой именно. То есть, никто не может сказать, кто в нем сидел, чьи именно родители. Все девочки плачут, одна я сижу и молчу. Вчера я была самая несчастная

из-за того, что мои папа с мамой не приехали, а сегодня я самая счастливая: если они вообще не приехали, значит, они точно не могли перевернуться. Эту новость – про то, что автобус перевернулся, привез шофер, который доставляет нам продукты. Но он ничего не мог рассказать толком. Просто слышал, что один из трех автобусов с родителями перевернулся. Вера Алексеевна очень рассердилась, что ей ничего не сообщили ни из Литфонда, ни из Правления. Но это, наверное, из-за того, что с Москвой не было связи. Она сразу же уселась в кабину грузовика и поехала в Москву, чтобы всё разузнать. А весь лагерь теперь ждет ее возвращения. Сегодня она уже никак не успеет вернуться, только завтра. Девочки плачут всё громче, режут во весь голос. Ирина Самойловна пытается успокоить их:

– Ну, что вы воете, как на похоронах? Может, он всё наврал! Может, он перепутал, может, перевернулся какой-то другой автобус, который вообще не имеет никакого отношения к нашему лагерю!

Девочки не верят в такую счастливую возможность и продолжают реветь.

– Пойдемте в сельсовет! – решает Риша. – Там есть телефон, может, удастся дозвониться в Москву.

– Нам не разрешат, – сомневается Белла Корабельская.

– Дадим им денег, и разрешат! – говорит Риша.

Мы все идем в сельсовет. Я тоже иду, хотя мне нечего волноваться: мои родители вообще не приехали. Но почему они не приехали?

В сельсовете никого нет, дверь закрыта и на ней висит огромный замок. Кто-то догадывается пойти в сельпо. Сельпо – это лавка, где продают водку, козинаки, консервы «Морская капуста» и какие-то непонятные железяки. Мы с Олей иногда покупаем козинаки. Продащица объясняет, где живет секретарь сельсовета Клава, и мы все вместе идем искать Клаву. Клава вначале ни за что не хочет возвращаться в сельсовет, говорит, что рабочий день кончился, а ей надо полоть огород, но девочки очень упрашивают и она наконец соглашается. Сельсовет – большая изба, в которой есть стол, лавки, этажерка с какими-то папками и печь в углу. На одной стене висит телефон, а на другой стенгазета. На столе тоже разложены газеты, но настоящие, центральные: «Правда» и «Известия» – и новые, и старые, даже совсем пожелтевшие. Клава пытается вызвать Москву, но связи нет.

– Не могу я тут с вами сидеть, мне огород поливать надо, – жалуется она, но все-таки остается добиваться связи.

Все девочки сидят на лавках и плачут, а я от нечего делать начинаю читать стенгазету. «Наши колхозники опять не выходят на поля, – написано в передовой статье, – забыли, верно, как в прошлую зиму трое померли с голода, а остальные все пухли, и нынешний год, видно, повторится та же картина, если не хуже».

Да, ничего удивительного: кто не работает, тот не ест. Мы с Олей уже немножко говорили про это: почему почти на всех полях в Алешине растут одни только сорняки, а колхозников совершенно нигде не видно? Никто не ведет никаких полевых работ. Неужели они не понимают, что если никто не будет работать, то зимой им нечего будет есть? Даже дореволюционные малоразвитые и необразованные крестьяне понимали это, вот у Салтыкова-Щедрина есть такой рассказ «Коняга». Коняга был очень несчастный конь: замученный,

побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, но он без конца работал вместе со своим хозяином, Мужиком, потому что его хозяин знал, что надо работать, нельзя не работать, даже если это и очень тяжело. Зато поля у него там, у Салтыкова-Щедрина, были золотящиеся, зеленеющие, а в Алешине все поля серые и растрескавшиеся, даже сорняки на них уже не растут, до того земля тут твердая и сбитая. Какие-то дураки, эти алешинские колхозники, дураки и лентяи.

Линию наконец дают, и Рише удается дозвониться домой. Она кричит изо всех сил, потому что ничего не слышно, а все девочки перестают реветь, стоят вокруг и слушают.

– Ну, что? Говори, что там? – теребят они Ришу.

– Да ничего, – отмахивается Риша, – ничего страшного. Сейчас расскажу. – И опять кричит в трубку.

Я придвигаюсь поближе и прошу потихоньку:

– Дай мне тоже позвонить.

– Почему тебе? – возмущается Белла Корабельская. – А мы что, не хотим позвонить? Мы тоже хотим!

– Мы тоже хотим! – кричат со всех сторон.

– Хватит, поговорили и будет! – решает Клава.

– Пускай только она позвонит, – вступает за меня Риша, – только она, и все. Мы вам заплатим.

– Мы тоже хотим!

– Девочки, как вам не стыдно? К ней вообще не приехали!

Клава ворчит, но все-таки разрешает попробовать. Если только быстренько. Риша передает мне трубку, девочки перестают спорить.

Клава набирает номер – гудки, гудки... Наконец к телефону подходит тетя Настя, я прошу, чтобы она поскорее – поскорее! – позвала маму или папу. Я очень боюсь, что связь оборвется и я не успею ничего узнать.

– Алло, кто это? – говорит наконец мама.

– Почему вы ко мне не приехали? – кричу я.

– Что? Не слышу, кто говорит?

– Это я! Почему вы ко мне не приехали?

– Куда приехали? – удивляется мама.

– Не приехали! В лагерь! – кричу я.

– В лагерь? Какой лагерь? Ах, боже мой, Светлана, это ты? Откуда ты звонишь?

Откуда я могу звонить!.. Из Алешина, конечно, откуда же еще!

– Почему вы не приехали?

– Не приехали? Ну что значит, почему? Пока встали, пока собрались, пока добрались, а этот проклятый автобус взял и укатил, не мог пяти минут подождать. Ускакал, только хвостиком вильнул. Напрасно протаскались туда и обратно. Но с другой стороны, я слышала, там какая-то авария случилась, так что, может, оно и к лучшему...

Я еле-еле разбираю ее голос сквозь трески и шумы.

– Вы здоровы? – кричу я.

– О чем ты говоришь? Какое, к черту, здоровье! О каком здоровье вообще можно говорить, когда...

Тут линия обрывается, только визг и скрежет раздаются в трубке. Я прошу Клаву еще раз набрать номер, но она говорит:

– Все, хватит, нет связи! До завтра уж точно не будет.

Все девочки ушли, одна Оля ждет меня. Сидит на лавке и читает последний номер газеты «Правда».

– Гляди, – говорит она, – «Наша литература ярко отображает славные дела тружеников социалистической родины».

– Ну и что? – спрашиваю я.

– Давайте, давайте, идите уже! – торопит от двери Клава, навешивая замок.

Оля складывает газету, но вместо того, чтобы положить обратно на стол, запикивает себе в карман.

– Зачем она тебе? – удивляюсь я.

– Зачем... Читать!

– Ольга, ты что, с ума сошла? Охота тебе читать такую скукотищу?

– А чего не охота? Про литературу! Может, и про мою маму чего-нибудь напишут.

– Про твою маму? В «Правде»? Не выдумывай... Бежим, а то опоздаем на ужин!

– Вот именно что на ужин, – бурчит Клава. – Кому на ужин, а кому еще огород полоть...

– Так что же все-таки случилось с автобусом? – спрашиваю я по дороге.

– Да ничего особенного. Перевернулся. Не сильно, набок только завалился. Побились вроде немного. Бабушка Вадика Смоленского из третьего отряда – знаешь? Руку сломала...

Не знаю, но какая разница.

– А Горский вроде бы тоже... Головой обо что-то там треснулся. Сознание вроде потерял. С перепугу, небось. Говорят, в больницу отвезли, определили сотрясение мозга. Прямо уж, сотрясение! Чему там сотрясаться-то? Это у Нилина в мозгу одна извилина, а у Горского и той отродясь не намечалось.

– Откуда ты знаешь? – удивляюсь я.

– Откуда! Мама моя сказала, она с ним пятнадцать лет знакома, если не больше. Она говорит, что он летний дурак. Знаешь, чем летний дурак отличается от зимнего?

– Не знаю.

– Ну как! Зимнего дурака не различишь, пока шубу не снимет, а летний – всегда на виду!

Вообще-то в Алешине хорошо, очень даже хорошо, можно целый день купаться в речке или валяться на траве и читать книжки, можно идти, куда захочешь, нельзя только опаздывать к обеду и к ужину, а то поднимут тревогу. Заходить далеко в лес мы с Олей боимся, а время мы научились определять по солнцу.

Оля сегодня ушла в поход, все ушли в поход, даже третий отряд, а я не пошла. Я читаю «Овода». Белла Корабельская согласилась оставить мне книжку, но только на один-единственный сегодняшний день. Конечно, не может же она читать в походе. И Вера Алексеевна сразу же позволила, чтобы я не ходила в поход, сказала, что всем будет гораздо спокойнее, если я останусь на территории и буду помогать на кухне, но я не собираюсь помогать на кухне, я должна успеть прочесть всё до конца, пока они не вернулись.

Девочки говорят, что это замечательная книга, почти все уже читали ее, а я вообще только сейчас первый раз услышала про нее.

Так красиво всё описано: «Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни»... И имя такое красивое: Артур... Круглый стол короля Артура... «О боже, подумал он, как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже»... «И не принимай болезненную мечту за высокий призыв»... «Его фигура казалась темным призраком среди еще более темных ветвей»... Замечательно... От таких слов как будто щекочет в груди. Становится так сладко... «Пойдем рука об руку в таинственные чертоги смерти и опустимся там на ложе, усыпанное дремотными маками»...

– На ложе, усыпанное дремотными маками... – повторяю я вслух.

Ужасно красиво. Это потому, что падре Монтанелли был священник, а если пишут про священников, то обязательно бывают прохладные монастырские дворы, лунный свет, дремотные маки, виноградные беседки и всякие магнолии и цветы японской айвы... Чтобы каждому захотелось вступить под таинственные монастырские своды. Зато священникам нельзя жениться и иметь детей. «Отмщение господа настигло меня, как царя Давида, думал он. Я осквернил святилище его и коснулся тела господня нечистыми руками, терпение его было велико, но вот ему пришел конец. "Ибо ты содеял это втайне, а я содею перед всем народом Израилевым и перед солнцем – сын, рожденный от тебя, умрет!"» Да, родной сын падре Монтанелли обречен теперь на смерть. Такой молодой, красивый, отважный...

Я лежу на огромной клумбе посреди двора, переворачиваю страницу за страницей, слезы льются у меня из глаз, я даже не пытаюсь вытирать их. На клумбе удобно читать, потому что голова выше ног, и книга прямо перед глазами. То есть теперь это не настоящая клумба, никаких цветов на ней нет, даже травы нет, голая земля, но всё равно видно, что когда-то это была огромная пышная клумба, может, в прошлом году, а может, давно, еще до революции, наверно, до революции – баре любили, чтобы у них были тенистые аллеи, роскошные клумбы, увитые виноградом беседки и теплицы с японской айвой... Конечно, им ведь это ничего не стоило, они эксплуатировали труд крестьян. А Овод мечтал, чтобы не было никакой эксплуатации, никаких захватчиков и церковников, особенно церковников, церковников он ненавидел, становился просто бешеный, когда слышал про церковников, потому что он узнал, что на самом деле он никакой не сын господина Бертона, судовладельца «Бертон и сыновья, Лондон – Ливорно», а родной сын падре Монтанелли. Он считал, что если падре совершил такой ужасный поступок – посмел родить сына, хотя священникам это строго-настрого запрещено, то, оставаясь честным человеком, он должен был отречься от сана, должен был сказать перед всем народом: «Я ужасный грешник и не достоин быть священником!».

Артур утверждал, что ненавидит Монтанелли за то, что тот всю жизнь лгал, но почему же он лгал? Он несколько не лгал, он даже подписал письмо, в котором признавался, что это он настоящий отец ребенка. Господин Бертон запросто мог всем показать это письмо и опозорить его на всю Италию. Он не лгал, он просто не сообщил об этом Артуру. Детям никогда не рассказывают про такие вещи, тем более, что если бы он рассказал, Артур начал бы плохо

думать не только о нем, но и о своей матери, а этого Монтанелли уж точно не хотел. Монтанелли любил его мать. И Артура он тоже любил, не так сильно, чтобы отречься от своего бога, но все-таки очень любил. «Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага»... Умереть он был готов, а отречься – нет.

Получается, что на самом деле Артур ненавидел своего отца не за то, что тот лгал, а за то, что совершил грех. Совершил грех и опозорил его, своего сына Артура, сделал его сыном греха. Но тогда выходит, что на самом деле и Овод верил в того самого бога, от которого требовал отречься. «Отрекись от своего бога!». Он должен был сказать: я ненавижу тебя за то, что ты оказался плохим, неправильным, недостойным священником, вот за что я тебя ненавижу!

Всё равно, ужасно жалко их обоих, как-то глупо всё получилось...

Овод мог спастись, но специально пошел на казнь, чтобы досадить своему отцу Монтанелли, обрушить на него смертные муки – вот, или откажись от своего бога, или я не приму от тебя никакой помощи! От тюремного служителя он принимал помощь и не говорил «отрекись»! Разве Италии стало лучше оттого, что он позволил себя казнить?

«Я могу принести к престолу господню лишь одно свое разбитое сердце»... Разбитое сердце... Замечательная книга, нет, мне никогда так не придумать... «И понял, почему они склоняют голову, не глядя ему вслед, ибо по складкам его белой мантии бежали алые струйки, и на каменных плитах собора его ноги оставляли кровавые следы»... «Но стоите ли вы того, чтобы отдать за вас единственного сына!?!». Данко крикнул: «Что сделаю я для людей?!» – и вырвал из своей груди сердце, чтобы осветить им путь. Они тоже, конечно, не стоили этого, они были жалкие и малодушные, но он не мог иначе...

Хорошо бы вдруг оказаться на монастырском дворе в какой-нибудь Италии. Ночь, цветут магнолии, лунный свет ложится на мраморные дорожки, и в тени высокой старинной стены фигура в темном одеянии... «Что тебе до нас, Иисус Назарянин?» Они не просто не стоили, они даже не хотели ничего этого... Что тебе до нас...

Солнце уже совсем низко, почти касается крыши столовой. Девочки скоро вернутся из похода, кажется, уже возвращаются...

Вот, Мери, и вернулся Гарри твой, Гарри твой!
Но он уже не наш из океана!..

Нет, мне нисколько не жалко, что я не пошла в поход, хотя мама, наверно, сказала бы – дурацкую книгу можно было читать и дома, не стоило для этого ехать в пионерский лагерь! Нет, она не сказала бы так, потому что лагерь она не любит даже больше, чем дурацкие книги.

Мы, Гарри, считаемся с тобой! Ой-ли!..

Я поднимаюсь с клумбы и иду к умывальнику – надо умыться, чтобы никто не видел, что я ревела. Сейчас будет горн на ужин. Про обед я совсем забыла. Ничего, подумаешь, мне вообще не хочется есть. Мама очень бы разозлилась, если бы узнала: не для того мы платили за тебя деньги, чтобы ты читала там дурацкие книги и пропускала обед! Это не ее деньги, это папины деньги.

Пираты затаили все дыханье...

Интересно, а что было бы, если бы Овод стал не революционером, а пиратом? Назло отцу он запросто мог стать пиратом...

Мы с Олей опять сидим в сельсовете и читаем центральные газеты. Газеты мы читаем просто так – Ика говорит: для блезиру. Оле очень-очень хочется позвонить домой. Я знаю, это бывает: вдруг ужасно хочется что-то сделать, просто необходимо, как будто умрешь, если не сделаешь. Клава как только увидела нас, сразу догадалась, зачем мы явились, сразу же объявила, что связи нет и вообще не положено.

– Идите, идите отсюда! Прилипли, вишь, как мухи осенние. Раз снизошла, позволила, так уже и повадились, проложили тропу!.. Телефон служебный, может, начальство из района позвонит, а вы тут занимаете!..

– Две минутки только! С мамой поговорить...

– Дома наговоришься!

– Только голос услышать...

– В Москве, что ли, не наслушалась? Нечего, ступайте!

Нет, Оля не собирается уходить.

– Ну, а газеты-то хоть поглядеть можно?

– На что тебе газеты? Гляди не гляди, сыт ими не будешь... – бурчит Клава, но все-таки позволяет остаться.

«Как-то ночью жители одного из кварталов приднестровского городка Рыбницы, сообщает в “Правде” фельетонист В. Субботин, были разбужены пронзительным, душераздирающим визгом. В окнах показались встревоженные лица – что такое? Что случилось? Чей-то спокойный, уверенный голос ответил – ничего особенного, Нонну режут!».

– Батюшки-светы! – пугается Оля, – чего это они про такие ужа-сы пишут?

Нет, оказывается, Нонна – это не человек, это свинья, но свинью вообще-то тоже жалко...

– Свинья? А чего ж они ее ночью режут? – удивляется Оля.

– Потому что, видишь? – написано: вскормлена на государственный счет. Чтобы производить незаконную колбасу и возить в Николаев.

– Да ну их на фиг! – говорит Оля. – Давай чего-нибудь другое найдем.

– Я когда болела тифом, – вспоминаю я, – мне ужасно хотелось колбасы. Не простой, а твердой, копченой, хотя я никогда в жизни ее не пробовала. Никогда не пробовала, но откуда-то знала, какой у нее вкус...

– А что? – мечтает Оля. – Неплохо бы, колбаски... Вареной, между прочим, тоже не помешало бы.

– Газеты изволь читай, коли делать нечего, – предупреждает Клава, – а на телефон не надейся, не высидишь!

Оля достает из кармана припасенные на этот случай денежки и начинает раскладывать на краю стола. Кладет один рубль, старательно разглаживает, поверх него кладет другой, потом третий. На пятом рубле Клава не выдерживает.

– Где ее взять, связь-то? – возмущается она. – С утра с самого ни разу еще не давали.

– Ничего, мы подождем, – соглашается Оля и прикрывает свои рубли газетой.

«В решении указывается, – читаю я, – что академик Л. А. Орбели до сих пор не выступил с глубоким критическим анализом своих ошибок... С огромным воодушевлением участники заседания приняли приветствие великому корифею науки товарищу И. В. Сталину»...

Дверь сельсовета открывается, и в контору протискивается старуха с двумя бидонами, до краев полными земляники.

– Здравствуй, свет ты наш Клавдия Семеновна! – с поклоном приветствует она Клаву и опускает бидоны на пол.

– Здравствуй, коли не шутишь, – бурчит Клава. – Чего скажешь? Зачем притопаля?

– А так, по дороге, притомилась вот... – Старуха кряхтит и усаживается на свободную лавку. – Силенок не стало... Вышли мои силенки-то... В моих-то годах да по лесам шастать...

– Никто и не гонит, – замечает Клава.

– Нужда гонит, к земле клонит... Ох, гонит... Поясницу, поверишь ли, так прихватило, думала, и не разогнусь. Ягода, она ведь как? За каждой согнись, каждой поклонись... Сама, подлая, в жбан не лезет...

– А ты не жадничай, на что тебе столько ягоды?

– Как на что? Вестимо, что подкормиться. Ежели летом не подкормишься, зимой и вовсе с тела спадешь... Может, бог даст, и на зиму хоть какой-никакой запасец устрою...

– Из ягоды? – сомневается Клава. – Как же это? Колбасу, к примеру, ее закоптить можно, а ягоду, ее не закоптишь...

Клава, наверно, тоже читала про свинью Нонну и незаконную колбасу со звучным наименованием «черкасовка». А что ей тут в сельсовете делать, если не газеты читать? Сидит весь день одна, скучно ведь.

– Колбасы, Клавушка, я и в довоенные-то года не видывала, – вздыхает старуха. – Зачем об ней вспоминать? Насушу ягоду да варенье наварю.

– Наваришь? С чего? Сахару-то нет...

– Внучка из Москвы обещалась прислать. Я ей еще прошлый месяц письмецо отписала, так она обещалась: пришлю, мол, тебе, бабушка, даже не сомлевайся, пришлю, поспошебствую на твою нужду.

– Да сколько же она пришлет? – не верит Клава. – Килограмм? Больше им из Москвы не дозволяют слать.

– Из Москвы-то где! Из Москвы и вовсе не дозволяют, только с Подмосковья, – поправляет бабка.

– Тем более...

– Ничего, устроится. Подружка у ней в Тушине живет, она с Тушина вышлет. Коли пожалеет меня, убогую, так не поленится, съездит да вышлет.

– А и вышлет? Много ли толку? Сколько с килограмма наваришь? Ты вон ягоды, поди, полпуда набрала!

– Если бы... Как тащила, так думалось, цельный пуд, а теперь гляжу, и четверти того не будет. А так-то, почитай, всего на круг пудов пять нынешний год наскребла, – хвастается бабка. – Каждый день хожу.

– Небось, уже и погнил весь твой сбор, – догадывается Клава.

– Ничего не погнил! Я и прошлый год ягодой да грибом спаслась.

– Грибы другое дело, – замечает Клава.

– Ягоду тоже можно... Ежели с умом... – не уступает старуха.

Телефон все молчит, не отзывается на Клавины вызовы.

«Большая сеть вышколенных агентов Уолл-стрита, – читаю я в газете “Правда”, – вербует их в Мексике, контрабандным путем переправляет в США и продает там в рабство. Крупным источником массового импорта рабов являются так называемые перемещенные лица. Американская военщина насильственно переправляет десятки тысяч людей из Европы в США, где эти жертвы продаются. Согласно специальному закону, число перемещенных лиц в США к 1 июня 1951 г. намечалось довести почти до 350 тысяч...»

К первому июня? А сегодня уже четвертое июля...

«Небывалое распространение всех форм и методов принудительного труда закрепляется в США всё большей фашизацией государственного строя...»

Надо же – какое слово: фашизация...

«В последние годы на американских рабочих обрушилась лавина архиреакционных, драконовских законов, венцом их служит каторжный закон Тафта-Хартли. Даже профессиональный прислужник Уолл-стрита, небезызвестный главарь Американской Федерации Труда Грин вынужден был признать, что рабочих могут принудить выполнять ту или иную работу для частных предпринимателей. В случае же отказа рабочим грозят тюремным наказанием. Так выглядит пресловутый американский образ жизни. Но чем больше свирепствует империалистическая реакция в США, тем более активные формы приобретает борьба передовых слоев рабочего класса...»

– До морозов бы додержаться, – размышляет старуха, – а там как мороз ударит, так и до весны достоин, ничего ей не сделается...

– До морозов! – смеется Клава. – До морозов у тебя еще полета, и вся осень непочатая, а ягода, если ее без сахару варить, трех дней не простоит.

– Медком залью...

– А медок откуда? Приснился?

– Может, расстараюсь, добуду где...

– Не выдумывай, где это ты добудешь? Шустрая какая! Нынче не по силам людям улы держать, налог давит, только совхозы от него освобождены, и то особого профиля. Сдурела ты, Петровна, вот что. Кто пухнет с голоду, а кто, я вижу, и вовсе умом трогается.

Бабка вздыхает, поправляет белый платок на голове, утирает уголком лицо.

«Комсомолец гранитчик Василий Паршков, – читаю я в “Правде”, – блестящий практик и умница. О нем говорят: “Посмотрите, он строит университет, будет учиться в нем и в нем же, не исключено, станет профессором!”»

– Если только в лесу какое дупло найдешь, – размышляет Клава. – Гляди только, чтобы пчелы не загрызли, дикие пчелы они злющие.

– Ладно тебе потешаться-то! – сердится Петровна. – Ты мне вот что, это самое... Задвинь покамест добычу-то мою в угол, чтоб глаза не мозолила, а я до избы своей сбегаю.

– На что? – удивляется Клава.

– А погляжу, не сторожит ли бригадирша.

– Чего ей тебя сторожить?

– Как чего? На трудодни гонит! А то, говорит, не станешь, Петровна, трудодни вырабатывать, так и участка приусадебного лишим.

– Запросто, – подтверждает Клава.

– А как распахнется, не приведет Господь, так и ягоду отымет...

Клава молчит.

– Ты бы, Клавушка, чем ругаться над моею старостью, подписала бы трудодней-то этих... Сотенку по крайности... Сделай божескую милость, снизойди к моей печали, – бабка жалобно всхлипывает и утирает глаза краешком платка. – По родству нашему снизойди...

– Сотенку? А тыщу не захотела? – смеется Клава. – Я к этому отношения не имею.

– Как же не имеешь? Как не имеешь? – наседает бабка. – К тебе все сводки сходятся. Кто их председателю передает? Ты и передаешь.

– Ты, Петровна, невесть что болтаешь, – упрекает Клава. – Видно, захотела, чтобы нас с тобой обеих упекли за приписки. Читала вон объявление? Опять двое из уголовного лагеря утекли, вот мы с тобой и сядем за колючку на ихнее свободное место.

– Где мне читать? – хмурится бабка. – Чего я там вижу в объявлениях ваших? Глаз уж моих не стало объявления ваши читать!

– Выгоду свою, однако, видишь...

– Ягоду, и ту не всякую вижу... – жалуется Петровна. – Добро хоть она нонешний год крупная.

Старуха умолкает и как будто задремывает на лавке. Но потом снова пробуждается.

– Если хочешь знать, Клавушка, в старые времена в моих годах уже и на барщину не гоняли!

– Ишь ты, по старым временам соскучилась! – хмыкает Клава. – Барщину припомнила... Барщину уже, почитай, сто лет как отменили.

– Барщину отменили, а на трудодни гонют. Молодых вон пускай гонют, мое дело на печи лежать.

– Молодых у нас и след простыл, – вздыхает Клава. – Которые и были, все утекли. Разбежались, как мышь от кота. Как уйдет парень в армию, так все, поминай как звали, хоть на Север завербуется, хоть в милицию, лишь бы не обратно в колхоз. Да и девки не лучше, как тараканы от свету прыскают. Вон, Зинкина Матрушка, вовсе убогая девка, а и та в лагерь пристроилась вольнонаемной, за подружками вслед, одна другую тянут. Если уж вовсе некуда податься, так хоть в лагерь, всё лучше...

– Вестимо, лучше, – соглашается бабка, – в лагере и одежду казенную выдают – свое-то не трепать...

– Зинка говорит, койку в общежитии дали... – сообщает Клава.

Мы с девочками иногда видим это общежитие: двухэтажный барак за лесом, на косогоре. Он один такой в Алешино. По этому бараку мы узнаем, где уголовный лагерь, и в ту сторону дальше не ходим.

– Внучка твоя тоже вон умная – сподобилась, в Москву подалась, – вспоминает Клава. – Так что теперь только на тебя, свет Петровна, вся надежда.

– Плохая я надежда... – Старуха косится на нас, поднимается с лавки, подходит к Клаве. – Слушай, я тебе вот что скажу... – И шепчет ей что-то на ухо.

Но Клаве ее слова, видно, совсем не нравятся.

– Нет уж, не путай ты меня в эти дела! – возмущается она. – Забирай давай свои бидоны и проваливай отсюда! Только ягоды твоей мне тут не хватало! Того гляди, из района начальство прибудет, а ты мне тут казенное помещение личной продукцией занимаешь. И вы тоже, – вспоминает Клава про нас, – давайте отчаливайте! Уселись! В Москву звонить. Сказано нету связи, значит, нет!

– Ну попробуйте еще разочек, – упрасивает Оля, – один только последний разочек...

Нет, Клава не желает никакого разочка, она злится на Петровну и обещает, что сообщит о ее саботаже бригадирше.

«Тяжелые машины, – написано в “Правде”, – краны, бульдозеры, тягачи работают на высоких холмах. Здесь создаются горы – первый альпинарий в Советском Союзе и крупнейший в мире. В нем будут живо воспроизведены Гималаи, горы и предгорья Африки, Заполярья, Алтая, Крыма, Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока, Китая и Америки с их разнообразными растениями. Засверкают здесь горные озера»...

Клава отнимает у меня газету – прямо выдергивает из рук – и говорит, чтобы мы больше не заявлялись в сельсовет.

– И дети такие же хитрющие пошли! Сидят, ноль внимания, будто не им говорено!

– Ей же и хуже, – бормочет Оля, когда мы оказываемся за дверью. – Пойдем козинаки, что ли, купим, деньги-то остались...

– Кто шагает дружно в ряд? Это наш второй отряд!

Наш второй отряд дружно шагает на прополку морковки. Что ж, если у колхозников некому работать в поле, мы будем им немножко помогать, чтобы они не так сильно пухли зимой от голода. Траву вдоль речки уже скосили и в поле что-то сжали – не то рожь, не то овес, Света Федина говорит, что это был овес, но зачем им овес? Лошади едят овес, но я что-то не видела тут лошадей. Может, чтобы варить овсянку?

Мы идем через сжатое поле напрямик к морковным грядкам. Не очень-то приятно ходить босыми ногами по жнивью, но ничего, можно приспособиться. Я умею ставить ногу не сразу на всю ступню, а сначала подгибать вбок и приминать торчащие из земли стебли – тогда не так колется.

Если бы нам не сказали, что это морковные гряды, мы бы ни за что не догадались: бурьяна и колючек тут в сто раз больше, чем морковки. Морковка крохотная, не так просто заметить ее, а некоторые девочки и не пытаются замечать – выдирают всё подряд, и ладно. Но зачем же тогда пропалывать, если вместе с сорняками выдирать и морковку?

Деревенские ребята бегут мимо на речку и кричат:

– Девки! Пошли с нами! Мы вам получше моркву покажем!

Вместо того чтобы пропалывать колхозные грядки, бегут на речку и еще кричат всякие глупости.

– Дураки, хулиганы! – кричат наши девочки им в ответ.

– Кулаковой тете Вале прусаки на сеновале титьки зараз оторвали! – кричат мальчишки.

– Девочки, не слушайте их! Не обращайтесь внимания, – призывает Кармела, – работайте, мы пришли сюда, чтобы пропалывать морковь.

– Ну вот еще! – Говорит Катя Семенова и садится на грядку. – С какой это стати мы должны на них работать? Пускай сами работают, бандиты несчастные!

– Вы не на них работаете, – объясняет Кармела, – вы работаете на тех несчастных старух, у которых сыновья погибли на фронте. У них самих уже нет сил работать, и они голодают и даже умирают от голода. Наш пионерский и комсомольский долг помочь им.

Девочки возвращаются к грядкам, Катя тоже нехотя подымается и принимается драть бурьян. Грядки длинные-длинные, каждая в полкилометра. Солнце припекает сверху. Я вдруг замечаю, что все девочки давно обогнали меня, ушли далеко вперед, а я всё сижу иковыряюсь в начале своей бесконечной грядки. Ладони саднит от всяких колючек и жестких упрямых сорняков. Почему я не догадалась обмотать руки какими-нибудь тряпками? В следующий раз обязательно найду что-нибудь такое, чем можно обмотать руки. Иногда вместе с сорняками нечаянно выдергивается морковка, и мне делается ужасно жалко ее: бедная, если бы я ее не вырвала, она бы выросла... Сорняков так много, а этих несчастных морковинок так мало...

Что такое? Что-то случилось... Все девочки вдруг вскакивают и бегут в сторону речки. Пускай, я никуда не побегу, останусь пропалывать – хоть немного нагоню их, не так будет стыдно, что ничего не сделала.

Далеко, на пригорке, со стороны лагеря, показывается врач Ирина Самойловна. Бежит бегом, подпрыгивает, перескакивает через кустики. Что же такое могло случиться? Кому-то напекло голову? Пойду все-таки посмотрю.

Девочки толпятся вдоль берега. У самой воды лежит Антон Минкин из первого отряда, длинный такой, тощий мальчик. Оля говорит про него: хворостина немереная. Все его дразнят Минкин и Поджарский. Только никакого Поджарского нет, один Минкин. Станный такой мальчик, сутулый и с очень бледным лицом. Дружит только с Колей Холодовым, да и с ним не очень-то. Девочки говорят, что с Минкиным невозможно дружить, потому что если ему кто-нибудь что-нибудь скажет, он сразу злится, даже кидается драться.

– Надо качать, качать его надо! – волнуется деревенская женщина, которая работает у нас на кухне судомойкой. – Одеяло тащите, качать его надо!

– Не говорите глупостей! – сердится на том берегу Ирина Самойловна. – Нужно делать искусственное дыхание. Кармела, начинайте делать искусственное дыхание!

Сама она мечется без толку по берегу, потом приподымает подол, осторожно опускает в воду одну ногу, нащупывает дно, опускает вторую ногу, оскальзывается, взмахивает руками, но все-таки продолжает продвигаться к середине речки.

– Надеюсь, здесь неглубоко, – бормочет она, – я не умею плавать, я сама утону. Девочки, если я начну тонуть, вы сразу меня спасайте, не ждите, пока я совсем захлебнусь. Кармела, что вы стоите? Делайте искусственное дыхание! Не умеете делать искусственное дыхание? Хорошо, я научу вас. Опуститесь на колени возле головы, возле головы! Поднимите руки вверх. Да не ваши руки, его! – и отведите назад...

– Что с ним? – спрашиваю я.

– Ничего особенного, утонул, – говорит Оля.

Утонул? Как, совсем утонул? А лежит как живой... Неужели в этой речке можно утонуть?

С пригорка скатываются Вера Алексеевна и следом за ней Марина Петровна, воспитательница третьего отряда.

– Нас всех посадят! – предупреждает Марина Петровна еще издали. – Шутка ли дело – в пионерском лагере утонул ребенок!

– Не каркайте! – прикрикивает на нее Вера Алексеевна. – Что за смена такая – что ни день, то приключение!.. А что, что я могу сделать? Я предупреждала: ограды нет, дети распущенные, избалованные, что хотят, то и вытворяют! Сотня слишком умных писательских отпрысков, абсолютно недисциплинированных, попробуй уследи!

– Сотня юных бойцов из буденновских войск... – запевает Оля не очень громко, но и не так чтобы слишком тихо.

– Ты что, перестань! – толкает ее в бок Белла Корабельская.

– Нас всех посадят! – Марина Петровна с разбегу шлепается в воду.

– Хватит, хватит вам прежде времени зауспокойную петь! – Вера Алексеевна останавливается на том берегу. – Где Юра? Где Эллайда Васильевна?

– Юра сегодня проводит соревнования по прыжкам в высоту, – докладывает Лёля Левицкая.

– Вот как – соревнования по прыжкам в высоту! – повторяет за ней Вера Алексеевна. – Молодец! А где Эллайда Васильевна?

– Эллайда Васильевна с племянником, – сообщает Марина Петровна из речки.

– Каким племянником? Каким еще племянником!? Она приехала сюда работать воспитательницей, а не болтаться с племянниками!

– Разве вы не знали? – удивляется Марина Петровна. – Он еще позавчера приехал. Высокий такой юноша, чернявенький, брюнет, можно сказать. Студент вроде бы, лет на десять младше ее. Я ходила сегодня в селпо и видела их: загорали в палисаднике. Он в одних трусах, а она в трусах и в бюстгальтере.

– Я ей покажу палисадник! – обещает Вера Алексеевна. – Идите и тотчас доставьте ее сюда! Чтобы тотчас явилась сюда, немедленно! Так и скажите: немедленно!

– Хорошо, – говорит Марина Петровна, выбираясь на берег, – скажу. Если только она послушается.

Ирина Самойловна тоже выкарабкивается из речки, на четвереньках подползает к Антону и хватает его за руку.

– Как хотите, но нас посадят, – повторяет Марина Петровна, удаляясь. – В пионерском лагере утонул ребенок!..

Платье у нее прилипло к телу, сквозь мокрую ткань видны белый широкий бюстгальтер и сизые рейтузы до колен.

На пригорке появляется Юра, вожатый первого отряда, а за ним почти все мальчики.

– Объясни мне, каким образом он оказался у тебя на речке? – набрасывается Вера Алексеевна на Юру. – Почему ты не включил его в соревнования?

– У него больное сердце, и он освобожден от любых занятий физкультурой, в том числе и от прыжков в высоту, – объясняет Юра.

– Так пусть бы сидел зрителем! От прыжков в высоту он, видите ли, освобожден, а от плавания в этой проклятой речке нет!

Оказывается, Юра лучше всех умеет делать искусственное дыхание. Антон вдруг садится, изо рта у него вырывается фонтан воды, он снова падает на траву, начинает биться и крутить головой.

– Живой? – спрашивает Вера Алексеевна. – Юра, отвечай, не мучай – живой?

– Надеюсь, что живой, – отвечает Юра.

– Похоже, очухается, – подтверждает Ирина Самойловна, – если только мозговые центры не пострадали от длительной недостачи кислорода.

– Пострадали или не пострадали, он у меня завтра же, завтра же! – поедет в Москву! – обещает Вера Алексеевна. – Одного дня тут не останется! Только бы очухался...

– Матерь божья, святые угодники! Только бы очухался!.. – повторяет за ней судомойка.

Со стороны деревни показываются Эллайда Васильевна и Марина Петровна. Эллайда Васильевна неторопливо вышагивает впереди в прелестном воздушном цветастом халатике и розовых домашних туфельках, облепленных блестящими ракушками. Марина Петровна держится сзади. Вера Алексеевна позволяет им подойти поближе.

– Так что же, Эллайда Васильевна? – спрашивает Вера Алексеевна. – Получается, что пока вы тут отдыхаете и загораете с племянником, у вас в отряде тонут дети? Кстати, где он, этот племянник? Интересно посмотреть на него.

– Он у вас не работает и не обязан никому себя демонстрировать! – Эллайда Васильевна гордо вскидывает голову и даже не смотрит в ту сторону, где Юра возится с Антоном. – И я, между прочим, тоже с сегодняшнего дня у вас не работаю. Я подаю заявление об уходе.

– Не работать у меня вы будете в лучшем случае с завтрашнего дня! А за сегодняшний день вы ответите по всей строгости закона, – предупреждает Вера Алексеевна. – Можете не сомневаться – по всей строгости! Из-за вашего безответственного, можно сказать, преступного поведения едва не утонул ребенок, понимаете вы?! Едва не утонул ребенок! А вы еще тут позволяете себе важничать и заирать нос!..

– Не раздувайте из мухи слона! – фыркает Эллайда Васильевна. – Едва не утонул! «Едва» не считается. А даже если бы и утонул, тоже ничего особенного: менее одного процента отдыхающих.

– Ах, вот как! Менее одного процента! – Вера Алексеевна задыхается от возмущения. – Прекрасно! Вот это вы скажете его родителям. Все, больше мне с вами не о чем разговаривать! Еще неизвестно, чем это всё кончится, но исключено, что пострадали мозговые центры. У мальчика и так большое сердце.

Эллайда Васильевна пожимает плечами.

– Не пугайте, не из пугливых! Подождите, я еще сообщу куда следует, как мы тут под вашим мудрым руководством движемся к коммунизму! А вы, – бросает она Марине Петровне через плечо, – нарочно развели панику: утонул!.. – Поворачивается на своих красивых розовых каблучках и направляется обратно в деревню, к племяннику.

– Ах ты змея! – говорит Вера Алексеевна.

Эллаида Васильевна – жена писателя, причем весьма известного – лауреата Сталинской премии. Наверно, поэтому она и не боится Веру Алексеевну. Она с самого начала, как только приехала, предупредила, что не собирается жить на территории лагеря, а снимет себе комнату в деревне. Непонятно только, зачем ей вообще потребовалось работать у нас в лагере воспитательницей.

Отбой, я опять рассказываю про своего несчастного Фридриха.

Отец его все-таки не выздоровел, а умер. Распрощавшись с овдовевшей матушкой, безутешной госпожой Феербах, Фридрих поспешил вернуться в любезную его сердцу блистательную Вену, но тут его ждал новый удар: первый, кого он увидел, едва переступив порог университета, был его враг и мучитель, его несносный двойник.

«Как?! – воскликнул Фридрих. – Ты здесь? Каким образом?!»

Все остальные студенты застыли на своих местах и переводили изумленные взгляды с Фридриха на его копию и обратно.

«Что же это такое? – выговорил наконец приятель Фридриха, тот, с которым они вместе снимали комнату. – Вас двое... Это твой брат? Он приехал с тобой?»

«У меня нет брата! – заорал Фридрих. – Это подлый самозванец! Он преследует меня, он пытается сжить меня со света!»

«Но он похож на тебя... Вы похожи как две капли воды... – сказал приятель. – Который из вас Фридрих?»

«Фридрих Феербах – это я», – произнес двойник с любезным поклоном.

Тут настоящий Фридрих заметил наконец, что никакой бородки у самозванца нет, а родимое пятно переместилось с левого виска на правый.

«Он не Фридрих! Он поддельный! Он загримирован! Он вор! Он украл мою внешность! – завопил Фридрих, окончательно теряя рассудок. – Он хочет лишить меня наследства! Он пытается таким образом присвоить деньги моего отца!..»

«Извините, сударь, – произнес двойник надменно, – не имею чести быть с вами знакомым и не желаю выслушивать ваших вздорных нападок. И да будет вам известно, у меня нет ни малейшего намеренья лишать вас чего бы то ни было. Мой покойный родитель, пусть земля ему будет пухом, позаботился о моем будущем, оставив мне вполне приличное состояние».

«Тот!.. – задохнулся Фридрих. – Тот был отражением, только отражением, а этот!.. Этот – загримированный вор!»

На шум и крики сбежался весь университет: студенты, почтенные профессора и даже дворники и сторожа. Ректор попросил обоих молодых людей, называвших себя Фридрихами Феербахами, подойти поближе и предъявить какой-нибудь документ, удостоверяющий их личность. Двойник полез в карман своей студенческой куртки и вытащил оттуда заверенную нотариусом бумагу с гербовой печатью, в которой было сказано, что господин Генрих Феербах, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещает свой дом в таком-то городе по такой-то улице и определенную сумму денег своей досточтимой супруге Гертруде Феербах, в девичестве Гертруде Бломберг, а всё

остальное свое движимое и недвижимое имущество своему единственному сыну Фридриху Феербаху, и распоряжается при этом...

«Он вор! – зарыдал настоящий Фридрих. – Это постановление о введении меня в права наследства, эта бумага лежала в моем дорожном сундуке! Этот негодяй выкрал ее!».

Оглядев еще раз обоих Фридрихов, ректор убедился в их полном, несомненном подобии и распорядился передать дело в суд.

«Если только у меня не двоится в глазах, – сказал, открывая заседание, строгий судья, – это совершенно необычный и не предусмотренный законом случай. Господин Генрих Феербах недвусмысленно заявляет в завещании о своем единственном сыне Фридрихе Феербахе, а здесь перед нами находятся двое, причем каждый из них утверждает, что именно он является тем самым единственным сыном господина Генриха Феербаха. Поскольку я лично не вижу никакого, даже самого малого различия между этими двумя молодыми людьми, то считаю разумным призвать для расследования врача. Будем надеяться, что врач сумеет обнаружить какие-то скрытые от наших глаз признаки, позволяющие отличить истинного Фридриха Феербаха от... от его подобия».

Но и врач, имевший немалый опыт в судебной медицине, ничего не обнаружил и не сумел разобраться в загадочном случае.

Тогда обоих Фридрихов решили предъявить госпоже Гертруде Феербах, в девичестве Гертруде Бломберг. Если уж и мать не укажет, который из двух ее настоящий сын... Тогда...

«Тогда, – сказал судья, – решение вопроса придется передать в иные инстанции».

– Какие еще такие инстанции? – интересуется Катя Семенова.

– Вышестоящие, – объясняет Риша.

– Ты правда читала такую книгу? – спрашивает Ляля Светлая.

– Конечно, правда, – говорю я.

Неправда – это папа рассказывал мне про двойников. Но уж он-то точно читал. И вообще, с какой это стати она должна мне не верить?

– И как же она называется? – не отстает Ляля.

– «Необыкновенная история Фридриха Феербаха».

– Никогда не слышала, – говорит Ляля.

– А про все остальные книги ты слышала? – хмыкает Риша.

– Это, наверно, что-то такое дореволюционное, – догадывается Мира Долгопольская.

– Да ладно вам, девочки! – сердится Мила Загоскина. – Ну что вы всё время мешаете! Не слушай их, рассказывай!

«А пока что, – сказал судья, – ввиду чрезвычайной запутанности вопроса, мы постановляем приостановить введение в права наследства господина Фридриха Феербаха. Все! Объявляю заседание закрытым».

– А дальше?

– Фридриху оставалось только надеяться, что материнское чутье подскажет госпоже Феербах, кто из них двоих ее настоящий сын. Однако...

– Что однако?

– Однако установить истину так и не удалось. Госпожа Феербах сослалась на свое слабое здоровье и на траур по мужу и отказалась прибыть в Вену. Судья решил не сдаваться. Он приказал на казенный

счет доставить обоих молодых людей в их родной город. В присутствии трех свидетелей от госпожи Феербах потребовали указать, какой из двоих действительно ее сын, а какой гнусный обманщик. Пока госпожа Феербах промокала слезы кружевным носовым платком, не смея взглянуть на раздвоившегося Фридриха, двери мэрии распахнулись, и на пороге возник уже известный нам Франц, тот самый Франц, который выдавал себя за несчастного, обиженного судьбой брата-близнеца Фридриха. Он тоже был похож на двух других как две капли воды, то есть все они были похожи друг на друга, как три капли воды, но Франца невозможно было назвать точным слепком с двух других – в отличие от них у него имелась русая бородка, и родимое пятно находилось на левом виске, а не на правом. При виде еще одного сына госпожа Феербах упала в обморок и навсегда лишилась дара речи, а возможно, и рассудка. Во всяком случае, ее мычание невозможно было истолковать разумным образом.

Вот про это я не читала ни в какой книге! Это я сама придумала – чтобы их стало трое! Папа говорит, что про разных двойников и оборотней, про привидения, отражения и тени есть много всяких книжек, но чтобы двойников было трое, про это даже он никогда не рассказывал. Про это нигде не написано. Третьего Фридриха Феербаха я выдумала сама. Но про это никто никогда не узнает, я никому не скажу...

– А дальше? – спрашивает Мила.

– Фридрих никогда больше не вернулся в университет, он покинул Вену и поселился в маленьком городишке на севере страны. Он вел странный образ жизни, почти никогда не выходил из дому и ни с кем не общался, если не считать старичка-букиниста, который снабжал его таинственными старинными книгами. Благодаря этому букинисту в руках у Фридриха однажды оказался увесистый том, переплетенный в уже потрескавшуюся тисненую кожу. Тут описывались многие самые важные секреты черной магии. «В случае двойников, сообщал автор, есть только один способ доподлинно установить истину – отсечь одному из двух голову. Если казненный окажется настоящим владельцем имени, то в ту же самую секунду, как его голова скатится на плаху, и с тени спадет голова, ибо тень не является человеком и не способна вести самостоятельное существование. Тень – это гомункул, который существует только до тех пор, пока существует человек. Однако если топор палача упадет на шею тени, то владелец имени останется невредимым.

– Погоди, что это – гомункул? – спрашивает Лёля Левицкая.

– Не знаю, – говорю я. – Подobie человека.

– Это фурункул! – хихикает Наташа Горская. – Чирий на одном месте!

– Гомункулов создавали алхимики, – объясняет Ёлка Евсеева.

– А ты-то откуда знаешь? – удивляется Мила.

– Книжки надо читать.

– Это как у Шварца, – говорит Таня Зеленская.

– Какого Шварца?

– Евгения Львовича Шварца. У него есть такая пьеса – «Тень».

– Что-то мы не видели такой пьесы, – хмыкает Катя Семенова. – Где она идет? В каком театре?

– Не знаю, может, ни в каком.

– Откуда же ты вообще про нее знаешь?

– Читала, у нас дома есть рукопись.

– Рукопись? – удивляется Света Федина. – Откуда она у вас взялась?

– Рукопись может быть только у самого писателя, – поддерживает ее Ляля Светлая. – Он что, дал вам почитать?

– Да, дал почитать.

– Не верьте вы ей, девочки! – сердится Мила Загоскина. – Она всё придумывает. И пьесы никакой такой нет, и Шварца тоже никакого нет. Если бы он был, мы бы про него знали.

– Точно, – говорит Катя, – пьесы есть «Снежок», «Хижина дяди Тома», «Я хочу домой»...

– Есть много пьес, – не уступает Таня, – и Шварц есть, Евгений Шварц, очень хороший драматург.

– Очень хороший – чего? – смеется Катя.

– Драматург. Писатель, который пишет драмы. Между прочим, если хочешь знать, он написал «Снежную королеву».

– «Снежная королева» – сказка, а не драма! – объявляет Мила Загоскина.

– По-моему, «Снежную королеву» написал Андерсен... – говорит Ляля Светлая.

– Сказку написал Андерсен, а Шварц сделал по ней инсценировку.

– Чего-чего? Чего он сделал? – хихикает Катя.

Надо же – оказывается, есть такая пьеса – про тень, а я тоже никогда про нее не слышала... Спрошу у папы.

– Это всё немцы придумали, – объявляет Мира Долгопольская, – про привидения всякие, двойников, тени...

– Почему немцы?

– Они любят про всё страшное.

– Потому что они фашисты! – хихикает Наташа Горская.

– А как же про упырей?..

– Каких упырей?

– Обыкновенных, русских...

– Ладно, девочки, хватит! – говорит Ёлка. – Давайте спать.

Кино, кино, кино привезли! И не просто кино – «Тарзана»! Ту серию, которую мы с Олей еще не видели. Ура! Мы идем в колхозный клуб смотреть «Тарзана».

Возле крыльца уже собрались деревенские девчата – все в нарядных наглаженных платьях и с одинаковой шестимесячной завивкой. И с ними гармонист. Выходит, не все еще сбежали из колхоза. А может, это те, что работают в уголовном лагере. Всю неделю живут там в общежитии, а на воскресенье приходят домой в деревню.

– На горе стоит сосна,

Под горой избенка! – поют девчата.

Не поют – визжат. Частушки почему-то надо петь вот такими тонкими, как иголка, визгливыми голосами. Одна выступает в центр круга, запекает частушку, остальные подхватывают, и каждая старается перевизжать остальных.

Пай-й-ду в избу загляну,
Абайму миленка!

Первый, пятичасовой сеанс будет для нас, а потом в семь для деревенских, но пока двери клуба закрыты – оператор еще не пришел. Мы ждем и слушаем частушки.

На горе стоит коза,
Под горой корова!
Обнимала три часа
Май-й-яво милова!

– Ить-ить-ить-ить! – выкрикивают девушки все вместе после каждой частушки и притоптывают, приплясывают.

Цалавала, миловала,
Миловала, цаловала,
Сколько ж можно цалавать?
Не ятить, едрена мать!

Гармонист вступает со своей частушкой, девчата замолкают.

– Завалило все дороги,
Замело порошею, – поет он нормальным голосом, –
Хоть и зябко на снегу,
Ляж, моя хорошая!

– Ить-ить-ить-ить! – радуются девушки.

– Паимел я всю родню, – продолжает гармонист, –
Обидел баушку одну.
Баушка горбатенька!
Сама у ней усатенька!

И опять:

Паимел я всю родню,
Обидел баушку одну.
Баушка Данилава,
Прости меня, ленивава!

– Ить-ить-ить-ить! На заборе сам висить!.. – визжат девчата.

Настя Васю поманила,
Чем имела угостила.
Ну-ток, Васенька, уважь,
Покажи свою упряжь!

Мальчики из первого отряда смеются, некоторые девочки тоже, мы с Олей не смеемся. Чему тут смеяться? Нисколько не смешно. Мы даже с трудом разбираем слова. И вообще, надоел этот визг, уши уже от него болят.

– Темнота деревенская! – постановляет Оля и отходит в сторонку.

– Кармела, ты тут проследи, я пойду узнаю, почему не открывают, – хмурится Юра, вожатый первого отряда.

Похоже, что Кармеле эти частушки тоже не слишком нравятся, она вздыхает и морщится, но молчит, не высказывается. Наверно, не хочет обидеть русский народ. Наверно, у них в Испании и частушки совсем не такие – у них частушки самые умные и самые прекрасные.

Наконец появляются заведующий клубом и вместе с ним оператор, отпирают двери, впускают нас внутрь. Оператор налаживает

аппаратуру, кричит, чтобы выключили свет. За нашими спинами начинается стрекотать проектор. По экрану, как вихрь, летает бесстрашный Тарзан, который дружит с обезьянкой Читой и любит свою малышку Джен. В Москве поют:

Не нужен мне панбархат, не нужен крепсатен,
Пусть буду я одета, как маленькая Джен!

И еще много всякого такого, но эти куплеты мне нравятся даже меньше, чем деревенские частушки.

Фильм кончается, мы высыпаем наружу, наши мальчики вопят в точности, как Тарзан: Уау-а-а-у-а! И пытаются прыгать так же, как он, как будто они сами раскачиваются на лианах. Мне тоже вдруг кажется, что я стала такая же сильная, как Тарзан, могу сделать что захочу, могу подпрыгнуть и повиснуть на дереве, даже полететь по воздуху... Уау-а-а-а-у!

Деревенские всё еще выкрикивают свои частушки, но нам уже совершенно не интересно их слушать.

Дождь, дождь льет, льет и никак не прекращается, который день подряд, мы сидим в палате и с утра до вечера играем в «Бобчинский-Добчинский», ничего другого не делаем: не читаем, не пишем, не вышиваем, не рисуем, не посещаем драматический кружок, который ведет Марина Петровна, только сидим и играем в «Бобчинский-Добчинский». Не в шашки, не в шахматы, не в домино, только в «Бобчинский-Добчинский». Наша команда расположилась на полу с одной стороны кровати, команда Ляли Светлой – с другой, монета скользит, скользит из ладоней в ладони, «Бобчинский-Добчинский», «Бобчинский-Добчинский», «Бобчинский-Добчинский»! Змейки воды ползут по окнам, кажется, что они не стекают вниз, а елозят, елозят по стеклу, приклеились к нему животиками и извиваются, извиваются, пытаются отлепиться.

– «Бобчинский-Добчинский»! «Бобчинский-Добчинский»! Руки на стол! – командует Ляля.

Десять ладоней мигом шлепаются на покрывало, которым застелена кровать. Вот, пожалуйста, ну, где монета? Где уж им! Ничего не блеснуло и не звякнуло, спорят, волнуются, пытаются так и сяк подглядеть, но не могут угадать, не могут!

«Бобчинский-Добчинский»! «Бобчинский-Добчинский»!.. Наверно, Николай Васильевич Гоголь тоже играл в детстве в эту игру, а иначе почему его героев в «Ревизоре» зовут Бобчинский и Добчинский? Иван Петрович Бобчинский и Петр Иванович Добчинский. А может, наоборот, Петр Иваныч Бобчинский и Иван Петрович Добчинский.

– «Бобчинский-Добчинский», руки на стол!..

Наша смена уже пять дней как закончилась, мы давно уже должны были уехать в Москву, но все дороги развезло, и автобусы не могут добраться до Алешина.

«Бобчинский-Добчинский»! «Бобчинский-Добчинский»!..

Вообще-то я даже рада, что мы остались в лагере на лишние дни, но никому не говорю про это, а то девочки рассердятся. По мне этот дождь может совсем не кончаться, пускай льет себе хоть неделю, хоть две, хоть целую вечность, а мы будем сидеть вот так, играть в «Бобчинский-Добчинский» и совсем не думать про Москву.

Как будто нету нигде никакой Москвы, ничего нету, один только дождь и еще немножко наша палата. Плохо только, что и грузовик с продуктами не смог проехать, застрял на полдороге, а потом, когда его кое-как вытащили, отказался ехать дальше и повернул обратно в город. Мы с Наташей Горской как раз дежурили по столовой и подслушали, как Вера Алексеевна рассказывала про это завхозу и поварихе. «Вот и именно, – сказала повариха, – скоро вам тут и есть будет нечего!» А Наташа все-таки выпросила у нее ломоть подсушенного на плите хлеба – за то, что мы были хорошими дежурными, почистили целое ведро картошки и перемыли после обеда всю посуду – судомойка наша расхворалась от сырости и не вышла на работу. Это повариха так сказала, что от сырости. Сказала: «Хоть щец горяченьких снести ей, что ли...» – и Вера Алексеевна сказала: «Снеси...» А Наташа могла бы съесть этот хлеб сама, но вот не съела, а честно разломала пополам и половину отдала мне, не пожадничала все-таки, отдала половину. «Бобчинский-Добчинский!» «Бобчинский-Добчинский!» Хорошо им все-таки было, этим помещикам, которые до революции жили тут в Алешино, не приходилось, небось, возить продукты из Москвы, прямо под носом всё росло. Повариха говорит, что в старые времена у них и козы водились, и коровы, а нынче... Может, она и выдумывает про старые времена, но теперь в Алешино точно ничего не растет и не водится, даже морковь, и та не растет. Получается, что все трудящиеся нашей социалистической родины в тесном содружестве с учеными и передовой интеллигенцией строят коммунизм, а тут... Приеду в Москву и спрошу у папы, почему в Алешино ничего не растет. Хорошо, что хоть грибы еще остались и ягоды. «Бобчинский-Добчинский», «Бобчинский-Добчинский»...

Дверь в палату открывается, в нее просовывается Вера Алексеевна, некоторое время стоит у порога и смотрит, как мы шлепаем ладонями по покрывалу, а потом говорит:

– Значит, так: завтра все, кто не остается на вторую смену, возвращаются в Москву.

Девочки вскакивают, окружают ее.

– Как, как это? Как возвращаемся?

– На пароходе.

– На пароходе? По каналу? А до парохода как?

– А до парохода пешком, – говорит Вера Алексеевна.

– Под дождем?

– Под дождем, под дождем! Ничего, авось, не растаете, не сахарные! Вторую смену нужно принимать.

– А те, кто остается на вторую смену?.. – спрашивает Галя Константинова.

– Я сказала: кто не остается на вторую смену, возвращаются, а кто остается, значит, остается! Что тут непонятно?

– Значит, мы вообще не поедem в Москву?

– Значит, не поедете.

– Даже пересменки не будет? – лицо у Гали становится серое, как оконные переплеты. – Я не останусь!.. Я не останусь... – шепчет она.

Мне ее жалко, очень жалко, но почему ей так уж хочется в Москву? Ну что там такого уж замечательного в Москве?

– Пересменку свою вы уже отгуляли, – сердится Вера Алексеевна, – обратным рейсом завозим вторую смену.

Галя падает на кровать и закрывает лицо руками, все девочки смотрят на нее. Вера Алексеевна не хочет смотреть на нее и выходит из палаты.

– Я не останусь! Ни за что не останусь!.. – говорит Галя, уткнувшись лицом в подушку.

Мы все молчим.

Рита и крошка Мэри!..

Обе пленить сумели! – распевает мы во всю глотку.

Теперь уже никто не может ничего сказать нам: мы уезжаем, уезжаем, мы уже вообще не в лагере!

Часто порой вечерней

Он танцевал в таверне

Танго или фокстрот!..

Дорога тянется через лес, с утра еще немножко моросил дождь, а теперь выглянуло солнышко. Конечно, всё вокруг еще мокрое и тропинки раскисли от грязи, но если ступать по корням, можно пройти. За нами следом тащится грузовичок с чемоданами, а мы идем себе налегке и набиваем рот земляникой, после дождей земляники еще прибавилось! Просто в глазах уже мельтешит от этих красных крапинок в зеленой траве.

Деревенская женщина выходит из чащи на тропинку с полным ведром переспелой темно-красной земляники.

– Чего орете, скаженные? – ругается она, – ягоду распугаете!

– Как это можно распугать ягоду? – смеются девочки.

– А то! – ворчит женщина. – Лес это вам не город, лес он живой, и ягода в нем живая, небось, все слышит.

Часто порой вечерней

Он обнимал обеих!.. – надрываются впереди мальчики.

Женщина переходит на другую сторону колеи и скрывается за деревьями.

– Не разбредаться! – призывает Юра, вожатый первого отряда, – двигаться друг за другом цепочкой!

– Мы не сеем и не пашем, – запекает Саша Белов, –

Мы валяем дурака!

С колокольни флагом машем,

Разгоняем облака!..

– Стоп! – кричит Юра. – Отставить песни! Все сюда!

Наш грузовичок с чемоданами застрял, провалился по самые оси в крутую липкую грязь, мы все – и первый отряд, и второй, и даже третий – подпихиваем его, пытаемся вытолкнуть из колдобины, ломаем еловые ветви и кидаем под колеса, но ничего не помогает, мотор урчит, урчит, надрывается и наконец глохнет.

– Значит, так, – говорит Юра, – разбираем чемоданы и продвигаемся дальше своим ходом. Бодрым пионерским шагом! Никто не отстает. Задача не упустить пароход, все слышали? Не допустить, чтобы пароход уплыл в Москву без нас!

Мне хорошо продвигаться бодрым пионерским шагом, у меня, наверно, самый легкий чемодан из всех, почти пустой: одно платье, пионерская форма: синяя кашемировая юбка с белой шелковой блузкой, три пары трусов и еще спортивные шаровары, ну, еще одна рубаша и одна кофта... А вот у Наташи Горской чемоданище – настоящий бегемот, здоровенный кожаный чемодан, и битком набит всяким добром, я видела, как она укладывалась: тапочки простые, тапочки спортивные, туфли серые, туфли коричневые, ботинки, штук десять платьев, кофты бумазейные, кофты шерстяные, рубашки и вообще чего только нет! Какие-то специальные детские косметические наборы, альбомы, цветные карандаши... Наташе ее чемодан не то что тащить, ей даже поднять его не под силу, нечего и мечтать! Она пытается волочить его за собой по траве волоком, но он упирается – цепляется за корни.

Наташа начинает потихоньку всхлипывать, потом реветь в голос, пихает своего бегемота ногой, как будто он испугается вдруг, вскочит и потопает сам, и наконец с громким воем шлепается на него сверху.

– Что вы смотрите! – ревет она. – Помогите мне! Помогите кто-нибудь!..

Но все проходят мимо, как будто даже не слышат. Мне капельку жалко ее, но как же мы можем помочь ей? У нас у всех свои чемоданы. Хотела быть всех богаче, вот и застряла...

– Выкидывай всё это барахло к чертовой бабушке! – советует Марина Ильвинская.

– Свое выкидывай! – огрызается Наташа.

– Мне что? Я свое тащу, не жалуясь.

– Набрала, будто на целый год ехала! – ехидничают девочки.

– Давай откроем его, – предлагает Кармела, – свяжем вещи в узлы, половину я понесу, половину Юра, а пустой чемодан ты уж как-нибудь сама дотащишь.

– Нет, не хочу, – отказывается Наташа, немного подумав, – вы всё растрясете и растеряете.

– Почему же растеряем? – обижается Кармела. – Что мы, маленькие?

– Уроните в грязь, или еще что-нибудь. Если хочешь знать, мама мне эти платья в комиссионке покупала!

– У нее там золото! – ехидничает Белла Корабельская. – Ясное дело: золотые слитки!

– Ну, что будем делать, товарищи пионеры, будущие комсомольцы? – спрашивает Юра мальчиков. – Окажем человеку помощь в беде или не окажем? Давайте, поднажмем, поднатужимся – каждый по очереди сто метров!.. Бег на короткую дистанцию. Эстафета с чемоданом.

– Да пошла она!.. – хмыкает кто-то.

– Дудки – не поднажмем и не поднатужимся! – объявляет Слава Пилярский. – Не может тащить, пускай вон под деревом закопает, на следующий год придет урожай снимать.

– Привыкли, понимаешь, на чужом горбу ездить... – жалуется Дима Рагозин.

– Ну что ж, – говорит Юра, – всё ясно: слушали-постановили... Хватит выть, Горская, вставай! Вставай и вперед, шагом марш!

Наташа кое-как сползает с чемодана, подымается на ноги. Юра вытаскивает чемодан из грязи и пытается подкинуть себе на плечо, Кармела ему помогает.

– Н-да... – замечает он. – Солидный груз! Ну что ж, попробуем, где наша не пропадала...

Хорошо, по крайней мере, что у него самого нет никакого чемодана – они с Кармелой едут только туда и обратно, только отвезти нас и забрать вторую смену. Но столько километров по такой раскисшей дороге... Неужели донесет? Он, наверно, настоящий богатырь, как Тарзан.

Пароход не уплыл без нас, стоит, покачивается у причала, пассажиры, кроме нас, почти не видно. Мы сначала поднимаемся по сходням на палубу, а потом спускаемся по узкой железной лесенке в пузатый овальный салон и рассаживаемся на деревянных полированных скамьях. Я первый раз в жизни плыву на пароходе, рядом со мной зачем-то садится Сережа Уваров, мальчик из первого отряда. Почему он садится не вместе со своим отрядом, а тут, с девочками?

Пароход выбирается на середину канала, берега справа и слева начинают медленно-медленно отодвигаться назад. Все, мы плывем в Москву. Ребята устали, никто теперь уже не хочет ни петь, ни болтать, некоторые даже задремывают потихоньку. Сережа тоже задремывает, опускает голову мне на плечо и слегка покачивается всем телом в такт стуку двигателя. А может, он не спит, просто притворяется? Я пытаюсь приподнять его голову, она снова скатывается мне на плечо. Нет, я не хочу, чтобы он так спал, мне это не нравится. Я встаю и поднимаюсь на палубу.

Колеса парохода шлепают по воде, сзади за кормой крутится пенится белый пушистый хвост. Кроме меня, на палубе стоят еще несколько девочек. Здоровенные мальчишки, настоящие хулиганы, лет по пятнадцати или даже старше, подплывают к самому пароходу и с силой взбивают ладонями воду. Как будто срезают рукой верхний слой и швыряют на пароход. Брызги взлетают вверх и фонтаном обрушиваются на палубу, мальчишки хохочут, что-то кричат, но за шумом двигателя и шлепаньем колес слов почти не разобрать. Самый большой парень умудряется рывком приблизиться к пароходу, окатить меня водой всю с головы до ног и тут же откинуться на спину, прежде чем его заденет колесо. Подумаешь, в жару это даже приятно – холодный душ...

Я возвращаюсь в салон, но сажусь уже не рядом с Сережей, а на другую скамейку.

– Девочки, а кто знает, какой сегодня день недели? – спрашивает Ляля Светлая.

Я хочу сказать, что Кармела, наверно, знает, но не могу произнести ни слова – никто меня не слышит, и я сама тоже себя не слышу, у меня пропал голос. Совершенно пропал. Девочки говорят, что это не страшно, это оттого, что я стояла на ветру в мокром платье. Я пугаюсь и чуть не плачу, девочки успокаивают меня и уверяют, что это пройдет. Только бы прошло...

Пароход подплывает к речному вокзалу, причаливает к сходням. На берегу кучка ребят в пионерских формах, которых Юра и

Кармела обратным рейсом забирают на вторую смену, провожающие и встречающие, но моих папы и мамы среди них не видно. Ничего. Это ничего, от речного вокзала до нашего дома можно доехать на трамвае, даже не надо пересаживаться.

Девочки разбирают свои чемоданы и бегут к родителям, забывают даже попрощаться. Я иду через парк к трамвайной остановке по длинной-предлинной аллее. Стараюсь идти по краю, между статуями и деревьями, чтобы никто не смотрел мне в спину и не видел, как я иду одна по этой длинной-длиннющей аллее.

Подходит трамвай, я влезая в него и вдруг вижу кондукторшу. Правда, как же я забыла? – ведь в Москве нужно платить за проезд, а у меня совсем нет денег... Совсем нет, ни одной копейки. Можно было попросить у кого-нибудь из девочек или родителей... А теперь... Что же мне теперь делать? И платье на мне совсем мокрое...

– Ну что, платить будем? – спрашивает кондукторша и кивает на мой чемодан. – За багаж тоже.

Я хочу объяснить ей, что я еду из пионерского лагеря, и меня никто не встретил, и у меня совсем нет денег, и я не могу идти так далеко пешком – мы и так уже прошли семь километров от нашего лагеря до канала... Но она ничего не слышит. Я разеваю рот, а слов не слышно.

– Немая, что ли? – вздыхает кондукторша. – Ладно, проходи садись...

Луцкие купили щенка. У одного правдиста. Очень хороший, замечательный щенок, породистый, только без документов. Без паспорта, как тетя Поля. Елизавета Николаевна говорит, что он родился девятым, а документы выдают только первым восьми. Поэтому так дешево и продали, всего за пятьдесят рублей, а за тех, которые с документами, по целой тысяче просили. Но Елизавете Николаевне эти собачьи документы совершенно ни к чему, ей главное, чтобы был хорошим сторожем. Пугал грабителей. А то ей страшно в Немчиновке одной, с тремя детьми и двумя старухами. Две старухи – это Прасковья Федоровна и тетя Зина. Зимой Прасковья Федоровна живет у тети Зины на Филиях, а летом они перебираются в Немчиновку. И Елизавета Николаевна с Мариной, Шуриком и Танечкой тоже перебирается в Немчиновку.

– Зину вы нынче не узнаете, совсем плоха сделалась, хуже мамы, – сообщает Елизавета Николаевна. – И вот ведь что выдумала: пионы разводить, пол-огорода ими засадила.

– Ах, какая прелесть – пионы! – вздыхает мама. – Роскошные цветы. Можно только позавидовать...

– Я уж ей велела на участке не сажать – пускай за забором сажает, если бросить жалко. Куда их? Не лук, в суп не крошишь...

– А может, попробовать на рынок свезти? – подсказывает мама.

– Да как же? Вы подумайте, Нина Владимировна, что вы говорите: я ведь где работаю? В «Правде»! И что – пойду на рынок торговать? Да и некогда мне. Целый день на службе, а в воскресенье и постирать, и погладить, и приготовить. Мама еле ползает, Зина и того хуже... И вообще, я вам скажу... – Елизавета Николаевна оглядывается по сторонам, глаза у нее становятся огромные

и совсем круглые, она наклоняется к маминому уху и шепчет: – Сегодня, если жив, сиди тихо, благодари Бога и не высовывайся!

– Нет, Елизавета Николаевна, вы не правы, – возражает мама. – Я уверена, в той же Немчиновке можно найти женщину, которая с удовольствием возьмется вам помочь. Предложите ей половину выручки. Всё равно какая-никакая прибыль – чем так завянут, ни за понюх табаку.

– Прибыль знаете какая выйдет? Что привлекут, оштрафуют и посадят!

– За что же?

– Как за что? За спекуляцию.

– Какая же спекуляция? – удивляется мама. – Вы же сами их выращиваете.

– Так что, что сами? Больно им нужно, что сами! Ничего, проживем без этих прибылей.

– Напрасно, – говорит мама. – Еще и за собаку деньги заплатили...

– Без собаки нельзя – залезут, всё вынесут да еще и убьют! Пикнуть не успеешь. А собака всё же забрешет, панику подымет.

Собака – щенок – замечательный, чудесный щенок! – светло-коричневый, на длинных смешных лапах, тычется носом во все углы, пытается разгрызть ножку моей раскладушки и совершенно не интересуется их разговором. Ах, если бы у меня был такой щенок... Нет, не надо мне щенка, у меня есть Альма, вот вырасту и возьму к себе Альму...

– Ну хорошо, – говорит мама, – допустим, но зачем же деньги выбрасывать? Брехать прекрасно может любая шавка. Вот так, за здорово живешь, выкинули пятьдесят рублей! Можно подумать, что они у вас лишние. Да вам их, этих псов, только кликнете, десяток притащат, бери не хочу! Недаром говорят: как собак нерезаных!

– Нет уж, Нина Владимировна, породистая собака – это совсем другой разговор! – не соглашается Елизавета Николаевна. – Вон у Филипповых дог... – Глаза у нее опять становятся огромные и круглые. – Они на работе были. И представьте, явились трое. Отмычкой дверь открыли и зашли. А он даже не шевельнулся. Они и не заметили, что собака в доме, связали вещи в узлы и к двери. Не тут-то было! Лег, как шлагбаум, на пороге и не выпускает. Только шаг сделают, рычит и зубы скалит. А зубищи-то у него, вы видели? Будь здоров – не обрадуешься! Так и продержал, пока хозяева не вернулись. Они уж, воры-то, и молили, и просили, и деньги предлагали – только чтобы отпустили, в милицию не заявляли. Простите, говорят, Христа ради, бес попутал, в жизни больше не станем воровать!..

– Да уж, – говорит мама, – нужно быть последним идиотом, чтобы поверить таким мерзавцам.

– Породистая собака – это надежнее всякого замка, – хвастается Елизавета Николаевна.

Сейчас она привезла своего щенка в Москву к дрессировщику, чтобы дрессировщик начал его обучать – чтобы он стал настоящим свирепым сторожем.

– Ах, Елизавета Николаевна, милая, – спохватывается мама, – вот ведь незадача... Как же вы войдете в свою комнату? Я, понимаю, совершенно не ожидала, что вы приедете, вы уж меня извините,

я тут подушки распустила, просто не предполагала, что так получится... Ах, беда какая, да еще с собакой!..

Подушки мама распустила еще пять дней назад, как только я вернулась из лагеря. С тех пор груды пуха и перьев валяются у Луцких под дверью.

— Я почему-то была уверена, что вы до конца августа вообще не появитесь, — объясняет мама. — Хотела использовать эту возможность — пока квартира пустая, — договорилась с Дуней, чтобы пришла ссыпки перестирала, но она, разумеется, как сквозь землю провалилась!..

— Ничего, как-нибудь проберемся, — успокаивает Елизавета Николаевна.

— Ах, минуточку, осторожно! — пугается мама. — Ради бога, подождите, я хоть в сторону сдвину. Светлана, иди сюда, что ты сидишь, как пень! Расстели газеты, бери совок и перетаскивай это всё под дверь к Наине Ивановне!

Щенок обнюхивает пух и перо, фыркает, чихает, трясет своей огромной лопоухой головой, скачет вокруг меня на своих длинных смешных лапах.

— Ах, боже мой, какой бандит! — стонет мама. — Он сейчас всё разнесет!

— А что, Наина разве не дома? — удивляется Елизавета Николаевна, глядя, как я расстилаю газеты под дверью Наины Ивановны.

— Наина Ивановна? Что вы! Какое дома — о чем вы говорите! Неужели вы не в курсе? В больнице! И дай еще бог, чтобы вышла живая. Представьте себе, в ту же ночь — как будто подгадала! — когда пожар на Бегах случился — ну, вы, конечно, знаете — там всё дотла сгорело!

— Да, слышала, слышала, ужас! — сокрушается Елизавета Николаевна.

— Разумеется, ужас, а чего ожидать, когда жулик на жулике сидит и жуликом погоняет! Елизавета Николаевна, милая, чего можно ожидать? Я, честно говоря, вообще не понимаю, к чему это всё затеяли — всю эту перестройку дурацкую, такое было великолепное здание, строгое, величественное, в прекрасном классическом стиле, я всегда любовалась, так нет, потребовалось непременно уничтожить. Если осталось еще что-нибудь стоящее, так обязательно надо надругаться и порушить. Разумеется, ничего не выстроили, говорят, даже и не приступали, так, для виду забором огородили, деньги украли, а чтобы замести следы, подожгли. Сторож, говорят, живьем сгорел, как сидел в своей сторожке, так и нашли утром труп обгоревший. А всё водка проклятая. Верно, напился и уснул как мертвый, был бы трезвый, успел бы выскочить.

— Не напился, а нарочно заперли, — объясняет Елизавета Николаевна, наклоняясь к самому маминому уху. — Очень даже просто! Дверь, небось, бревном подперли и окошко заколотили.

— Неужели? — пугается мама. — Вы полагаете? Зачем же?

— Зачем? А чтобы не показал на них, вот зачем! Сторож, он всё видит, и какие материалы завозили, и какие работы проводили. Как начал бы свидетельствовать, сразу бы на чистую воду вывел. Вот и заткнули рот.

— Да что вы! — стонет мама. — Нет, просто отказываюсь поверить... Кошмар!

– Именно, что кошмар, а вы что думали? Попробуй стань им поперец дороги – вмиг пришибут, как муху. Нынче что таракана раздавить, что человека на тот свет отправить. Жизнь наша нынче копейки не стоит, а вы говорите: на рынок! Только и ждут, к чему прицепиться. Думаете, мало на наш дом охотников? Уже и подсылали, а как же! Продай, мол, Лизавета, дом, а то так заберем. И заберут – отчего не забрать? Меня укутут, а старух с детьми на улицу вышвырнут.

– Нет, Елизавета Николаевна, милая, мне кажется, в данном случае вы все-таки преувеличиваете, – сомневается мама. – Должна же все-таки существовать какая-то законность. Так просто, ни с того ни с сего, прийти и ограбить?.. Совершенно безнаказанно? Вы уж, конечно, извините меня, сверх меры всего боитесь.

– Приходится, Нина Владимировна, приходится бояться! Дом-то наш, понятное дело, ничего не стоит, весь насквозь прогнил, того гляди, балка какая на голову свалится, – участок, вот на что они зарятся! Немчиновка наша – это теперь почти Москва, а тут еще пионы Зинины, как бельмо на глазу, чтобы уж саранча их пожрала! – цветут, будто назло, кто ни пройдет: ах, загляденье! Ах, какой сад!.. Я уже и на работу уходить боюсь. А ночью тоже от всякого шороха вскакиваю.

– Да, конечно, это можно понять, – вздыхает мама. – Что там говорить – столько пережито... А самое ужасное, что предусмотрительно отключили во всем районе воду, представляете? Пожарники приехали, а во всем районе ни капли воды. Перерезали, негодяи, все трубы, как хочешь, так и туши. Думали, сгорит, и концы в воду. Не знаю, может, и керосином сверху окатили – чтобы уж наверняка ничего не осталось. Страшная такая картина. А наша соседushка драгоценная – да, представьте себе! Именно в эту ночь надумала устраивать себе выкидыш.

– Выкидыш? Какой еще выкидыш? – не понимает Елизавета Николаевна.

– Обыкновенный. Подзалетела, как Дуня наша выражается. Что ж, и на старушку бывает прорухка. Уж кажется, такая опытная дамочка, а попалась, как последняя девчонка. И ничего лучшего не придумала, как засунуть себе в матку палку. Счастье еще, что я хотя бы дома оказалась. Вас нет, вы в Немчиновке, Ананьевы в деревню к себе уехали, на Урал, Светлана в пионерском лагере, Павел, как всегда, закатился к своим разлюбленным приятелям, я одна во всей квартире, стою у окна, наблюдаю пожар, пламя такое, вы не поверите: всё небо из края в край багровое, трещит все, рушится, дым, чад, гром, языки раскаленные в поднебесье взлетают, форменный ад, светопреставление, вдруг слышу словно голос откуда-то, еле теплится: спасите, умираю, умираю! Я поначалу решила: на улице кричат, не стала обращать внимания, потом опять: помогите, спасите! – как будто за дверью. Подбежала, открыла – Наина! Валяется в луже крови. Я от ужаса онемела, руки-ноги трясутся, боже мой, не знаю, что делать! Она говорит: скорую, скорую! Уж и не помню, как вызвала. Будто в обмороке каком-то. Они, правда, быстро приехали. Даже не решились вытащить из нее эту проклятую палку, простыней накрыли и поволокли. Уложили на носилки, а палка из-под простыни торчит, можете вообразить!

– Поделом вору мука, – говорит Елизавета Николаевна.

– Ах, нет! – не соглашается мама. – Что вы, не дай бог никому... И подумайте: она-то, с ее пронырливостью, не сумела найти какую-нибудь повитуху! Решила зачем-то действовать самостоятельно. Денег, видно, пожалела. Лучше сдохнет, чем копейку истратит!

Щенок носится по коридору и взбивает в воздух перья и пух.

– Елизавета Николаевна, милая, уберите вы его куда-нибудь! – умоляет мама. – Может, хотя бы в ванной его запереть?..

Елизавета Николаевна пропускает ее просьбу мимо ушей.

– Выкарабкается, – говорит она, – такая стерва наверняка выкарабкается.

– Возможно, – вздыхает мама. – Единственно, чего я не могу понять: почему непременно, что бы ни случилось, весь этот ужас обрывается именно на меня! Как вспомню, так и теперь вся дрожу, особенно эта палка несчастная – так и стоит перед глазами...

Палка, думаю я, какая же это палка? Наверно, от половой щетки, никакой другой палки у нас в квартире не было.

Ночью мне снится пожар и как санитары тащат носилки, но на носилках не Наина Ивановна, а сторож – страшный, весь обгоревший, черный... Бабушка говорила, предупреждала – конец света! Вокруг свист, скрежет, языки адского пламени, мертвый сторож соскакивает с носилок, хватается нашу половую щетку и принимается размахивать ею во все стороны. Я кричу от ужаса: помогите, спасите! Но никто не слышит – у меня пропал голос, совсем пропал...

Кто-то пришел, открывает ключом входную дверь – папа!

Я сижу на полу под дверью Наины Ивановны и перетряхиваю перо и пух. Раздираю, расщипываю на мелкие клочки слипшиеся комья, чтобы каждое перышко было в отдельности, и засовываю мягкие пушистые горсти в ссыпки, которые наконец перестирала тетя Дуня. Если встречается какой-нибудь особенно колючий устюк, отбрасываю его в сторону. Папа говорит, что нужно говорить «остюк», от слова «ость», но мама не соглашается:

– Устюк! И не дури мне, пожалуйста, голову!

– Кошмар! – стонет мама. – Вся квартира в пуху, настоящий еврейский погром.

– Вот именно, Нинусенька. – Папа снимает свою летнюю кремовую шляпу, вешает на крюк и приглаживает волосы. – Причем, хочу обратить твое внимание, этот погром устроили не члены Союза русского народа, а ты сама, по своей собственной доброй воле, находясь в здравом уме и твердой памяти.

– Не дразни меня! – злится мама. – Погром устроил щенок. Не щенок, а бес хвостатый! Теперь она будет привозить его сюда каждую неделю. Может, даже по два раза в неделю – как прикажет уважаемый дрессировщик.

– Хорошо, допустим, погром устроил щенок, – кивает папа, – но все-таки трудно обвинить его в том, что это он распорол наши подушки.

– Не прикидывайся, пожалуйста, идиотом! – говорит мама. – Ты прекрасно знаешь, что я каждый год распускаю подушки.

– Да, – говорит папа, – и я каждый год удивляюсь, зачем ты это делаешь.

– Затем, чтобы просушить перо и перестирать ссыпки, чтобы не было дурного запаха, чтобы пух не сбивался в комья, от которых раскалывается затылок! Теперь тебе понятно, зачем я это делаю? Или требуются еще дополнительные разъяснения?

– Хорошо, Нинусенька, оставим тему подушек. Сейчас следует сосредоточиться на отъезде в Дубулты.

– Что значит – сосредоточиться? Выражайся, пожалуйста, по-человечески. Вечные загадки и дурацкие выкрутасы! Хождение вокруг и около.

Папа шумно вздыхает и вытягивает губы.

– Кстати, ты выкупил путевки и билеты? – спрашивает мама.

– Этого, к великому сожалению, мне не удалось сделать.

– Не удалось? Почему же?

– Потому что еще две недели назад я сообщил тебе, Нинусенька, что вы со Светланой должны пройти флюорографию. Но ты, разумеется, и не подумала этого сделать.

– Ты что? – шипит мама. – Специально задался целью свести меня с ума? Ты не хуже меня знаешь, что две недели назад Светлана была в пионерском лагере.

– Да, но уже неделя, как она оттуда вернулась. Я поехал в Литфонд забрать наши путевки и билеты, но выяснилось, что вы до сих пор не прошли флюорографии. За целую неделю, Нинусенька, ты не нашла времени сделать флюорограмму. А без медицинского заключения путевок, как известно, не выдают.

– Что значит – не выдают? Как это – не выдают?

– Без медицинского заключения путевок не выдают! И если вы сейчас же, в течение ближайшего часа, не пройдете флюорографию, то никакого Рижского взморья нам не видать, как своих ушей.

– Как это следует понимать – ближайшего часа?

– Нинусенька, сегодня последний день, когда это можно сделать. Надеюсь, ты не забыла, что завтра в одиннадцать часов утра мы должны быть на Рижском вокзале. Поезд отходит в одиннадцать часов восемнадцать минут.

– Да, но почему ты сообщаем мне об этом в последний момент!? Почему нельзя было сказать, по крайней мере, вчера или позавчера?

– Потому что я никак не мог предположить, что ты до сих пор не прошла флюорограмму.

– Потому что тебе на всё наплевать! Почему было не поехать за этими проклятыми путевками три дня назад?

– Три дня назад еще не было билетов, билеты доставили только сегодня утром, и я битых три часа пытался до тебя дозвониться – абсолютно безрезультатно. Ты так и не соизволила снять трубку.

– С какой стати я буду снимать трубку! Чтобы отвечать на звонки Наининых кавалеров?!

– Как тебе угодно, Нинусенька, – говорит папа, – но если в течение ближайшего часа вы не пройдете флюорографию...

– Как, как я могу проходить твою проклятую флюорографию? – визжит мама. – Ты что, не видишь, что я покрасила голову? Ты считаешь, что я могу разъезжать в городском транспорте с такой головой?!

Голова у нее покрыта вощеной бумагой, а поверх бумаги обернута толстым слоем ваты и повязана белой тряпкой, перепачканной в рыжей краске.

– Не вижу в этом ничего предосудительного, – говорит папа, – каждый разъезжает в городском транспорте с той головой, которая у него имеется. Но если ты предпочитаешь отказаться от поездки в Дубулты...

– Прекрати, негодяй, прекрати это издевательство! Нет, вы подумайте – всё бросить, сорваться и нестись на другой конец города ради какой-то идиотской формальности!.. Ты прекрасно знаешь – краска должна оставаться на волосах минимум два часа!

– Нинусенька, я тебе всё объяснил, а ты поступай, как тебе заблагорассудится. Если ты не хочешь ехать в Дубулты...

В том-то и дело, что мама очень, очень хочет поехать в Дубулты, она уверена, что пребывание на Рижском взморье чрезвычайно полезно для ее здоровья.

– Хорошо, прекрасно! – говорит она. – Тогда объясни мне, что же будет со всем этим пером? Нет, просто какое-то полнейшее безумие, уже не знаешь, что и подумать! Я еще не начинала укладывать вещи...

– Насчет вещей, Нинусенька, к сожалению, ничем не могу тебе помочь, – вздыхает папа, – а что касается пера, то берусь лично сию минуту смести его на совок и незамедлительно отправить в мусоропровод.

– Не паясничай, не смей паясничать! – Мама становится вся красная, выдергивает из кармана фартука огромный голубенький платок и обтирает испарину с лица. – Как вам это нравится? Хорошенькие шутки – отправить в мусоропровод! А на чем, позволь поинтересоваться, ты собираешься по возвращении спать?

– Постараюсь приобрести новые подушки.

– Да, конечно, миллионщик! – новые подушки... Можно подумать, что новые подушки так и валяются на каждом углу...

– Позволь тебе заметить, Нинусенька, – папа сопит носом и трет ладонью подбородок, – что в Москве проживает несколько миллионов граждан, и никто из них – никто! – не распускает по весне подушек!

– Сейчас уже далеко не весна, – уточняет мама. – И твои несколько миллионов граждан – это безграмотное мужичье, дикари, лапотники, которые не имеют ни малейшего представления о порядочном образе жизни!

– Однако при всем том они спят на целых, не распоротых подушках, – не уступает папа.

– Спят на грязном, засаленном, замусоленном тряпье! Вот на чем они спят, на сбитых в камень комьях! На дедовых тулупах!

– Нинусенька, ты изобретаешь все эти фокусы специально для того, чтобы сделать мою жизнь невыносимой, – объявляет папа, – чтобы свести на нет все мои усилия, да, именно так! Тебе предоставляется редкостная возможность поехать на Рижское взморье, а ты специально делаешь всё от тебя зависящее, чтобы ее лишиться!

– Оставь меня в покое! Я ничего не делаю и не собираюсь делать! Это ты вечно переваливаешь с больной головы на здоровую. Что ты сидишь? – набрасывается она вдруг на меня. – Сидит

как засватанная, ждет особого приглашения! Вставай, одевайся, не слышала? – твой обожаемый папаша требует, чтобы мы ехали в поликлинику! В дополнение ко всем несчастьям еще и оглохла. Не только онемела, но и оглохла!

Мы едем на трамвае, потом в метро, и странное дело – никто не смотрит на нас, не смеется, не показывает пальцем, вообще ни один человек не обращает внимания на мамину голову, которую она поверх ваты и тряпок обмотала еще толстым шерстяным платком. В такую жару, в июле месяце, толстым слоем ваты и шерстяным платком! Голова у нее похожа на ту тыкву, которую добрая фея превратила в золотую карету для Золушки, но никого, абсолютно никого это не интересует. Выходит, правильно говорят: хоть горшок на голову надень...

Удивительно, но мы успели получить путевки и билеты, сложить вещи и даже запихать весь пух и перо в ссыпки. Не успели, правда, как следует зашить их, только кое-как прихватили на живую нитку. И подмести пол в коридоре не успели.

– Черт с ним, наплевать! – говорит мама. – Настя вернется из деревни и подметет. Ничего, авось, не развалится – здоровенная баба, поперек себя шире, целыми днями только и знает, что дрыхнет, как сурок. Как не заглянешь к ней в комнату, все в постели. Переваливается с боку на бок, как медведь в берлоге. Интересно, что она делает ночью? Даже полезно будет немного размяться. В конце концов, я ей тоже оказываю немало одолжений. Ладно, все, выходите. Павел, не забудь картонку с моей шляпой!

Теперь папа с мамой сидят в купе и разговаривают с поэтом-переводчиком Андреем Борисовичем Сосновским. Он едет в Дубульты один, поэтому его поместили четвертым в наше купе. А я стою в коридоре у открытого окна вместе со всеми девочками: Мариной Ильвинской, Беллой Корабельской, Милой Загоскиной, Таней Зеленской и Ёлкой Евсеевой. В лагере Ёлка почему-то никогда не пела, во всяком случае при мне, а здесь, в поезде, девочки упросили ее спеть про вересковый мед. Оказывается, она очень красиво поет, просто замечательно! Такой высокий, звонкий голос – как серебряный колокольчик, правда, как маленький серебряный колокольчик...

Из вереска напиток
Забыт давным-давно,
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино...

Пришел король шотландский,
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам...

Окно открыто, песня вырывается наружу и летит, летит над насыпью, над лесами, над всей землей!

На поле вересковым,
На поле боевом
Лежал живой на мертвом
И мертвый на живом...

Всё вокруг слушает про бедных пиктов: и реки, и травы, и деревья, и теплый душистый воздух!..

Король глядит угрюмо –
Опять в краю моем
Цветет медвяный вереск,
А меда мы не пьем!

Как хорошо, что в этом году Литфонд устроил централизованную закупку билетов – если бы каждая семья покупала билеты сама, мы ни за что не оказались бы все вместе в одном вагоне!

Сильный шотландский воин
Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С высоких прибрежных скал...

– Светлана! – зовет из купе мама. – Хватит уже торчать на сквозняке, иди, пора стелиться и спать.

Спать? Как это? В такую рань? Вот теперь – когда Ёлка так замечательно поет?..

– Еще совсем день... – говорю я. Голос ко мне вернулся, хриплый такой, как будто я не по-настоящему говорю, а всё время шепчу зачем-то, но все-таки можно кое-как услышать. – Даже солнце еще не зашло...

– Так что, что не зашло? – возмущается мама. – Прикажете теперь умереть из-за того, что оно не зашло? На крайнем севере оно месяцами не заходит. И не зли меня, пожалуйста! Ты прекрасно знаешь, что я всю ночь глаз не сомкнула, ни на минуту не прилегла!

– Но я не хочу, не хочу спать!.. – Слезы текут у меня из глаз. Почему, почему она всегда отнимает у меня всё самое хорошее?!

– Правду сказал я, шотландцы, – доносится из коридора сквозь стук колес и мамины распоряжения, –

От мальчика ждал я беды,
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды!

– Просто бред какой-то, абсурд, – объясняет мама поэту Сосновскому, – всю ночь на ногах, и спросите, ради чего? Безумие!

Поэт молчит, папа тоже молчит, однако громко сопит носом и покашливает.

– А мне костер не страшен, – поет в коридоре Ёлка, –
Пусть со мной умрет
Моя святая тайна,
Мой вересковый мед...

– Давление, можете не сомневаться, опять подскочило, – сообщает мама. – Еду на Рижское взморье для того, чтобы поддержать здоровье, а перед этим довожу себя до полного изнеможения всеми этими сборами и приготовлениями.

– Хм... Да... – Произносит Сосновский, вздыхает, поднимается и пробирается к выходу из купе. – Если кто-нибудь спросит, скажите, что я в вагоне-ресторане.

– Будьте осторожны, не съешьте там какой-нибудь гадости, – предупреждает мама. – В этих ресторанах, я уже не говорю о поездах, продукты по неделям валяются. Не хватает только отравиться в дороге.

– Да, вы правы... Постараюсь быть осторожным, – обещает Со-сновский.

– В особенности остерегайтесь рыбы!

Папа постукивает ногтями по крышке стола.

– Нинусенька, по-моему, твои материнские советы в данном случае не вполне уместны, он уже не ребенок.

– Ничего, зато ты форменный младенец! – бурчит мама, роясь в чемодане. – И прекрати, пожалуйста, на каждом шагу поучать меня, позволь мне самой решать, уместны или не уместны мои советы. – Она вытаскивает из чемодана ночную рубашку и тапочки. – Светлана, сними с меня туфли! Задвинь, задвинь поглубже под столик, а то вернется из своего ресторана навеселе и обязательно наступит. Нет, как вам это нравится: если кто-нибудь спросит!.. Только этого не хватало, чтобы ломиться в дверь и будили. Я потом до утра не усну. Кто это, интересно, должен его спрашивать? Кстати, Павел, вместо того, чтобы делать дурацкие замечания, ты бы лучше узнал, сколько мы стоим в Чертолино.

– С какой целью, Нинусенька?

– Если достаточно долго, можно успеть спуститься на перрон и посмотреть, не предлагают ли бабы моченых яблок.

– Именно в Чертолино?

– В прошлом году, я помню, там выносили очень неплохие моченые яблоки. И прикрой поплотней занавеску. Проклятое солнце! – так и лупит в глаза.

Папа задерживает занавеску, потихонечку выходит из купе и вскоре возвращается.

– На станцию Чертолино поезд прибывает в один час одиннадцать минут и стоит там двадцать шесть минут, – сообщает он.

– Как – в один час одиннадцать минут? – удивляется мама. – Это же ночь!

– Да, Нинусенька, это ночь. День, согласно заведенному в мироздании порядку, сменяется ночью.

– Ладно, черт с ними, с яблоками. И ложись уже наконец, хватит топтаться. Начнешь потом грохотать и разобьешь мне весь сон...

Я хочу зажечь у себя над головой маленькую лампочку-ночник – хоть книжку почитаю, если нельзя стоять с девочками в коридоре, – но мама и этого не позволяет.

– Выключи немедленно!

Ничего, думаю я, утыкаясь носом в угол, во влажную поездную подушку, ничего, завтра утром проснусь, и всё опять будет хорошо. Всё будет хорошо, обязательно будет хорошо... Не может быть, чтобы всё время было плохо. «Цветет медвяный вереск...»

Нас поселили в охотничьем домике. Домик двухэтажный и очень симпатичный, похож на маленький замок посреди густого леса – вокруг со всех сторон растут высокие деревья, и сосновые лапы упираются в окна. На первом этаже в большой комнате уже живет какая-то женщина, примерно мамина ровесница. Мама пыталась

заговорить с ней, но та ничего не ответила, сказала «извините» и ушла к себе.

– Дикарка какая-то! – возмутилась мама.

А у нас две комнаты на втором этаже. На второй этаж ведет широкая, плавно изогнутая лестница. Внизу она очень широкая, а потом постепенно сужается. В первой, проходной, комнате буду спать я, а мама с папой во второй. И еще на первом этаже есть большой холл, в котором стоят несколько мягких диванов и кресел, обитых голубым бархатом – правда, капельку вылинявшим и потертым, но всё равно настоящим голубым бархатом. Папа говорит, что нам очень повезло, что нас поселили в Охотничьем домике, отдельно от всех, но мама вздыхает:

– Да, но как-то мрачно... И еще эта соседка-нелюдимка...

А в столовой мы сидим за одним столом с тем же самым поэтом-переводчиком Сосновским, и мама продолжает давать ему советы, но он, кажется, не сердится, что она всё время дает ему советы, даже доволен.

– Никогда не ешьте помидоры натошак, – внушает мама, – в них много кислоты, можно сжечь слизистую желудка.

– Да что вы говорите? – удивляется Сосновский. – А что же с ними делать?

– Сначала поешьте супу, а потом уж вместе с жарким можно приниматься за помидоры. Вообще, это ужасная глупость, что салаты дают на закуску. Это им так удобно – заранее расставят на столах, меньше возни.

– Да-да, я думаю, вы правы, – размышляет поэт, – действительно, я сам замечал – как накинусь на салат из помидоров, тут же начинается изжога. Особенно если уксусом приправлены...

– Изжогу лучше всего заливать боржомом. Как только почувствуете, что начинается изжога, тут же выпейте стакан боржома. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она развилась.

– Да где же его взять, боржом? – сомневается Сосновский.

– Что значит – где взять? Необходимо постоянно иметь запас. Не знаю, где тут можно достать, но думаю, что в центральной аптеке обязаны держать. Не может такого быть, чтобы вообще не завозили боржома. Все-таки какая-никакая, а столица, и к тому же курортное место. Тем более, учитывая летний наплыв отдыхающих... Между прочим, вы знаете, масло тоже не рекомендуется есть натошак, – продолжает она, заметив, что Сосновский в ожидании супа намазывает ломоть белого хлеба сливочным маслом. – Масло обволакивает стенки желудка и отбивает аппетит.

– Ну, аппетит у меня ничто не отобьет! – обещает Сосновский.

– Да, конечно, молодость... – соглашается мама печально. – Действительно, молодой организм способен всё переварить... Не даром говорят – без прожёву летит...

Нам с папой она не позволяет даже дотрагиваться до масла, которое подают на стол. Она специально съездила в Ригу, купила там на рынке пузатый глиняный кувшин и налила в него соленой воды – очень соленой. Собрала в столовой соль из всех солонки и сыпала в свой кувшин. Теперь всё масло, которое нам полагается, мама собирает с тарелочек, аккуратно заворачивает в салфетку и прячет в ридикюль. Когда мы возвращаемся после завтрака и после ужина

к себе в Охотничий домик, она соскребывает масло с салфетки в кувшин и следит, чтобы оно оказалось полностью покрыто соленой водой. Кувшин она, предварительно потуже завязав ему горло тряпкой, задвигает в шкаф, в самый нижний угол.

– Нинусенька, – хмурится папа, – будет крайне неудобно и неприлично, если уборщица наткнется на твои припасы и растрезвонит о них по всему дому творчества.

– Да, действительно, немыслимый позор! – фыркает мама. – Можно подумать, что я это масло ukrала или у кого-то отняла! Мне его выдают, и я имею полное право поступать с ним, как мне заблагорассудится.

– По-моему, мой милый Кисик, ты недооцениваешь обстоятельств, в которых мы здесь пребываем, – говорит папа. – Не следует забывать, что писатели люди злобные и завистливые.

– Не вижу, чему тут завидовать, – возражает мама, – никто не запрещает им поступать точно так же.

– Тем не менее, Нинусенька, – голос у папы становится хриплым и немножечко злым, – я не желаю из-за твоего мерзкого мещанского скопидомства сделаться всеобщим посмешищем. Чтобы все эти Бугаевы и Кочетовы шушукались у меня за спиной и тыкали в нас пальцами.

– Ничего, пошушуются и перестанут, – не уступает мама. – Просто удивительно, что за беспросветный трус! Всего на свете страшится. Как нашкодивший мальчишка. Вечно дрожит, как заяц. «Мерзкое мещанское скопидомство!» Здесь, слава богу, и без масла еды хватает, а в Москве потом как найдешь. Еще и спасибо скажешь.

– В Москве сливочное масло продается в любом магазине, – напоминает папа. – Никаких перебоев с маслом в последние годы не наблюдается.

– О да, не наблюдается! Можно подумать, что ты ходишь по магазинам и знаешь, что там наблюдается и чего не наблюдается.

– Вот именно, мой милый Кисик, – папа кивает головой, – уже много месяцев подряд, по крайней мере с тех пор, как моя драгоценная теща слегла в больницу, я вынужден постоянно снабжать тебя продуктами. И в связи с этим волей-неволей посещать магазины.

– Посещать магазины! Посетитель... Да будет тебе известно, что твоя драгоценная теща давно уже слегла не в больницу, а в могилу! Даже этого умудрился не заметить. Нет, как вам это нравится! Купеческие замашки! Здесь выкидывать, а Москве бегать и выискивать, где бы достать. Великолепное воспитание.

Папа набирает в грудь побольше воздуха, чтобы ответить ей – видно даже, как у него раздуваются ребра, – но мама обрывает его на первом же слове:

– Все, замолчи, противно слушать!

Он замолкает.

По вечерам папа рассказывает в холле всякие страшные и удивительные истории. Вначале он рассказывал только мне и моим подругам, но потом девочки стали пересказывать его истории мальчикам, и мальчики тоже начали приходить к нам в Охотничий домик, а теперь и некоторые родители собираются после ужина у нас в холле, рассаживаются на диванах и ждут, пока папа начнет

рассказывать. Мест на диванах уже не хватает, многие приносят с собой подушки и усаживаются прямо на полу. Папа восседает как король в одном из кресел возле лестницы и рассказывает.

– С некоторых пор, – начинает он, – в здании Парижской оперы стали происходить волнующие и необъяснимые происшествия. Люди сведущие утверждали, что в опере завелся призрак. Но это был очень странный призрак – никто никогда не видел его, зато многие слышали. Те, кто его слышал, уверяли, что у него приятный густой баритон. Помимо этого, вздорный и капризный призрак часто оставлял записки с наглыми требованиями и дерзкими замечаниями. В один прекрасный день обоим директорам Парижской оперы, месье Дебьену и месье Полиньи, надоело исполнять его причуды, и они оба одновременно и согласованно подали в отставку. Месье Дебьена следовало бы, по современным понятиям, скорее назвать генеральным директором, поскольку он заведовал всем сложнейшим хозяйством оперы, а месье Полиньи – художественным руководителем. Он тоже нес немалую нагрузку: отвечал за репертуар, заключал контракты с артистами, следил за расписанием репетиций и представлений...

– Пытался угодить вкусам представителей министерства культуры, – подсказывает папа Вадика Смолянского.

Папа кивает и как-то слишком громко хохочет.

– Совершенно верно! Намечал и утверждал декорации, планировал вместе с режиссером шумовое оформление и делал еще множество вещей, без которых невозможно создать настоящую оперу. В те дни Парижская опера славилась по всему миру, и не только благодаря своим великолепным дирижерам и исполнителям. Искусство декораторов, осветителей, костюмеров, иллюзионистов и гримеров, – папа слегка откидывает голову назад и на секунду умолкает, – и многих других незаметных тружеников, которые не удостоиваются восторженных аплодисментов, превратило ее в своего рода особый волшебный мир, дворец дивных сновидений, которые очаровывали слушателей и потрясали их воображение. Поэтому появление в стенах оперы призрака поначалу казалось как бы естественным продолжением всей этой сказочной фата-морганы и только прибавило ей остроты. Так что неожиданное решение обоих директоров выйти в отставку явилось для всех полной неожиданностью. Совету попечителей пришлось срочно подыскивать им замену. На должность художественного руководителя был назначен известный парижский композитор месье Фирмен Ригар, про которого говорили, что он аристократ и джентльмен. Административным директором должен был стать месье Арман Мушар, обладатель приличного состояния, человек предприимчивый и имевший значительные связи как в правительственных, так и театральных кругах. Смену руководства решено было отметить грандиозным концертом и не менее пышным банкетом, однако буквально за полчаса до начала концерта произошло нечто непредвиденное: выяснилось, что испанская примадонна Карлотта, которой предстояло исполнить на концерте все главные арии, внезапно серьезно заболела. Божественную Карлотту, – папа переводит взгляд на расположившуюся у стены на подушке маму Беллы Корабельской и улыбается ей, как будто это она божественная Карлотта, – божественную Карлотту пришлось срочно заменить

юной Кристиной Доз, до этого выступавшей лишь на второстепенных ролях. И тут произошло первое чудо: никому не ведомая певица покорила публику. На следующий день все парижские газеты писали, что при звуках ее ангельского голоса души присутствовавших воспарили вместе с ее душой над могилами влюбленных из Вероны...

– Ромео и Джульетты! – подсказывает кто-то из сидящих на диванах.

Папа кивает.

– Завсегдатаи возмущались, что администрация, не решаясь нарушить условия контракта с испанкой, преднамеренно скрывала от них необыкновенный талант Кристины Доз. Но прежде чем столь удачный концерт подошел к концу, случилось происшествие, в значительной степени испортившее новым директорам праздничное настроение. Кто-то из рабочих сцены доложил дежурному администратору, что заведующего оформительским цехом Жозефа Бюке только что нашли повесившимся в одном из подвалов здания. Администратор не посмел утаить эту печальную новость от месье Ригара и месье Мушара и посоветовал вызвать полицию.

«Только после банкета! – решительно запротестовал Мушар. – Если этот болван действительно мертв, то пусть повисит на своей веревке еще пару часов. Это уже не повредит ему».

«Бюке проработал в нашем театре свыше двадцати лет, – пробормотал взволнованный администратор, – и от простого рабочего сцены дослужился до должности заведующего цехом. Смею заметить, это был серьезный, ответственный, уравновешенный и абсолютно не пьющий человек... К тому же, у него полностью отсутствовало то воображение, которое может породить невольные страхи и преувеличения...»

«Прекрасно! – прервал его Мушар. – Всё это вы скажете на его похоронах, а сейчас прошу вас незамедлительно покинуть мой кабинет и впредь не появляться в нем без специального приглашения!»

Растерявшийся администратор поспешно извинился и ретировался. Между тем антракт, объявленный между концертом и банкетом, затягивался. В большом вестибюле давно уже были накрыты столы, но все четыре директора – и прежние, и новые, отсутствовали. Среди собравшихся поползли тревожные слухи. Артистки кордебалета, не удостоившиеся приглашения на банкет, набились в комнату мадам Ла Сорелли, одной из ведущих балерин, и наперебой твердили, что это месть призрака.

«За что же призрак мстил несчастному Бюке?» – спросила добродушная ла Сорелли, обладавшая практичным складом ума и сомневавшаяся в правдивости легенды.

«Он терпеть не может, когда его преследуют! – воскликнуло сразу несколько голосов».

«А Бюке преследовал его?»

«Конечно! – зашебетали девушки, – разве ты не знаешь? Бюке единственный, кто действительно видел его. Неделю назад он столкнулся с призраком на той лестнице, которая ведет от рампы вниз, в подвалы. Бюке видел его лишь одну секунду, но весь день потом не мог прийти в себя от потрясения. Он уверял, что перед ним внезапно возник скелет, одетый во фрак, вместо глаз у него

были две дыры, два отверстия, какие бывают у скелетов, но в глубине этих отверстий мерцали таинственные огни...»

Входная дверь нашего домика вдруг не спеша открывается, в холле вздрагивают и ойкают. Я тоже вздрагиваю. Но это не призрак, это пришла соседка с первого этажа.

– Здравствуйте, Варвара Алексеевна! – говорит папа Ёлки Евсеевой. – Вы нас, знаете ли, напугали. Павел Александрович рассказывает тут такие ужасы... Про всякие таинственные призраки и привидения...

– Да? – усмехается Варвара Алексеевна. – Что ж, желаю вам никогда не испытывать иных страхов, кроме этих. – Окидывает собравшихся хмурым взглядом и скрывается в своей комнате.

Папа вздыхает и почесывает щеку.

– Ошибка Бюке, – продолжает он, – заключалась в том, что он не захотел оставить призрак в покое. Он полагал, что призрак чья-то ловкая проделка, мистификация, задуманная с еще не ясной, но скорее всего, неблагоприятной целью.

«Призрак выглядит слишком настоящим, – утверждал Бюке, – слишком реальным, чтобы действительно быть призраком».

И хотя видение исчезло бесследно, Бюке продолжал бродить по подвалам, в которых, естественно, за двадцать лет работы изучил каждый уголок, и подкарауливать самозванца. Ему хотелось схватить авантюриста за шиворот и выволочь наверх, на сцену, под огни юпитеров, чтобы рассмотреть самому и разоблачить перед всеми.

«Кто бы мог подумать, что всё это окончится так трагично! – вздыхали балерины. – Бедный Бюке...»

– Несмотря на то, что месть Мушар изгнал дежурного администратора из своего кабинета, отложить выяснение досадных обстоятельств гибели заведующего оформительским цехом ему так и не удалось, этим и объяснялась задержка. – Папа закидывает ногу на ногу и не торопясь приглаживает ладонью свои замечательные, шелковистые и немножко выющиеся волосы. Голубые глаза его сейчас кажутся почти черными. – Все полномочия были переданы прежними директорами новым в присутствии представителя правительства еще накануне, – говорит он, – но теперь Дебьен и Полины внезапно прислали сказать, что желают обменяться с Ригаром и Мушаром некоторыми важными сведениями.

– Павел, ты можешь на минуту подняться? – раздается сверху мамин голос.

– Только не сейчас, Нинусенька, – не сразу отвечает папа.

– Что значит, не сейчас? Я не могу найти свою тетрадь... Черт ее знает, куда она запропастилась!

Без этой тетради мама как без рук, но тетрадь почему-то постоянно исчезает. Мама записывает в нее расходы, всякие свои планы на завтра и еще в какие дни и на сколько часов приходила домработница, но в Дубултах у нее нет ни расходов, ни домработницы, ни планов. Остаются, правда, некоторые другие важные вещи: полезные сведенья, которыми с ней поделилась какая-нибудь из писательских жен и, главное, описания своего самочувствия.

– Нина Владимировна, дорогая, смилуйтесь великодушно, не лишайте нас невинного удовольствия послушать прелестную повесть вашего супруга, – уговаривает папа Славы Озерского.

– Да уж, действительно – прелестную повесть! Грех упустить... – бурчит мама. – Драгоценная повесть никуда не убежит, а я хочу наконец лечь. И детям, между прочим, тоже пора спать – двенадцатый час.

– Дети не хотят спать! – кричат снизу.

– Вы что – взбесились? – возмущается мама. – Соседку разбудите. Не хватает только скандала. Бесперывные дурацкие выдумки... – Но все-таки сдается и отступает обратно в комнату.

– Прежде всего Дебьен и Полиньи вручили Ригару и Мушару два ключа, каждым из которых можно было отпереть любую дверь в здании Парижской оперы, – продолжает папа. – Этих дверей насчитывалось более тысячи. Поскольку ни одному администратору не под силу таскать с собой свыше тысячи ключей, по специальному заказу были созданы эти универсальные ключи сложнейшей конструкции, способные открыть самый замысловатый замок.

«К сожалению, дорогие друзья, – произнес Дебьен хмуро, – вынужден предупредить вас, что, по крайней мере, одна копия этих уникальных ключей каким-то образом попала в чужие и далеко не благожелательные руки. Мы догадывались об этом и раньше, но сегодняшнее происшествие подтвердило наши подозрения».

«О каком происшествии вы говорите?» – спросил Мушар несколько вызывающе.

«Я говорю о гибели бедняги Бюке, – ответил Дебьен ледяным тоном. – Это был славный и надежный человек, но, к сожалению, слишком прямолинейный. Ему не следовало вмешиваться в эту историю...»

«А, так вы уже знаете, – пробормотал Ригар. – Мы пытались избавить вас от этой неприятной информации».

«Что вы имеете в виду, когда говорите “эту историю”»? – поинтересовался Мушар.

«Смерть Бюке заставила нас осознать, что мы поступили бы непорядочно и неблагородно, если бы скрыли от вас истинные причины нашей отставки, – произнес Полиньи твердо. – Мы обязаны рассказать вам все. Взгляните на этот листок».

И он протянул новым директорам лист дорогой почтовой бумаги с крупной затейливой виньеткой, в рисунке которой, приглядевшись, нетрудно было различить череп и кости.

«Предписание для директоров» – было написано вверху листа нервным размашистым почерком. – Параграф первый. Начиная со следующего месяца никто из служащих или артистов оперы не вправе спускаться ниже четвертого уровня подвалов этого здания. Учитывая возможные затруднения в связи с сокращением площади хранилищ, в оставшиеся до указанного срока дни дирекции разрешается перенести на пятый уровень старые, вышедшие из употребления декорации, которые наверняка не потребуются театру в течение ближайшего года. После этого вход на пятый уровень прекращается и все проходы туда будут надежно перекрыты».

«Какая трогательная забота о нашем благополучии! – возликовал мсье Мушар. – Он всерьез обеспокоен тем фактом, что в результате его ультиматума нам придется потесниться, и изыскивает способ свести наши неудобства к минимуму!»

«А я и не предполагал, что подвалы здания уходят на такую глубину!» – заметил простодушный Ригар.

«Рекомендую, значилось далее в “Предписании”, дать распоряжение, категорически запрещающее вход на пятый уровень в связи с грозящим ему внезапным затоплением».

«Затоплением? – удивился Ригар. – Тут возможно затопление?».

«Разве вы не слышали? – сказал Полиньи. – Главным препятствием при возведении этого прекрасного здания стали подземные воды, постоянно скапливавшиеся под фундаментом. Шарль Гарнье, автор проекта, временами впадал в такое отчаяние, что уже готов был вообще забросить всю затею строительства. Но в конце концов ему удалось изолировать фундамент и подвальные помещения, которые подмывала вода, двойной стеной».

«И что же? Мерзавец, выдающий себя за призрак, угрожает нам разрушением этой стены?»

«Очевидно, так», – согласился Полиньи.

«Его следует повесить!» – сказал Мушар.

«Но для начала желательно поймать», – вздохнул Ригар.

«Если это в принципе возможно», – заметил мсье Дебьен.

«Да что это с вами, господа! – возмутился Мушар. – Вы умные, просвещенные люди, и верите в такую нелепицу? В какого-то всемогущего неуловимого злого духа? Стыдитесь!»

«Параграф второй, – зачитывал между тем Ригар. – Все лица, устроившие себе незаконное проживание в здании оперы, должны быть в течение двух недель удалены из него. Пребывание обслуживающего персонала в здании разрешается только в дневные часы и никак не позже полуночи. Рабочие, остающиеся после спектакля для уборки декораций, могут пользоваться грузовыми подъемниками, но ни в коем случае не должны лично спускаться в подвалы».

«Он проявляет завидную осведомленность во всем, что касается Оперы!» – заметил Ригар.

«Разумеется. Наверняка это какой-нибудь бывший служащий, по его мнению, обиженный администрацией, – догадался Мушар. – Нужно просмотреть списки всех уволенных сотрудников. Позвольте, а что значит – “лица, устроившие себе незаконное проживание в здании Оперы”?»

«Ну, это... – вздохнул Полиньи. – Есть пожилые рабочие, отдавшие Опере многие годы жизни, но не сумевшие скопить каких-либо средств на старость. Потерпевшие, если можно так выразиться, жизненное крушение. Как правило, потерявшие детей и близких. Мы давно уже знаем об их существовании, но предпочитаем смотреть сквозь пальцы на то, что они ночуют в здании театра. Они не в состоянии нанять квартиру в городе, Опера их последнее пристанище. В подвалах скопилось несметное число старых декораций и платьев, давно уже вышедших из употребления, так что они устраивают себе теплое гнездышко из этой никому не нужной ветоши. Некое подобие человеческого уюта...»

«Иными словами, вы превратили оперу в свалку и ночлежку! – воскликнул возмущенный Мушар. – Что ж, я готов согласиться с призраком, что следует навести порядок в этом вопросе».

«Надеюсь, вы не собираетесь выгнать старых больных людей на улицу?» – произнес Полиньи с вызовом.

«Параграф третий, значилось далее. Ложа номер пять первого яруса предоставляется в постоянное и исключительное пользование Призрака Оперы. Посещение ее запрещается всем, кроме мадам Жири, которой надлежит поддерживать в ложе порядок и чистоту во все дни недели, но ни в коем случае не в часы представлений».

«Кто эта мадам Жири?» – поинтересовался Мушар.

«Билетерша, – ответил Полины. – Ходят слухи, что у нее с призраком какие-то особые отношения».

«Она что, хорошенькая?» – оживился Ригар.

«Не сказал бы, – усмехнулся Полины, – она почтенная пожилая женщина».

«Почтенная женщина, которая состоит в особых отношениях с призраком! – с явным сарказмом воскликнул Мушар. – Не хотите ли вы сказать, господа, что этот незатейливый шантаж заставил вас, двух солидных и уважаемых людей, уйти в отставку? – И он с раздражением отбросил листок. – Я отказываюсь в это поверить!»

«По-моему, это просто глупая шутка», – поддержал его Ригар.

«А смерть Бюке, по-вашему, тоже шутка?» – возмутился Дебьен.

«Смерть Бюке это самоубийство психически неуравновешенного и, по всей вероятности, не слишком щепетильного человека, и более ничего! – заявил Мушар. – Можно предположить, что этот ваш “преданный своему делу труженик” растратил казенные средства, проигрался в карты или совершил еще что-нибудь в том же духе, а посему и предпочел уйти из жизни, спасая свое доброе имя и пенсион для семьи. Весь его рассказ о столкновении с призраком не более чем попытка сбить следствие с правильного пути!»

Папа умолкает, некоторое время, будто в раздумье, поглаживает подбородок, потом вытаскивает из кармана пиджака пачку «Казбека».

– Что же дальше? – не выдерживает кто-то.

– Я думаю, на сегодня хватит, – улыбается папа и приподымается с кресла. – Продолжим завтра.

– Ой, ну что вы! На самом интересном месте, – возмущается мама Ёлки Евсеевой. – Нельзя же так!

– Ну, пожалуйста, пожалуйста! Еще немножко! – упрашивают мамы и папы, в точности как девочки у нас в лагере.

– Это длинная история, – улыбается папа, потягиваясь и разминая затекшие ноги.

– Да, конечно, пора и честь знать, – говорит одна из мам. – Первый час ночи.

Ой, я теперь до утра не усну от страха. От всех этих призраков, – заявляет другая.

– Павел Александрович! Как же мы не знали, что вы такой великолепный рассказчик! – восхищается папа Славы Озерского. – Скрывали от нас такой талант!

Папа посмеивается.

– А что? Действительно талант! – подхватывает мама Ляли Светлой. – Вот что вы должны писать, а не всякие там, знаете, военные романы.

– Правда, правда, вы должны это записать! – советует папа Марины Ильвинской. – Обязательно! Не смейтесь, нельзя допустить, чтобы такая замечательная история пропала.

– Да, – поддерживает ее еще одна мама, – как это прекрасно звучит: весь цвет парижского общества! Поваяло чем-то таким изысканным, утонченным, дорогими нарядами, французскими духами, утопающими в огнях бульварами... Что значит очарование слова!

– Вы просто кудесник! – твердят со всех сторон. – Да, настоящий чародей.

Папа кивает им всем и продолжает посмеиваться. Наконец последние гости покидают холл, мы остаемся вдвоем. Папа глубоко вздыхает.

– Иди, маленький, ложись, я пойду покурю. – Распахивает наружную дверь, останавливается на пороге, смотрит в спину уходящим и говорит:

– Идиоты, полнейшие болваны и невежды! В жизни не прочли ни одной книги, кроме собственных сочинений. Не знают, что всё это давно написано и опубликовано.

– Нина Владимировна, в ближайшие дни можете забирать и мое масло тоже, – разрешает Сосновский. – И сыр, и вообще все, что вам приглянется.

– Что такое? Вы решили сбрасывать вес? – спрашивает мама.

– Нет, я уезжаю в Вильнюс.

– Боже мой, и вы тоже поддались этому мерзкому духу времени! Андрей Борисович, вы же интеллигентный человек, как вы можете? Прошу вас, хотя бы при мне не употребляйте этого варварского названия, я терпеть его не могу, меня аж всю передергивает! Вильно! Этот город испокон веков назывался Вильно!

– Да? Может быть, не знаю... – говорит Сосновский. – Это, я думаю, каждый этнос произносит по-своему. Поскольку на сегодняшний день это столица Литовской ССР, то следовательно... А, не важно!..

– Значит, вы едете в Вильно... Ах, как я вам завидую, – вздыхает мама.

– Да, на пару дней.

– В связи с работой?

– Нинусенька, – говорит папа, – позволь помешать вашей милой беседе – если ты не возражаешь, я хотел бы пойти поработать.

– Иди, боже мой, кто тебя держит? – Мама вскидывает брови и хмыкает. – Милой беседе!.. Иди, работай себе на здоровье.

– А вам, – папа улыбается Сосновскому, – позвольте пожелать приятного аппетита и удачной поездки. – И твердым шагом направляется к выходу.

– Так что же? Что за дела гонят вас в Вильно? – спрашивает мама. – Извините, что я интересуюсь, просто Вильно моя родина, не могу оставаться равнодушной, когда заходит речь об этом городе.

– Дела... Да, разумеется, есть и дела... – мямлит Сосновский. – Но больше, так сказать, дела сердечные. Разбитое сердце. Разбитое и растоптанное!

– Да что вы! – смеется мама. – Как интересно! Кто же эта чаровница, похитившая ваше сердце?

– Так... Одна дама, – бормочет Сосновский. – На самом деле, ничего интересного... Изволила объявить, что между нами всё кончено и я должен оставить ее в покое. Вот, на мое предложение повидаться прислала прощальное письмо.

– Хм... Интересно, – обижается мама за Сосновского, – за что же такой суровый приговор? Чем вы ей не угодили?

– В том-то и дело, что не имею ни малейшего представления. Поэтому и еду. Постараюсь добиться встречи и объясниться. Три года самой нежной любви, и вдруг нате здрасте – ни с того ни с сего расстаться! Я полагал, что мы полностью понимаем друг друга, дышим в унисон, поверьте, мы были единое существо – единая плоть и единая душа!..

– Подождите, подождите, – говорит мама, – значит, если я верно расслышала, ваша связь продолжается уже три года? Но в таком случае всё понятно! Что вы, ни одна женщина не удовольствуется такой сомнительной ролью – вечного ожидания. Тем более, если, как вы упомянули, она проживает в Вильно...

– Да, она проживает в Вильнюсе, а я проживаю в Москве, но это никогда нам не мешало. Настоящая любовь не может от этого пострадать! Три года светлого, безоблачного праздника...

– Дорогой Андрей Борисович, вы рассуждаете как поэт, а женщина не может довольствоваться такими эфемерными материями. Светлый безоблачный праздник хорош в стихах, а в жизни приходится искать чего-то более надежного. Мало-мальски устойчивого положения. А не одних только вздохов.

– Светлый безоблачный праздник любви – это не в стихах, это, если я не ошибаюсь, Иван Александрович Гончаров, – уточняет Сосновский.

– Возможно. Все мы в молодости увлекаемся этой чепухой – «Обыкновенная история» и прочее... Теперь, признаться, уже мало что помню. Жизнь, как говорится, повернулась совершенно в ином направлении...

– Это не из «Обыкновенной истории», это из «Обломова», – уточняет Андрей Борисович.

– Неважно, какая разница, – говорит мама, – те же самые ничемные рассуждения. Ваша дама, насколько я могу судить, рассчитывает, что вы сделаете ей наконец предложение.

– Что вы, Нина Владимировна! Она на это не рассчитывает и абсолютно в этом не заинтересована. Не тот случай, – крутит Сосновский головой. – Она с самого начала знала, что жениться я не собираюсь.

– Но почему же? – удивляется мама.

– Не намерен и не могу. Хотя бы потому, что не разведен с предыдущей женой.

– Вот как? Значит, вы уже были однажды женаты?

– Дважды. Но первая была поумнее и сразу же согласилась на развод, а эта идиотка всё надеется, что я к ней вернусь. Я никогда к ней не вернусь! Я бешено, понимаете, безумно, до чертиков влюблен в свою нынешнюю... Не знаю, как тут правильнее выразиться... Пассию, что ли... Я весь горю, получил вчера это проклятое письмо и всю ночь не спал! За три года нашей связи моя любовь только окрепла, я умру, если она бросит меня, покончу с собой!

– Да, жена, конечно, усложняет положение, – соглашается мама, – но если вы действительно так пылко влюблены, то обязаны найти какой-то выход. Никогда не следует отчаиваться. Извините меня, но по-моему, ее письмо свидетельствует только о том, что она

не намерена сохранять ваши отношения в их нынешнем виде. И это естественно – ни одна женщина не согласится три года пребывать в таком подвешенном состоянии. Я полагаю, вы должны каким-то образом добиться развода. Не знаю, может, предложить вашей бывшей супруге определенную сумму отступного...

– Да нет, Нина Владимировна, вы не понимаете – ей вовсе не требуется, чтобы я женился, она замужем и прекрасно устроена. Ее муж один из секретарей Союза писателей, о чем еще можно мечтать? Прекрасная партия. А нас связывает чистая бескорыстная любовь, без малейшей примеси отвратительных меркантильных соображений. Связывала до вчерашнего дня... – Он с глухим стоном откидывается на спинку стула и даже закрывает глаза. – Нина Владимировна, утешьте меня, скажите, что ее угроза не серьезна, умоляю, успокойте меня!

– Трудно угадать, – произносит мама задумчиво. – Тут могут быть различные обстоятельства. И потом, как вы это себе представляете? Не может же она вечно оставаться вашей любовницей!

– Почему, почему не может? – чуть не плачет Сосновский. – В этом вся прелесть отношений: в отсутствии каких-либо оков и обязательств!

– Да, но очевидно, это как-то отрицательно сказывается на ее семейной жизни.

– Каким образом? Почему? С какой стати?

– Ну знаете, приходится все-таки считаться не только с романтической любовью, но и с наличием мужа...

– Мне это наличие абсолютно не мешает, скорее наоборот. К мужьям, как вы знаете, не ревнуют. И потом, двое детей... Детям нужен отец.

– Как – двое детей? – ужасается мама. – Боже мой, какое легкомыслие! Да, это многое меняет... Ее дети вам, разумеется, совершенно ни к чему. Действительно, какая, к черту, женитьба... Но согласитесь, ведь и любовниками сложно оставаться, когда люди проживают в разных городах и видятся от случая к случаю...

– Никакой сложности, – возражает Сосновский, – видите ли, я вам открою – но только это между нами, – нежелательно было бы, чтобы дошло до мужа. Она жена того поэта, которого я перевожу. Знаменитый поэт, живой классик современной литовской литературы, член всяких комитетов, а я, так сказать, придворный переводчик. В связи с этим регулярно бываю в Вильнюсе – по крайней мере, раз в два месяца, и подолгу.

– Ах, Андрей Борисович, я ведь просила вас, – страдает мама, – не употребляйте при мне этого отвратительного слова, слышать его не желаю! Звучит как надругательство над самыми дорогими, безвозвратно утраченными образами... – Она тяжело вздыхает и вдруг замечает меня. – Что ты сидишь? Обрадовалась – сидит, уши развесила. Допивай сметану и отправляйся на пляж.

– В большом фойе, – рассказывает папа вечером, – собрался весь цвет парижского общества. Здесь были и министры, и финансисты, и журналисты, и модные литераторы и художники, и просто богатые бездельники, вроде братьев Шаньи, старший из которых, граф Филипп Жорж Мари де Шаньи, состоял в весьма близких

отношениях с мадам ля Сорелли, а младший, виконт Рауль де Шаньи, нынешним вечером успел без памяти влюбиться в очаровательную Кристину Доз. Сообщение о смерти бедняги Бюке уже успело облететь весь театр, но нельзя сказать, чтобы оно особенно заинтересовало или потрясло участников банкета. Однако в тот момент, когда все четыре директора наконец появились в фойе, и лица собравшихся обратились к ним, кто-то из гостей, воспользовавшись наступившим затишьем, произнес абсолютно отчетливо:

«Танцовщицы правы: смерть Бюке вовсе не такая естественная, как ее пытаются представить».

Женщины вздрогнули при этих словах, мужчины принялись озираясь, стараясь угадать, кому принадлежит странная реплика. Скорее всего, вот этому высокому господину в черном фраке, горделиво возвышающемуся в центре зала, возле стола, к которому направляются четыре директора. Лицо таинственного незнакомца скрыто под золотой маской.

«Так это убийство?» – воскликнула при всеобщем молчании мадам Сорелли.

«Да, – ответила маска спокойно. – Этим вечером его повесили в третьем подвале между декорациями из “Короля Лахора”».

Мушар первым очнулся от всеобщего замешательства и бросился к незнакомцу, но тут всё фойе зажуужало, как растревоженный улей, многие из присутствующих вскочили со своих мест, что немедленно привело к всеобщей сутолоке, так что когда Мушар пробился наконец в центр зала, незнакомец уже исчез – очевидно, скрылся за спинами возбужденных и растерянных гостей.

«Злая шутка продолжается», – произнес Ригар.

«Но, клянусь, я выясню, кто этот шутник!» – пообещал взбешенный Мушар.

На следующий день он приказал дежурному администратору вызвать к себе в кабинет мадам Жири, ту самую билетершу, которая, по слухам, состояла с призраком в особых отношениях.

«Как вас зовут?» – спросил Мушар достаточно грозно, когда женщина переступила порог.

«Мадам Жири. Вы должны меня знать, мсье, – ответила билетерша добродушно. – Я мать Мег Жири, малышки Мег, как ее называют».

Мушар бросил на старуху брезгливый взгляд – выцветшая шаль, облупившиеся туфли, потертое платье из зеленой тафты, давно вышедшая из моды шляпка.

«Не припоминаю, – буркнул он. – Я хотел бы послушать, что вам известно о Призраке Оперы».

«Да я сама собиралась поговорить с вами об этом, господин директор, – обрадовалась мадам Жири. – Чтобы не вышло у вас таких неприятностей, как случилось у мсье Дебьена и мсье Полиньи. Вначале они тоже упрямылись и не желали меня слушаться...»

«Я не спрашиваю вас про мсье Дебьена и мсье Полиньи! – прервал Мушар раздраженно. – Что вам известно о призраке?».

Мадам Жири покраснела – никто раньше не говорил с ней таким тоном – встряхнула перьями своей поблекшей шляпы и произнесла с достоинством:

«Не советую вам, господин директор, раздражать привидение».

Мушар задохнулся от гнева. Ригар счел необходимым вмешаться и сам стал расспрашивать билетершу о призраке. Оказалось, что мадам Жири считает совершенно естественным присутствие в Опере призрака. Не только она, но и многие другие слышали его голос в пятой ложе – красивый мужской голос.

«Видать – никто его не видал, но слышали многие, – твердила мадам Жири. – Один раз он даже сказал мне: “Не бойтесь, мадам Жири, это я, Призрак оперы”».

«Замечательно, – сказал Мушар. – Какие же услуги вы ему оказывали?».

«Всякие, – последовал ответ. – Один раз, например, он попросил, чтобы я принесла скамеечку для ног».

«Вот как! Значит, у призрака имеются ноги!»

«Не знаю, господин директор, – призналась мадам Жири. – Я думаю, скамеечка понадобилась его даме».

«Как – есть и дама!?» – воскликнул Ригар.

«Да, но ее я тоже никогда не видела, только слышала голос».

«Великолепно, мы имеем дело уже с двумя призраками!» – хмыкнул Мушар.

«Следует выяснить, не был ли наш призрак при жизни женат», – подхватил Ригар.

Мадам Жири не уловила в его словах иронии.

«Дама говорит только с ним, – заявила она торжественно, – ко мне она никогда не обращается».

Дежурный администратор заметно нервничал, но не смел произнести ни слова.

«Потом, когда мсье Полиньи всё понял, он уже никогда не пытался отобрать у призрака его ложу, – продолжала мадам Жири. – Месье Дебьен и мсье Полиньи даже отдали в отношении этого специальное распоряжение».

Дежурный администратор за спиной у мадам Жири выразительно покрутил пальцем у виска, давая понять, что билетерша не в своем уме и не стоит воспринимать ее слова всерьез. Это заставило Мушара принять решение немедленно уволить ненормальную старуху. Но она продолжала рассказывать:

«После спектакля он обычно дает мне сорок су, иногда даже сто».

«Хорошо, спасибо вам, славная женщина! – прервал ее Ригар. – Можете идти».

Мадам Жири сердито встряхнула перьями своей шляпы и удалилась, обиженная столь непочтительным обращением.

«Безотлагательно уволить эту мымру! – распорядился Мушар. – И выяснить, у кого из акустиков столь красивый и запоминающийся голос. Насколько я понял, все эти фокусы связаны с шумовыми эффектами».

«Красивых голосов в Опере очень много», – напомнил Ригар.

«Проверим всех, – успокоил его Мушар. – И позаботьтесь о том, – обратился он к помрачневшему администратору, – чтобы абонемент на пятую ложу был немедленно выставлен на продажу».

«Слушаюсь», – ответил администратор уныло.

– Мадам Жири была уволена, – сообщает папа со вздохом, – абонемент на ложу номер пять продали, но это, как вскоре выяснилось, не решило вопроса. В воскресенье в Опере давали “Разбойников”

Жака Оффенбаха. Когда обладатель абонеента на пятую ложу, один из самых крупных парижских финансистов, попытался занять свое место, некий непонятно откуда исходивший голос вкрадчиво посоветовал ему удалиться во избежание неприятностей. Банкир опешил, но, оглянувшись и никого не увидев, решил, что попросту ослышался. Очевидно, подумал он, это обрывок разговора из соседней ложи. Он почтительно усадил в кресло свою дорожную супругу и сам опустился в соседнее, но тут начала мяукать кошка. Изумленный финансист наклонился и, пытаясь обнаружить кошку, заглянул под кресла. И неожиданно получил увесистый удар по затылку. Он взглянул на жену, та тоже испуганно оглядывалась по сторонам и наконец вскочила с кресла, как будто внезапно испытала нечто чрезвычайно странное и неприятное.

«Что здесь происходит?» – взвизгнула дама.

В ответ прозвучал громкий издевательский смех.

Вызвали дежурного администратора, который предпочел не испытывать терпение призрака, а с тысячьо извинений попросил дорогих гостей перейти на свободные места в партере, поскольку все прочие ложи заняты. Оскорбленный банкир отверг это предложение и потребовал, чтобы его немедленно провели к директору.

Господин Мушар в это время читал новое послание Призрака, неизвестно кем и когда оставленное у него на столе.

«Я не желаю вам зла, – было написано тем же нервным размашистым почерком, – но не рекомендую и дальше поступать столь же недальновидно и опрометчиво. Вам надлежит немедленно восстановить мадам Жири в ее должности и выплатить ей компенсацию в размере ста франков за нанесенное оскорбление. Эта честнейшая женщина заслуживает всяческого уважения. Что касается ложи номер пять, то она должна постоянно оставаться свободной». Последние слова были подчеркнуты. «Следует также не мешкая приступить к исполнению ранее изложенных мной предписаний. Не вздумайте, месье, противиться моей воле! Это кончится для вас большим несчастьем. С искренним почтением, Призрак Оперы».

«Невиданная наглость! – воскликнул побледневший Мушар. – Сейчас же, вы поняли? – сейчас же вызвать ко мне лучшего в Париже частного детектива!»

Это распоряжение относилось, разумеется, не к стоявшему перед ним разгневанному банкиру, а к дежурному администратору.

«Слушаюсь вызвать лучшего в Париже детектива», – пробормотал несчастный администратор и выскользнул из кабинета.

Мсье Мушар заметил наконец финансиста, смутился и постарался успокоить пострадавшего. Вкратце описал досадную ситуацию, призывая войти в его положение.

«Я, разумеется, не собираюсь ни в чем обвинять прежних директоров, людей достойных и уважаемых, – сказал он, – но мы потрясены картиной того ужасающего беспорядка, который застали в Опере. То, что вы наблюдали сегодня в пятой ложе, это лишь один из примеров разнузданного произвола и хулиганства, чинимого неизвестными вымогателями. Некий распоясавшийся авантюрист, а может, и целая шайка жуликов, пытаются сыграть на суевериях, к сожалению, всё еще бытующих среди актеров и обслуживающего персонала. Но уверяю вас, мы с месье Ригаром не успокоимся,

пока не выведем этих негодяев на чистую воду и не отдадим под суд! Приношу свои глубочайшие извинения за причиненные вам неудобства, — закончил он свою речь, — и надеюсь, что Опера сумеет компенсировать вам неприятности сегодняшнего вечера».

Тем временем в кабинет вошел частный детектив, чуть ли не насильственно доставленный в Оперу напуганным администратором. Банкир, хотя и без особого восторга, все-таки согласился прослушать "Разбойников" из партера. Таким образом, скандал был отчасти замят. Оба директора изложили сыщику всё известные им факты и просили немедленно приступить к расследованию. Тот покряхтел, повздыхал, но в конце концов согласился.

«Берусь за это дело исключительно из любви к искусству!» — произнес он торжественно.

Знаменитый сыщик, разумеется, не мог предвидеть, что буквально на следующий день ему самому придется стать свидетелем кошмарного происшествия. В этот вечер — 20 мая — давали "Фауста". В зале была тысяча зрителей. И едва Маргарита пропела: "О тишина! О счастье! Непроницаемая тайна!..." — зал потряс страшный грохот. Большая люстра в зрительном зале — выполненная, как и всё здесь, с необычайной пышностью — рухнула на головы зрителям. Как выяснилось в дальнейшем, по какой-то непонятной причине противовес оборвал канат, который ее поддерживал. Шесть тонн искореженной бронзы и битого хрусталя накрыли кресла партера. По счастливой случайности погиб лишь один человек, но около ста были ранены. Трудно описать картину бедствия и смятения. Паника, давка, истеричные вопли и обмороки дам мешали отряду полицейских во главе с комиссаром полиции собирать свидетельства и вещественные доказательства,

Кто-то немедленно припомнил трагедию, разыгравшуюся на ступенях прежнего здания театра 13 февраля 1820 года. В один из воскресных дней герцог Беррийский, брат Людовика Восемнадцатого, отправился с женой послушать оперу и был убит: некий Лувель, поставивший своей целью уничтожить всех Бурбонов, заколол королевского брата шилом.

Разгневанный король приказал разрушить ни в чем не повинное здание. А ведь известно, что души насильственно лишенных жизни имеют обыкновение селиться на месте преступления и время от времени напоминать о себе живым. Теперь всё сделалось понятным: так как прежнее здание Оперы было по приказу короля разрушено, духу несчастного герцога не оставалось ничего иного, как перебраться в новое. И сделаться, так сказать, его законным постояльцем. Многие стали уверять, будто они тотчас заметили, что маска, явившаяся на банкете, как две капли воды похожа на портреты покойного герцога.

Только под утро, после всех этих кошмарных переживаний и расследований, господин Мушар оказался в своем кабинете. И тут он прочел в записке, лежавшей у него на столе:

«Искренне сожалею о случившемся, но надеюсь, что теперь вы наконец будете вести себя благоразумнее. Немедленно удалите из здания сыщиков и незамедлительно выполните все мои прежние требования. И не забудьте выплатить компенсацию мадам Жири. Призрак Оперы».

Мушар уронил голову на грудь и затрясся в припадке то ли истерического смеха, то ли рыданий...

Папа замолкает на минуту и смотрит куда-то поверх наших голов, будто читает на потолке продолжение рассказа. Мы все терпеливо ждем.

– Хм-м... Занимательно, конечно, – подает голос папа Милы Загоскиной. – Захватывающий сюжет, ничего не скажешь... Но знаете, Павел Александрович, сдается мне, надо это как-то иначе подавать... А то нескладно получается... Что ни говорите, нездоровая мистика: духи, привидения, призраки... Куда это годится – забивать головы нашей молодежи религиозным дурманом! Слушать, разумеется, интересно, но ведь...

– Ну, знаете!.. – возмущается мама Ляли Светлой. – Вы меня извините, вы просто неисправимый перестраховщик. Испортили всё удовольствие. Одно дело, если бы это было напечатано – тогда еще можно согласиться... А так, в своей компании...

– В своей компании тоже необходима бдительность, – хмыкает кто-то. – Афанасий Петрович верно подметил: мракобесие на службе империализма.

– Не говорите – буржуазный идеализм...

– Вот-вот! – подхватывает Афанасий Петрович. – Направление надо правильно выбирать. А тут, если разобраться, никакого даже намека на материалистическое мировоззрение.

– Но это же не всерьез... Так, развлечение, шутка. Почему бы и нет? – бормочут со всех сторон.

– Вы ошибаетесь, товарищи, – папа почесывает щеку, глубоко вздыхает, приглаживает волосы. – Уверяю вас, в конечном счете вся эта история разъяснится самым что ни на есть естественным образом. Реалистическим и материалистическим. Дослушайте до конца, и сможете убедиться в полном разоблачении всех суеверий и предрассудков: от призраков и привидений не останется и следа.

– Очень жаль, – усмехается мама Беллы Корабельской.

Мне тоже очень жаль. Очень-очень жаль, что не останется...

Мы строим на берегу крепость из песка – настоящую громадную крепость, с высокими стенами, башнями и подъемным мостом над глубоким рвом, наполненным морской водой. Подъемный мост сделан из спичечных коробков, которые до половины вдвинуты друг в друга. С одного края привязана веревка, чтобы мост можно было опускать и поднимать. Над каждой башней воткнут флажок – фантик от конфеты, нацепленный на спичку. Чтобы башни не рухнули, не осыпались и не растрескались, нужно остороженько-остороженько лить на них из ладоней воду вместе с песком. Вода постепенно впитывается и стекает вниз, а песок задерживается на вершине башни и застывает.

Две латышки подходят и смотрят на нашу крепость. Нет, оказывается, они смотрят не на крепость, а на меня.

– Девочка, это не разрешено быть тебе на пляже в таком виде, – говорит одна из них, с очень светлыми, коротко остриженными волосами. – Ты уже намного большая, чтобы так, как ты есть, в одних трусах, находиться на *крас*т.

Я тоже так думаю – что я уже слишком большая, чтобы находиться на пляже в одних трусах, да еще таких застиранных и выцветших,

и даже немножко дырявых, но мама считает иначе. У всех девочек есть новенькие ситцевые купальные костюмы, только у меня нет. Мама даже слышать не желает о том, чтобы купить мне купальный костюм.

– Вот еще, выдумки! – возмущается она. – В летнее время тело должно загорать. Мы не для того платили деньги за твою путевку, чтобы ты сидела на пляже в тулупе!

– Ты слышишь, что я говорю? – повторяет латышка очень строгим голосом. – Где твоя мама?

Я молчу, и все девочки тоже молчат.

– Немедленно отведи меня к твоей маме! – требует латышка. – А если нет, я в эту минуту иду за милиционером. Потому что есть предел. Это совсем наглость! В городе они ходят в пижамах, на пляже уже голые! Это есть дикость! У себя в Москве разве ты тоже голая?

Откуда она знает, что я живу в Москве?

Вокруг нас собирается народ, не только писатели, но и другие отдыхающие, и местные, и приезжие. Некоторые говорят по-латышски. Все смотрят на меня, но я стою, как будто ничего не слышу.

– Где ее мать? – спрашивает латышка.

– Иди, Светлана, иди отведи ее к маме, – советует Ёлкина мама, Евгения Азарьевна.

Я молчу и не двигаюсь с места. Вообще отворачиваюсь, присаживаюсь на корточки и принимаюсь поливать крепость водой с песком.

– Я тотчас иду за милиционером! – обещает латышка.

– Пойдемте со мной, – говорит Евгения Азарьевна, я покажу.

Впереди идет Ёлкина мама, за ней две латышки, за ними другие латыши, за ними отдыхающие из нашего дома творчества. Я тоже иду – позади всех.

– Что такое? Что случилось? – мама привстает на локте на своей подстилке и испуганно оглядывает всю процессию.

– Это ваша дочь? – спрашивает латышка.

– Что? Что она натворила? – вскидывается мама. – Боже мой, ни единой спокойной минуты! Мне сейчас сделается дурно...

– Ваша дочь не должна находиться на пляже в таком непристойном обнажении! – объявляет латышка. – Вы обязаны позаботиться о соответствующем костюме для нее.

– Каком костюме?... – не понимает мама. – Каком костюме? Это двенадцатилетний ребенок! Ребенок должен загорать на солнце.

– Ребенок – это когда три года или четыре, – объясняет латышка. – Такая девушка уже не может быть ребенком!

– Извините меня, но это совершенно не ваше дело следить за чужими детьми и определять их возраст! – возмущается мама. – Почему вы позволяете себе вмешиваться? Я мать, и имею право сама решать, как мне одевать своего ребенка!

– Мать вы можете быть у себя дома, – говорит латышка, – а здесь не ваш дом, не ваша мыза, здесь променада для публики, тут прогуливаются мужчины.

– Да, так что? – мама делается вся красная. – Что с того, что прогуливаются мужчины?

Папа подымается из-под сосны, где он читал газету, делает несколько шагов в нашу сторону, но потом останавливается.

– Здесь публичный променад, – повторяет латышка, – здесь не будет происходить публичный разврат!

Писатели вокруг хмыкают, кашляют, но молчат.

– Нет, вы подумайте! – Мама всплескивает руками. – О чем вы говорите? Где вы увидели разврат? Двенадцатилетний ребенок играет в песок!

– Если вы хотите воспитывать вашу дочь так, чтобы она образовалась проституткой, это делайте там, где вы живете, – рекомендует латышка. – В закрытых дверях, а не в таком месте, где еще имеются приличия. Здесь вы не можете устраивать скопление мужчин, которые специально останавливаются смотреть на вашу дочь!

– Как вы смеете? Как вы разговариваете?! – взвизгивает мама. – Кто вам позволил называть двенадцатилетнего ребенка проституткой? Это ребенок, и она будет ходить так, как положено ребенку! Оставьте меня в покое!

– Это не ребенок, это девушка с обнаженной грудью, – настаивает латышка. – И если вы думаете, что к вам вообще не может относиться никакой закон, то вы чрезвычайно ошибаетесь! Тут есть закон.

– Глядите, уже выучились по-русски говорить! – замечает вдруг писатель Кочетов.

– Да, а как спросишь, куда пройти – «Нье понимай!». Ничего «нье понимай», – подхватывает его жена.

Ветер раздувает ее длинные волосы и полы ее замечательного халата: пышный такой халат, огромные красные цветы по черному блестящему фону, мама говорит, настоящий шелк.

– Какой грудью? Нет вы подумайте – грудью! Распаленное воображение, – отбивается мама. – Сопливая двенадцатилетняя девочка. Синюшный цыпленок! Я не позволю вам указывать, как мне воспитывать моего ребенка!

Вперед выдвигается пожилой латыш со светлой бородкой и очень неторопливо начинает доказывать маме, что я уже совершенно никакой не ребенок, а такая достаточно развитая девушка, которой непристойно разгуливать по пляжу обнаженной.

– Это затрагивает общественные правила и прививает порочные склонности, – объясняет он.

Остальные латыши тоже пытаются втолковать маме что-то свое, смешивая русские и латышские слова.

– Она не обнаженная, она в трусах, – упирается мама, – и вообще, что за мерзкое ханжество!

Папа тяжело вздыхает и принимается натягивать брюки.

– Нинусенька, по-моему, пора прекратить этот бездоказательный спор и немедленно удалиться отсюда, – говорит он, подавая маме ее жовтоблаkitный халат – не из настоящего шелка, как у жены Кочетова, из сатина, но все-таки с атласным воротником и широкими синими отворотами на рукавах. – Не обязательно привлекать к себе всеобщее внимание весьма сомнительного свойства.

Мама выдергивает халат у него из рук и отшвыривает в сторону.

– С какой стати я должна куда-то удаляться! Я приехала сюда не для того, чтобы удаляться! И не указывай, пожалуйста, как мне поступать!

– Как тебе угодно, Нинусенька, – говорит папа. – В таком случае считаю своим долгом предупредить тебя, что я первой же

электричкой уезжаю в Ригу и покупаю там обратные билеты в Москву для себя и для Светланы.

– Что значит – ты уезжаешь в Ригу? Как это ты уезжаешь в Ригу? Ты что, не в своем уме?

– Уезжаю в Ригу. Поскольку не намерен дожидаться дальнейшего развития этого отвратительного скандала. – Папа кивает головой, поворачивается и принимается вышагивать вверх по дюне.

– Так что же, ты собираешься оставить меня здесь одну? – спрашивает мама, поднимая с песка жовтоблакитный халат и коновое одеяло, которое она называет теперь подстилкой. – Негодяй! Записной трус и негодяй! Дрожит как заяц при любом самом нелепом замечании. Вместо того, чтобы поддержать меня и оградить от этой сумасшедшей бабы, тут же принимает ее сторону да еще выдвигает подлые угоднические ультиматумы!

– Нинусенька, – говорит папа, – ради утверждения своего мелкого бессмысленного самодурства ты не останавливаешься даже перед тем, чтобы сделать меня героем безобразной истории.

– Ну, с этим ты и сам прекрасно справляешься, без малейших усилий с моей стороны! – фыркает мама.

– Ты уже многие годы, – говорит папа, – многие годы последовательно добиваешься, чтобы я сделался персоной нон-грата в любом порядочном обществе. С упорством, достойным лучшего применения.

– Единственно, чего я добиваюсь, это чтобы ребенок в летние месяцы загорал на солнце! Кстати, где эта дрянь? – мама оборачивается, видит, что я плетусь за ней следом, и успокаивается. – Нарочно тащится, как мертвая. Еле передвигает ноги, лишь бы окончательно вывести меня из терпения! Иди сюда, поганка! На, держи подстилку. Боже мой, ни секунды покоя, одни сплошные несчастья, так и сыплются, как из рога изобилия, причем с такой стороны, откуда совершенно не ожидаешь...

– Что такое? Что это? Почему ты босиком? Где твои туфли?! – вскрикивает мама. – Совсем сдурела? Мерзавка, где твои туфли, я спрашиваю! Что ты молчишь, отвечаю! Куда ты дела туфли?

Отвечать мне нечего, забыла на пляже. Из-за этого скандала, из-за того, что все смотрели на меня. Вернулась потом, искала-искала и не нашла.

– Нет, вы подумайте! – убивается мама. – Новехонькие, только что купленные туфли! Ей-богу, хочется лечь и сдохнуть, просто никаких сил уже не осталось... Представляете? На минуту отвернулась, и вот вам, извольте радоваться!.. Сто восемьдесят рублей псу под хвост! Во всем себе отказываешь, дрожишь над каждой копеечкой, боишься лишний кусок проглотить, а эта дрянь вышвыривает туфли за сто восемьдесят рублей! И ведь чувствовала, знала, как в воду глядела! Разве можно такой разине покупать хорошие вещи?..

– Сто восемьдесят рублей это еще ничего, – вздыхает Евгения Азарьевна, Ёлкина мама, – вон, у Кочетовых, слышали? – три тысячи унесли, плюс все ее драгоценности, костюм его новый, ее два платья хорошие и что-то там еще. В общем, полностью ограбили.

– Да что вы! – ужасается мама. – Как? Каким образом?

– Самым обыкновенным. Залезли в окно, воспользовались, что все на пляже, и обчистили. У них ведь одно окно на крышу сарая выходит. Проще простого влезть.

– Выбили стекло?

– Нет, зачем? И так было распахнуто.

– Боже мой! Но кто же оставляет открытые окна?

– Всё время оставляли.

– Какое-то младенческое легкомыслие! И, скажите на милость, зачем вообще держать при себе такую сумму? Ну, драгоценности это еще можно понять – хотелось покрасоваться... Но зачем же деньги?

– Кто их знает... – вздыхает Евгения Азарьевна. – Может, купить что-то хотели. От большого достатка...

– Да уж не от большого ума! Что ж, вы правы: три тысячи это, конечно, не сто восемьдесят рублей, – соглашается мама, – но в нашем положении... Вечно в долгах как в шелках... Всё мало-мальски стоящее постоянно в ломбарде. Поверьте, каждый раз, как подходит срок перезакладывать, верчусь как угорь на сковородке, не знаю, где перехватить. Теперь эти туфли! Где тонко, там и рвется...

Евгения Азарьевна молчит. Она не рассказывает маме про свое положение. Никто здесь не рассказывает про свое положение и свои долги, одна только мама вечно скулит и жалуется. Как будто мы самые бедные. Мы не самые бедные. Папина зарплата в десять раз больше, чем у Елизаветы Николаевны и у Леры Сергеевны. И он еще гонорары получает.

– Просто ума не приложу, что теперь делать, – вздыхает мама. – Разве что попробовать на рынке поискать какие-нибудь подержанные?.. Рублей за сорок-пятьдесят. Ничего лучшего такой поганке не полагается! Не сумела уберечь, пускай теперь носит с чужой ноги.

Мне никакие не нужны – ни новые, ни подержанные, мне и босиком хорошо. А в Москве у меня есть ботинки – те, которые она купила мне два года назад, когда они с папой вернулись из Бежицы. Тогда они были немножко велики, а теперь сделались как раз. Замечательные черные ботинки, очень крепкие и с крючками – не надо даже продергивать шнурки в дырочки.

Мы заходим в столовую, усаживаемся за свой стол и видим, что четвертой порции нет – только наши три. Вообще нет четвертого прибора.

– Вы подумайте, – возмущается мама, – решили, если человек не приходит, так можно воспользоваться! Почему, с какой стати? Он позволил мне забирать. И масло, и сыр, и пирожки иногда бывают...

– В чем дело? – допрашивает она официантку. – Почему вы перестали ставить на наш стол порцию Андрея Борисовича?

– Он отменил свою путевку, – объявляет официантка.

– То есть как – отменил? Почему?

– Не знаю. Нам не докладывают. Верно, решил не возвращаться.

– Не возвращаться? – удивляется мама. – Хм-м... Он что же, намерен остаться в Вильно?

– Не знаю, это нас не касается. – Официантка убегает, спешит к другим столам.

– Нужно будет спросить у заведующего, – размышляет мама, – или у завхоза.

Мы приходим на пляж, на свое обычное место, и видим прицепленную к сосновой лапе записку – по-русски, крупными печатными буквами: «Когда кто забил здез туфли, может обратица на номер 26 по улице...»

– Боже мой, вы подумайте! – говорит мама. – Нет, я просто глаз своим не верю. Находятся еще люди, которые готовы вернуть новехонькие кожаные туфли. Надо же! Да в Москве бы унесли и глазом не моргнули.

– Нинусенька, порядочные люди имеются везде, в том числе и в Москве, – не соглашается папа.

– Да, конечно, порядочные люди имеются, – бурчит мама, – туфель не имеется.

У Кочетовых тоже всё нашлось.

– Очень просто всё объяснилось, – рассказывает Евгения Азарьевна. – Оскандалилась наша Кочетиха. Оказывается, это их собственный сынок. Залез, как обычно, через окно – повадился лазить через окно, она дверь запирает, так он через окно. А как услышал, что мать по лестнице подымается, испугался и выскочил. А она заметила: тень какая-то метнулась, и сразу в панику – грабитель!

– Да, не говорите – у страха глаза велики, – вздыхает мама. – Но почему же он не признался?

– Побоялся. Мальчишка, что вы от него хотите? Она ему уже сколько раз говорила, чтобы не смел этого делать, а он всё продолжал.

– И как же узнали, что это он?

– Ну как? Милиция сразу заподозрила, что тут что-то не сходится. Припугнули немного, и рассказал. Дурачок...

– Да, но вы говорили про три тысячи, драгоценности, вещи... – вспоминает мама.

– Всё нашлось.

– Как же так, каким образом?

– На том самом месте, где и лежало. Говорят, правда, что оказалось не три тысячи, а всего двести рублей, но она потом вспомнила, что они накануне ездили в Ригу и потратили там восемьсот.

– Двести да восемьсот, это, Евгения Азарьевна, милая, тысяча, а не три, – подсчитывает мама.

– Не знаю. Не могу вам сказать.

– А драгоценности?

– А драгоценности сама завязала в чулок и переложила в другое место – понадежнее, чтобы не украли. А следовательно, представьте, такой дотошный попался, взял и как назло обнаружил. Они вообще, латыши эти, ужасно усердные. Она-то надеялась, что не посмеют рыться в ее барахле, а они не приняли во внимание, что восходящее литературное светило, перетряхнули как следует вещички и тут же нашли. Такие вот справные служаки.

– Это у них, видно, от немцев, – догадывается мама. – Одна порода: порядок есть порядок. Никакого тебе лицеприятия. Значит, вы считаете, что это вовсе не случайность? Действительно, про деньги еще можно забыть сгоряча, но вещи, драгоценности... Про драгоценности, я полагаю, так просто не забывают...

- Понимайте как знаете, – говорит Евгения Азарьевна.
- Очень, очень странно... Костюм, платья...
- Костюм и платья, как выяснилось, остались в Ленинграде.
- В Ленинграде?
- Да, в Ленинграде. Хотела взять, уже приготовила, но в последнюю минуту забыла.
- И это забыла? Просто, я вам скажу, какой-то старческий склероз. Хм-м...
- Что вам ответить? Ясное дело, облапошилась. По высшему разряду. А может, кто ее знает? Может, и вправду забыла? В конце концов, всякое бывает – растерялась, переволновалась...
- Да что вы, Евгения Азарьевна, милая, вы это серьезно? Нет уж, именно, что не растерялась, а надеялась выудить из Литфонда пособие. Вспомоществование – как пострадавшая. Думала, что никто ни о чем... – Мама замолкает на полуслове, потому что по аллею проносится сама Кочетиха – черно-красный халат, застегнутый на животе на одну пуговицу, полощется за спиной.
- Ишь ты, ишь ты! – говорит Евгения Азарьевна. – На больших скоростях... Будто собаки за ней гонятся. Обратите внимание: в нашу сторону даже не глянула.
- Ну, хорошо, она, допустим, дуреха, – размышляет мама, – но он-то где же был? Тоже, я вам скажу, гусь лапчатый... Не мог же он оставаться в неведении... Наверно, тоже давал показания...
- Он на сегодняшний день в большом фаворе, – сообщает Евгения Азарьевна.
- Тем более, – говорит мама. – Вы меня извините, но такой афронт... Позор на весь свет.
- Ничего, стыд не дым, глаза не ест, и не такое случается. А весь свет, если хотите знать мое мнение, ничего и не узнает. Никакого хода этому делу не дадут. Замнут, и все. Другого за такие проделки могли бы и из Союза исключить, а его не тронут.
- Да, вы правы, – соглашается мама, – вряд ли станут раздувать. Рука руку моет. У меня, между прочим, соседка подобная имеется, Наина Ивановна. Побежала однажды в милицию и заявила, что с нее на улице сняли пальто. А сама это пальто не то продала, не то припрятала. Но о ней даже говорить смешно – законченная авантюристка, всё что угодно придумает: и кражу, и насилие, и ограбление.
- Тоже пишет романы?
- Нет, что вы, у нее совсем иной род занятий...

Папа купил мне купальник! Настоящий купальник, такой же, как у всех девочек – маленькие синие цветочки по бледно-зеленому полю.

– Девочки, подождите, не убегайте, – говорит мама Беллы Корабельской, – вы такие прекрасные в этих купальниках! Давайте я вас сфотографирую!

Вытаскивает из своей огромной пушистой сумки фотоаппарат и фотографирует нас на фоне моря. Мы троим стоим: я, Белла и Таня Зеленская, а Беллина сестренка Леночка лежит у наших ног, смеется и корчит рожицы.

Беллина мама очень красивая, молодая и красивая. Немножко не выговаривает букву «р», но это совсем ее не портит, мне даже

нравится, как она говорит: «Вы такие п'екасные в этих купальниках», я даже чуть-чуть завидую Белле и Леночке – вот бы у меня была такая молодая и красивая мама... И такая добрая. Белла говорит, что она очень добрая.

Вместо поэта-переводчика Сосновского за нашим столом теперь сидит Миша, веселый парень с черными вьющимися волосами. Мама уже выяснила, что он не писатель и даже не сын писателя, он член Литфонда. Сочиняет куплеты, скетчи и репризы для эстрады.

– Что вы говорите! Как интересно, – восхищается мама. – Но что же это получается? Вы сочиняете, а исполняют конферансье. Тексты ваши, а вся слава достается кому-то другому.

– Пускай достается, нам не жалко! – смеется Миша.

– Нет, знаете, все-таки как-то обидно. Я думала, они сами сочиняют.

– Ну, где им!..

– Почему же? Вертинский ведь сам пишет свои песни.

– Вертинский не куплетист, – уточняет Миша.

– Да, вы правы, – соглашается мама. – Но прошу вас, прочтите что-нибудь. Просто, чтобы иметь представление.

– Пожалуйста, сколько угодно, – говорит Миша, – вот, например... Из программы Крапивникова, слышали про такого?

– Нет, как-то не пришлось, – признается мама.

– Ничего не потеряли. Известный эстрадник. Почти вся его нынешняя программа – плод моего дерзновенного вдохновения. «Заправилы Уолл-Стрита, ваша карта будет бита! Вы окажетесь, бандиты, у разбитого корыта!». Или вот это: «Мистер Смит крепко спит, и не знает мистер Смит, что под ним земля горит. Берегитесь, мистер Смит...», и так далее. Всякое имеется. Много о себе не воображаю – догадываюсь, что не Пушкин и даже не Курочкин. Но при этом, смею заметить, живу смирно, никого не обижаю, а себя, как могу, поддерживаю. А слава – что? Слава – дым!

– Да, конечно, – соглашается мама, – в наше время интеллигентному человеку не так-то просто устроиться, приходится всячески изворачиваться.

– Ваша правда, изворачиваемся. «Заяц, хоть и без хвоста, но мораль его проста: без смекалки и сноровки не добудешь, брат, морковки».

– Замечательно! – одобряет мама. – Но скажите, как вам это удается – так ловко придумывать?

– Ну, это, в общем-то, просто: берем основной тезис, так сказать, базисную строку – «Заправилы Уолл-Стрита» – и нанизываем на нее подходящую рифму: шито-крыто, аппетита, козни Иосипа Броз Тито, прозный голос замполита, – всего понемножку, всякой твари по паре...

– Нет, вы знаете, – замечает мама, – замполит тут как-то не к месту. Так мне кажется...

– Не к месту, вы правы, – соглашается Миша. – Замполита прибережем для другого случая.

– Но в целом... – размышляет мама, – действительно, воздаете каждому по заслугам, и никому не во вред.

– Стараемся, чтобы никому не во вред, – подтверждает Миша.

– Но как вам вообще пришло в голову заняться таким делом?

– Склонен от рождения. С детства рифмачествовал. «Жил на свете котик Мурзик, ел мышей, страдал от блох. А потом наш котик Мурзик заболел и сдох. Почему он заболел? Отчего бедняжка сдох? Слишком много мышек съел, потому и заболел, оттого и сдох...» Жалко Мурзика, верно? – спрашивает он вдруг у меня и весело подмигивает.

Я молчу.

– «Решивши посетить балет, – читает Миша торжественно, – надень штиблеты и жилет и захвати с собой лорнет – да не забудь купить билет». Что делать – у других в голове мысли, а у меня рифмы. «Зайдя в буфет, возьми салату и котлет». Пока вы тут кушаете, могу запросто закрутить поэму. «К брегам медлительной реки, что томно вьется средь полей, исполнен страсти и тоски, спешит мой милый Пантелей. Над ним созвездье Водолей рассыплет горсть своих огней...» Автоматически получается, без малейшего участия с моей стороны.

– Действительно, талант, – соглашается мама. – И что, прилично за это платят?

– Ну, в общем, ничего – не жалуюсь...

– Я почему спрашиваю, – говорит мама, – с такими способностями вы вполне могли бы заняться и переводами. Тут до вас на этом самом месте сидел поэт-переводчик, Андрей Борисович Соновский. Вы, верно, слышали.

– Нет, не слышал, но предпочитаю эстрадные куплеты. Конкуренция меньше, – объясняет Миша и приглашает нас прийти вечером послушать, как он будет петь под гитару.

– Как, вы еще и поете? – изумляется мама.

– Немножко. Для души, – поясняет Миша.

Миша будет петь у Голосовкер-Эверестовых, он их друг. Голосовкеры-Эверестовы живут в совсем маленьком одноэтажном домике на самом краю дома творчества и ни с кем не общаются. Даже на пляже всегда располагаются в сторонке и ни с кем не разговаривают. Но зато про них все говорят. Говорят, что Голосовкер сначала был женат на нынешней жене Эверестова, а Эверестов на нынешней жене Голосовкера. А потом жена Эверестова ушла к Голосовкеру, а жена Голосовкера ушла к Эверестову.

– Поменялись, – ехидничает Евгения Азарьевна.

Но на самом деле никто ни от кого не ушел и, главное, никто ни с кем не поссорился, а наоборот, все они еще больше сдружились и так обменяли свои квартиры, чтобы жить на одной лестничной площадке.

– Из-за детей, – поясняет Евгения Азарьевна. – Чтобы дети могли бегать из одной квартиры в другую и видеться с родителями.

Всего у Голосовкер-Эверестовых четверо детей – старший ребенок у каждой из жен от первого мужа, а младший от второго.

– Прямо как у Чернышевского, – говорит Евгения Азарьевна.

– Разве там были дети? – удивляется мама. – Я что-то такого не припомню. По-моему, не было. Мне кажется, это даже разрушило бы всю идею романа.

– Нет, нет, вы ошибаетесь: где-то вскользь упоминается чей-то сын – не то Веры Павловны, не то этой второй – как ее звали?.

Неважно. Это ведь не роман, а учебник жизни – модель построения идеального общества, а какое же общество без детей?

– Идеальное как раз и должно быть без детей, – бурчит мама.

На Кавказе есть гора, – поет Миша, –
Очень большая!
А под ней течет Кура,
Мутная такая.
Если с этой горы вниз
Головой бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнью распрощаться!..

Слушатели смеются.

На Кавказе есть гора,
Очень крутая,
Вкруг горы бежит тропа,
Узкая такая.
По тропе ползет чувак, –
На спине висит рюкзак,
В рюкзаке – перина.
А с горы спешит ишак –
Не по делу – просто так,
Глупая скотина!

Разминуться тут никак,
Оба вместе в пропасть – шмяк! –
Жуткая картина.
Не исправить эпизод,
Время вспять не повернет,
Но учтите наперед:
Умный – в гору не пойдет,
Умный – гору обойдет!

Все хохочут и хлопают.

– Действительно, – говорит мама, – осторожность никогда еще никому не помешала.

В комнату протискиваются опоздавшие, свободных стульев уже нет, кто-то устраивается прямо на полу, кто-то остается стоять у стены.

– И еще – тоже трагическое, – объявляет Миша.

По Миссисипи
 плывет пирога,
Ей плыть осталось
 совсем немного,
Покой обманчив
 на Миссисипи,
За поворотом,
в предгорьях Иппи,
Бушуют бурные свирепые пороги,
Там терпят бедствие беспечные пироги,
И аллигаторов большая стая,
Там чутко дремлет, их поджидая...

– На ту же тему:

В низовьях могучей реки Миссисипи
Раскинулись заросли ценного иппи,
Который иначе зовется лапачо, иль пау де арко.
Ну что же, что пау де арко?
Поверьте, не холодно мне и не жарко
От этих лапачо и пау де арко
В низовьях реки Миссисипи...

– Что-нибудь повеселее, правда? – спрашивает он, как будто советуется с нами. – Есть повеселее!

Ковбой отважный,
томимый жаждой
Неслыханных опасных приключений,
скакал однажды
Нехоженым-неезженным путем
От гор Скалистых до Аппалачей,
И мы желаем
ему удачи,
В осуществлении сей дерзостной задачи.
Но, впрочем, речь пойдет тут о другом!

Все вокруг смеются. Беллина мама не смеется, но как-то особенно улыбается – вскидывает иногда глаза на Мишу и улыбается. Как будто знает про него что-то такое замечательное.

Любовный пыл молодой испанки, – поет Миша, –
На дон Алонзо обращен.
Стройна, как пальма Коста-Бланки,
Быстра, как лань, смугла, как бронза,
Мила, как древние вакханки,
Он очарован и польщен...

– Bravo, Мишенька! – хвалит Эверестов. – Молодец.
– Следующая называется «Жили у бабуся два веселых гуся».

В далеком Андалусе,
На западе Техаса,
Стояло одинокое ранчо,
Жила на нем бабуся,
Крива и одноглаза,
Гусей своих кормила саранчой!

– Вы подумайте: совершенно неожиданный переход! – удивляется мама.

– Это так – наброски, – скромничает Миша.

В Гишпании далекой, в долине Арагона,
Давно, во время оно, жил рыцарь симпатишный,
Навеки посвятивший себя Прекрасной даме.
Без крова, и без пищи, и без гроша в кармане,
Скитался он по свету в потрепанной пижаме...
Признайтесь – между нами:
Пристало ли гишпанцу разгуливать в пижаме?

Миша морщится и неодобрительно покачивает головой.

– Пристало, пристало! – раздаются сразу несколько веселых голосов.

– А пусть лучше будет в панаме, – предлагает папа Миры Долгопольской.

– Ну что вы – какие же в Испании панамы? – возражает Голосовкер. – Это вам не пионерский лагерь. В Испании должны быть сомбреро.

В Гишпании далекой, в долине Арагона, – начинает Миша сначала, –

Давно, во время оно, жил рыцарь из Вероны.

Он в честь царя Дадона для пущего фасона

Любил покрасоваться в фельдмаршальских погонах!

Все смеются. Миша пожимает плечами.

Старинный дедовский доспех

Хранил для рыцарских утех,

Имел кольчугу, щит и поножены,

Но как на грех, он был из рыцарей из тех,

Кому милей турниров всех

Фуфайка и кальсоны.

Гитару пятиструнную охотно в руки брал

И с пылким чувством исполнял

Романсы и чаконы.

И должен вам заметить: хотя он был не трус,

Но почитал за благо обуздывать отвагу,

Преодолев решительно

Воинственный искуc –

Не обнажая шпагу,

Пил херес и малагу, приятные на вкус.

В Гишпанию прекрасную до чертиков влюблен,

На ослике Базилии шутя объехал он

Галисию, Астурию, Кантабрию, Кастилию и доблестный Леон!

И дни его беспечные, блаженно быстротечные

Текли, как лиги встречные,

Как стансы бесконечные,

Как сладкий, упоительный и безмятежный сон...

– Не устали? – спрашивает Миша.

– Нет, нет, что вы! – вздыхают со всех сторон. – Восхитительно...

– Тогда продолжим.

На берегу Меконга в тропической Кампучии,

Где много всякой дряни и змеи есть ползучие,

Звучат удары гонга и пахнет славной дракой

Меж кошкой дяди Вани и уличной собакой.

– «Дядя Ваня» – это, если не ошибаюсь, пьеса Чехова, – бормочет мама, – не понимаю, при чем тут Кампучия...

– Это так, для рифмы, – объясняет Евгения Азарьевна.

– Вы думаете? – сомневается мама.

В Кампучии брожение, в Кампучии раздор, – поет Миша, –

Татити и матити решают давний спор

Кому из них пасити овец на склонах гор.

Кампучия, Кампучия,
Кипучая, могучая,
Бодучая, гремучая,
Никем непобедимая, –
Страна моя, земля моя,
Ты самая, ты самая
Родная и любимая!

– Ну, уж в самом деле – самая!.. Скажете тоже... – ворчит кто-то сзади.

– Плагиатор ты, Мишка! – качает головой Голосовкер. – Дуралей и плагиатор.

– Как – и то и другое: и плагиатор, и дуралей? – удивляется Миша. – Ну что ж: жуликоват да пьян – вполне простительный изъян! – И ударяет по струнам:

Дуралей, дуралей,
Не гоняй голубей!
Не считай, дружок, ворон,
Не вводи меня в урон!

– Спой лучше про Борнео, – советует Эверестов.

– Пожалуйста, можно и про Борнео, – соглашается Миша.

На острове Борнео разбитые дороги,
На острове Борнео пороги Пелагус,
А есть ли там остроги и девы-недотроги
Судить об этом, право, не берусь!..

– Экий выдумщик! Мастер! – радуются слушатели.

– Вот лучше бы по радио передавали что-нибудь в этом роде, – замечает мама, – а не бесконечный хор Пятницкого, от которого уже уши лопаются. Не выношу этого проклятого воя!

– Хор Пятницкого – это, Нина Владимировна, душа народная, – хмурится мама Наташи Лесной, – сокровищница творческих озарений безымянного гения.

– Да, можно подумать – гения... – фыркает мама. – Что ж: каков корм, таков и конь. Извините меня, но только на пьяную голову можно распевать подобную гадость.

– Не переживайте, Нина Владимировна, с некоторыми временными недостатками в ближайшем будущем будет покончено, – обещает папа Славы Озерского. – И вообще, радио при желании можно выключить.

– Да, и пропустить что-нибудь важное, – бурчит мама.

Известно, что не сходятся два плюса, – поет Миша, –
Зато на минус минус выйдет плюс,
И я таких накладочек нисколько не боюсь!

– Я вижу, Мишенька, ты заметно продвинулся с нашей прошлой встречи. Смотри только, как бы не началось головокружение от успехов, – предупреждает Эверестов.

Он стоит сбоку, опершись плечом о стену, и возвышается надо всеми.

А вот вам и пригорочек, – поет Миша, –
А вот вам и гора,

А вот вам и отнорочек,
А вот вам и нора!
А вот я в норку спрятался,
И носа не видать,
Попробуйте, попробуйте,
Теперь меня достать!

Все смеются, Миша и сам смеется.

– Ну что – хватит, наверно?

– Нет, нет! – пугаются слушатели.

– Ладно, тогда отечественное. Героическое. Былина про Змея Горыныча, про киевского князя Владимира Красное солнышко, про прекрасную его племянницу Забаву Путятишну и про славного воина Добрыню Никитича!

– Только этого не хватало! – бурчит мама.

Я понимаю: она и так терпеть не может русское народное творчество, а тут еще и героическое. Героизм она и вовсе считает ужасной глупостью.

Смирной жизнью наскуча, – поет Миша, –
Из-за леса, из-за кручи
Над Пучай-рекой могучей,
Змей Горыныч, гад ползучий,
Возникает... Злющий паче –
с перепоя, не иначе.

Миша умолкает на минутку, слушатели смеются. Мама хмурится и поджимает губы.

Молодецких душ губитель,
И княжон большой любитель,
Края мирного гроза,
Змей взмывает в небеса,
Волочет свой хвост гремучий,
Извергает смрада тучи,
Рвется пламя из ноздрей,
Яд сочится из когтей.
Рыщет в поисках добычи –
Уж таков его обычай.

Злостью черною снедаем,
Прочих пакостей опричь,
Подготовить трус за гаем
Замышляет старый хрыч.

Вдруг глазам его предстала
Красна девица Забава.
Дюже девка хороша –
До земли у ней коса,
Руки белы, щеки алы,
Грудь точно две пиалы,
Как сметана телеса,
Да к тому же под косой
блещет месяц золотой.

В гай зеленый погуляти,
Грибов-ягод насбирати

По утру спешит Забава.
С ней прислужников орава,
Няньки слева, мамки справа
И подружек целый рой.
Караульщик удалой
Замыкает этот строй.

Мама протяжно вздыхает.

Змей на слуг не поглядел,
Словно буря налетел,
Хватя княжну за волоса
И умчался в небеса.
Что тут было, что тут стало!
Свита вся на землю пала,
Мамка в голос зарыдала,
А за ней и весь народ,
Этот воет, тот ревет,
На себе одежды рвет.
– Киевляне, горе нам!
Изверг ходит по пятам!
Кто злодею хвост прижмет?
Кто чудовище прибьет?
Кто Забаву нам вернет?

Мама всё больше мрачнеет – елозит на стуле, хмыкает и фыркает. Не нравится ей эта песня.

В прошлом году Надежда Никоновна, учительница русского языка, велела нам подготовиться к сочинению на тему «Илья Муромец – главный герой русских былин» и разрешила выписать дома на отдельный листок необходимые цитаты. Мама увидела, что я выписываю, и сразу разозлилась. Понятное дело, у них в Фундуклеевской гимназии про Илью Муромца не проходили, там учили только про Древнюю Грецию и Древний Рим, про Елену Прекрасную и Аполлона.

Я выписала шесть цитат и спрятала листок в портфель, а когда пришла в школу, не нашла его. Перетряхнула весь портфель и не нашла. Я догадалась, что это мамины проделки, и почувствовала, что не смогу теперь вообще ничего написать. Надежда Никоновна увидела, что я не пишу, и сказала: «Что с тобой? Почему ты не пишешь?» Я, конечно, не стала сообщать ей, что мама нарочно вытащила мой листок, сказала, что забыла цитаты дома. «Ничего страшного, пиши так», – сказала Надежда Никоновна. И я стала писать и всё написала. Оказалось, что я и без листа помнила эти цитаты. Не сделала ни одной ошибки и получила пятерку. Мама увидела пятерку и была ужасно недовольна. Сказала: «За такие сочинения надо сажать на кол, а не ставить пятерки!» – и бросила тетрадку, так что она проехала по клеенке и шмякнулась на пол.

Красно солнышко Владимир, – поет Миша, –
Всей Руси великий князь,
От охоты воротясь,
Узнает тоски причину.
Кличет он свою дружину:

Кто племянницу мою
Отобьет в честном бою,
Подарю тому Углич
И поставлю магарыч!

– Нет, вы подумайте! – бурчит мама. – Еще и тут слушать эту чушь. Ненавижу все эти сказы и былины!

– Это не былина, это пародия, – уточняет Евгения Азарьевна.

– Один черт. Те же Добрыни и Муромцы.

Сзади шикают на нее.

Право слово,
Хоть змея семиголова, – поет Миша, –
Только с каждой головой
Больше боли головной!

– Что верно, то верно, – соглашается мама.

Я чувствую, что она зря старается – Мише совершенно не интересно, что она говорит. Все, что он поет – и про испанцев, и про Миссисипи, и про Змея Горыныча – он поет для Беллиной мамы, хотя как будто и не смотрит на нее. Зато она не сводит с него глаз – смотрит и улыбается – нежно так и загадочно.

Эх, была да не была –
Оборву ему крыла!.. – обещает Добрыня Никитыч.

Моя мама вообще никогда не улыбается – не считает нужным. Не могу припомнить такого случая, чтобы она хоть кому-нибудь улыбнулась. Ей это не требуется, она уверена, что все и так относятся к ней с глубочайшим почтением и вниманием. А папа постоянно всем улыбается, хочет показать, какой он воспитанный и любезный. Не знаю, может, в молодости мама тоже иногда улыбалась, но потом перестала. Наверно, с тех пор, как я родилась, ей окончательно расхотелось улыбаться.

Так погиб в волне кипучей
На Пучай-реке могучей
Змей-Горыныч невезучий.
Вот такой несчастный случай!

Миша ударяет по струнам и опускает гитару. Все смеются. Радуются, что всё кончилось так замечательно, и Змей Горыныч, несмотря на свои семь голов, оказался глупым и невезучим.

– И еще народное, выстраданное веками подневольного труда, – объявляет Миша торжественно.

Шумел камыш, деревья гнулись
Гуляли в стылом небе облака,
А ночь эта темная, крошечная была.
Две бабы дрались возле кабака.
Гудел народ у царского дворца,
Внимал речам ледащего дьячка
И замышлял себе негодие, крамольные дела.
Малец у мамы кланчил леденца.
У красного высокого кремлевского крыльца
Бояре-думцы дулись в дурака
И размышляли в смысле бы пивка.

Текла неведомо откуда и куда
Сквозь все набег, смуты и века
Великая, могучая, безбрежная река.

Ну что ж, я тоже уважаю
Березки, баню, студень и камыш...
Красиво жить и мне не запретишь!

Слушатели почему-то помалкивают. Все становятся серьезными и даже грустными, никто не смеется и не хлопает. Папа Славы Озерского потихоньку постукивает ботинком по ножке стула, Евгения Азарьевна шумно вздыхает.

– Ай, Мишка, Мишка!.. – качает головой Голосовкер. – Капельку поскромнее надо быть, поделикатнее. Нет еще в тебе подлинного почтения к народным традициям...

– Понимаем: в наши лета слагать не надобно куплета, – кивает Миша. – Ничего, всё в жизни перемелется, всё будет лишь мука. Серенады!

У тебя такие ножки,
У тебя – не у меня,
Если б мне такие ножки,
То не надо и коня!

Кудри его то взлетают, то падают на глаза, он всё сильнее ударяет по струнам:

У тебя такие глазки,
У тебя – не у меня,
Если б мне такие глазки,
То не надо и огня!

Эх-ма! – Вот такая кутерьма...
Вот такая ерунда:
В ступе плещется вода!
Я и сам бы был не прочь
Воду в ступе истолочь!

– Бр-р-р!.. – отфыркивается он. – А это с болгарского:

Пусть у красоти
Зубки, как четки,
Стройная шея
Снега белее,
Кудри нежнее
Легкого пуха,
Но я поеду
В гости к соседу
Только с моей старухой!

Пусть у дивчины
Щечки – рубины,
Зубки – опалы,
Губки – кораллы,
Взгляды – кинжалы,
Но мне не надо
Нового ада,
Новой жены не надо!

Слушатели смеются.

– Великолепно! Совершенно неожиданный подарок: вечер сатиры и юмора, – радуется папа Вадика Смоленского.

Миша прижимает руки к груди – благодарит – и поет медленно и протяжно:

... Смех друзей, стон врагов,
Прелесть этих тихих майских берегов... – замолкает на минутку и вдруг продолжает быстро-быстро:
Да печки-лавочки,
Красотки – саночки,
Качели – салочки,
В пруду русалочки! – и опять медленно: –
Ой-й-й!.. – вкус московских пирогов!..

– Все! Конец первому отделению, – он откладывает гитару в сторону и трясет головой – наверное, чтобы все видели, как он устал. – Во втором будут лырыческие песни.

Нарочно так говорит: «лырыческие».

Все высыпают наружу – подышать свежим воздухом, но мамы скоро возвращаются, потому что по вечерам в этом воздухе слишком много комаров, и никак невозможно от них отбиться. А папы остаются покурить и уверяют, что комары боятся дыма.

Мы снова рассаживаемся, кто на стульях, кто прямо на полу, Миша берет гитару и поет таким голосом, как по радио:

Любовью дышит эта ночь вокруг.
Но в этом сердце отклика не встретит
Любви призыв...

– Ах, – вздыхают мамы.

Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь;
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь...

Миша поет с закрытыми глазами, потом вдруг вскидывает голову, одну секундочку смотрит на Беллину маму и снова опускает веки.

Я здесь пою так тихо и смиренно
Лишь для того, чтоб услышала ты,
И песнь моя есть фимиам священный
Пред алтарем богини красоты.

– Вот ведь прохиндей! – усмехается Голосовкер. – Дамский угодник.

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт.
Колокольчик то заплачет,
То так нежно зазвенит...

– Вы подумайте – и голос прекрасный, – говорит мама.

Пусть льется песня, песня роковая,
Пусть льются звуки горя и страстей...

Наконец он откладывает гитару и встает.

– Благодарю вас, благодарю!

Слушатели из всех сил хлопают и кричат:

– Бис! Еще, бис, бис!

Миша смеется и хватается за горло.

– Все! Не могу... Смилуйтесь и пожалейте.

– Ну, пожалуйста! Одну – на бис!

Он крутит головой, как будто отказывается, но снова садится на стул и поет:

Дэвушка, дэвушка, ты такой хороший,
На базаре есть ышак, на тебэ пахожий!

Дэвушка, дэвушка, ты такой красивый,
Палавына рожа красный, палавына сыный!

Дэвушка, дэвушка, ты такой прекрасный,
Палавына носа сыный, палавына красный!

– Боже мой, давно уже не получала такого удовольствия! – вздыхает мама, когда мы выходим из домика Голосовкеро-Эверестовых. – Удивительно талантливый юноша.

Надо же – уже позабыла про ненавистную былинку.

– Да, – соглашается Евгения Азарьевна, – замечательный концерт. И главное, абсолютно бесплатный. У него есть песенки и похлеще, только он сегодня постеснялся.

– И совершенно напрасно, – огорчается мама.

– Ну, знаете, все-таки дети. И потом, дом творчества – это вам не частная квартира. Следует соблюдать осторожность.

Я немножко отстаю от них и пою потихонечку про себя:

На берегу Меконга в тропической Кампучии,
Где много всякой дряни и змеи есть ползучие...

Папа уехал в Ригу к одному знакомому писателю и никак не возвращается. Вчера не вернулся и сегодня тоже никак не возвращается. Не приехал ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину. Уже темно, а он всё не возвращается.

– Мерзавец! – говорит мама. – Опять закатился. Так издеваться над больным человеком!..

Я лежу в постели и смотрю на еловые лапы за окном. По комнате летает муха – громадная муха. Почему она так мечется, бьется во все стороны, не может никак успокоиться? Нормальные мухи по ночам спят. Правда, сегодня светлая ночь, лунная... Может, она думает, что это еще день? И главное, не просто летает, а всё время кружит надо мной, пикирует чуть ли не в самое лицо – как будто хочет что-то сказать. Может, это не простая муха? Может, она знает что-то? Что-то такое очень важное?.. А вдруг она вообще бог? А что? Если бог мог воплотиться в человека, ему ничего не стоит воплотиться и в муху. Даже еще легче.

– Муха, – прошу я, – если ты бог... Если ты в самом деле бог... Сделай, пожалуйста, так, чтобы папа вернулся! Пожалуйста! Чтобы он пришел наконец. Пускай вот сейчас, в эту самую минуту, войдет в ворота Дома творчества...

Кажется, она услышала меня – перестала носиться, как сумасшедшая. Уселась на стекло. Я могу выпустить ее наружу, открыть окно и выпустить, но тогда в комнату налетят комары – будет полная комната комаров... Мама догадается, что я открывала окно.

Если папа приехал, он идет сейчас от станции к дому творчества. Вот проходит мимо тумбы с объявлениями, мимо газетного киоска... Поворачивает к воротам. Теперь идет по алее. Мимо конторы... Дошел до столовой, поворачивает к домику Кочетовых, еще раз поворачивает – теперь самая длинная дорожка, наш Охотничий домик в самой глубине сада... Это может занять даже целых пять минут, пока он подойдет к крыльцу. Вот теперь должен уже подниматься по ступенькам... Сейчас откроет дверь, и я услышу его шаги на лестнице. Я изо всех сил прислушиваюсь, прислушиваюсь... Тихо. Никого нет, никаких шагов, только мама громко храпит в соседней комнате.

Что я выдумала – какую глупость я выдумала! Разве муха может быть богом?! Никакого бога вообще нет, есть только обыкновенная муха, большая черная муха, которая почему-то не желает спать!.. Папа не приезжает... Неужели он не чувствует, как я его жду? А вдруг с ним что-нибудь случилось, а мы просто не знаем? Нет, пускай лучше совсем не приезжает, сколько угодно не приезжает, только чтобы ничего не случилось!..

Мы с мамой идем по аллейке к столовой. Впереди нас шагает мужчина – папа Тани Зеленской.

– Что ты всё время скребешься, как шелудивая собака?! – возмущается мама. – Прекрати сейчас же!

Я не могу прекратить, у меня ужасно чешется голова. Я запускаю руку в волосы и вдруг вижу под ногтем вошь. Какая пакость! Как я сразу не догадалась, что это вши!

– У тебя есть частый гребень? – спрашиваю я маму.

– Нету у меня никакого гребня! – злится она. – Что, обовшивела в своем прекрасном лагере? Поздравляю!

Почему в лагере? Из лагеря я уже давно уехала. И там нам два раза мазали головы какой-то специальной жидкостью, розовой, с таким замечательным запахом, никаких вшей ни у кого не было. Это, наверно, в поезде. Конечно, в поезде. В поезде ездит столько народу, и все спят на одних и тех же подушках. Что же мне теперь делать? Не могу же я ходить со вшами...

Папа Тани Зеленской стоит на ступенях столовой и почему-то не торопится заходить внутрь. Наверно, ждет кого-то. Он наверняка слышал, как мама кричала на меня. Теперь расскажет Тане, что у меня вши...

– Доброе утро, – здоровается с ним мама. – Почему вы один? А где же Полина Петровна?

– Приболела, – отвечает Зеленский.

– Что вы говорите! Простуда? Да, эта погода на самом деле весьма обманчива: в воздухе как будто жарко, а вода ледяная. Нужно остерегаться.

– Да нет, не простуда, переутомление, – объясняет Зеленский.

Мне кажется, ему не очень-то хочется беседовать с мамой, но мама не отстает.

– Ничего удивительного, – говорит она, – разве можно столько работать! Как ни пройду – у вас в комнате постоянно горит свет. До поздней ночи.

– Пишет роман, – вздыхает Зеленский. – Не может оторваться.

– Видимо, наследственное – от отца, – рассуждает мама. – В каком-то смысле даже опасно – иметь таких знаменитых предков.

Все в Доме творчества потихоньку шушукуются о том, что Танина мама – дочь таинственного писателя Петра Успенского. Эмигранта и мистика. Но он уже умер.

– Да, в каком-то смысле опасно... – соглашается Зеленский и отходит от нас подальше. Не хочет больше разговаривать.

– Ну что ж, передавайте ей привет, пусть выздоравливает, – говорит мама, шмыгает носом и входит наконец в столовую.

Папа приехал! Идет по дорожке, улыбается и любезно со всеми здоровается: с писателями и их женами. Они все в пижамах и халатах, а он в чесучевом костюме песочного цвета и кремовой шляпе. Здоровается и каждый раз слегка приподымает шляпу. Иногда останавливается немножко с кем-нибудь поговорить. Мама стоит и ждет, чтобы он подошел поближе.

– Да, так что же? – начинает она. – Можно поинтересоваться, где ты изволил пропадать двое суток?

– Нинусенька, я нигде не изволил пропадать, я, как тебе известно, специально поехал в Ригу к главному редактору журнала «Падомью Латвияс большевикс» Янису Бумбиерсу, чтобы вычитать гранки своего очерка, который будет напечатан в ближайшем номере.

– Не смей разговаривать со мной на этом тарабарском языке! – взвизгивает мама. – Падомью! Только этого не хватало! Падомью и подобью. Главное, подолью. Мерзавцы – выпьем и снова нальем. И вообще, как ты мог что-то там вычитывать, если ни бельмеса не понимаешь?

– По-латышски я действительно не понимаю, – соглашается папа, – но журнал выходит на двух языках. Я вычитывал русский текст.

– И что же, этот замечательный текст нужно вычитывать двое суток?

Папа вздыхает.

– Нинусенька, не кричи, пожалуйста, и не привлекай к себе всеобщее внимание. К тому времени, когда я приехал, гранки еще не были готовы.

– Так зачем он тебя вызывал, если гранки не были готовы? Пьянствовать? Угощаться на твой счет? – возмущается мама.

– Янис Бумбиерс – весьма заслуженный и солидный человек, – объясняет папа. – Последнее, что может прийти ему в голову, это угощаться на мой счет.

– Солидный человек! Представляю себе. Одна фамилия чего стоит – Бумбиерс! Разве что в цирке выступать. По крайней мере, мог бы каким-нибудь образом сообщить, что задерживаешься. Я уж не говорю обо всем остальном!

– Именно это я и сделал: позвонил в контору и попросил оставить тебе записку. Надеюсь, тебе передали.

– Мне ничего не передавали!

– Странно, – говорит папа. – Если бы ты зашла в контору...

– Какого черта я буду заходить в эту проклятую контору! Выставлять себя на всеобщее посмеище. Услышать, что им ничего неизвестно.

Я лежу в воде на спине, закинув голову вверх. Море спокойное-спокойное, можно лежать, совсем не шевелясь. Все волосы в воде, один только нос торчит наружу. Я очень надеюсь, что вши задохнутся в соленой воде или, по крайней мере, сбегут от меня. Хорошо лежать так и смотреть в небо...

Кто-то брызгается! Громко шлепает по воде ногами и брызгается. Девочки прибежали на пляж, все вместе. Я вскакиваю, мы беремся за руки и начинаем водить хоровод.

– Прыг-скок, прыг-скок! Обвалился потолок! – Подпрыгиваем, дружно плюхаемся в воду и хохочем. – Баба шла, шла, шла – пирожок нашла! Баба встала на носок, а потом на пятку...

– Каравай, давайте каравай! – кричит Леночка Корабельская и становится в центр круга. – Я буду каравай!

– Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!

Леночка выбирает свою сестру Беллу. А Белла выбирает меня.

Как замечательно – теплая вода, мягкий песочек, солнышко греет, можно плавать, прыгать, водить каравай, играть в салки... Вот бы всегда так было – и никакой Москвы...

– Мерзавка, куда ты запропастилась! – набрасывается на меня мама, когда я подхожу к ней и наклоняюсь взять полотенце, чтобы обтереться. – Негодяйка! Ни стыда ни совести. Ушла и пропала. Сорок минут! Я тут схожу с ума, не знаю уже, что думать. Мне врач категорически запретил волноваться!

Никто не заставлял ее волноваться. Могла бы догадаться, что я или в воде, или строю на берегу крепость. С этой дюны прекрасно виден весь пляж. Не надо даже вставать, достаточно чуть-чуть приподняться на локте, чтобы убедиться, что я в воде – вместе со всеми девочками. И вообще, зачем я ей потребовалась? Ей плевать на меня, просто нравится лишний раз поорать. Чтобы все видели, как она переживает и нервничает. Никто не нервничает, а она такая чувствительная – сходит с ума. Не может перенести, если мне вдруг бывает хорошо и весело. Хочет, чтобы мне всё время было плохо. Чтобы я сидела возле нее и каждую минуту дрожала от страха – боялась ее разгневать.

– Как ты умеешь отравить всякую радость!.. – Я бросаю полотенце на подстилку и отхожу от нее подальше.

– Вы подумайте! – Мама всплескивает руками. – Осёл заговорил! Дожили...

По вечерам, после ужина, весь дом творчества выходит на берег смотреть закат. Это правда очень красиво – солнце становится такое огромное, темно-красное, нет, пурпурное, и мягкое, податливое, как будто оно из пластилина, плющится, тоненькие прозрачные облака собираются над горизонтом, золотисто-малиновые и капельку сероватые, перламутровые, солнце окунается в них, касается воды – самым краешком, одной точечкой, сливается с морем, вода выгибается ему навстречу, спешит пристать, прилипнуть к нему.

Море вспыхивает, делается ярким, веселым, розовые полосы разбегаются во все стороны, солнце медленно-медленно погружается в это розовое море и наконец совсем исчезает. А вода еще светится, трепещет и светится...

Но мы смотрим не только на закат, мы больше смотрим на Беллину маму и Мишу. Они удаляются от нас по кромке пляжа, идут рядышком у самой воды по плотному влажному песку, почти касаются друг друга и тут же отпрыгивают в стороны, как два столкнувшихся мячика. Заходящее солнце подсвечивает сбоку тоненькие фигуры, обводит каждого золотистой пылающей линией. От этой сияющей линии они кажутся высокими и прозрачными. Халат на Беллиной маме полощется, обвивается вокруг ног, поблескивает в солнечных лучах. На самом деле он темно-синий, но теперь кажется совсем черным – черный блестящий халат до самой земли. Она идет босиком, а туфли несет в руках и иногда взмахивает ими, взмахивает и кружится волчком на месте, словно собирается забросить их в море.

Вот они уже далеко-далеко, совсем исчезают из вида. Но никто не хочет расходиться, все ждут, пока они вернутся. Солнце окончательно прячется в воде, воздух вокруг становится влажным и серым, и тут они появляются – две темные тени, еле заметные в сумерках. Идут долго-долго и как будто слегка колышутся в последних бледных лучах дневного света. Халат на Беллиной маме уже не полощется и не развеивается, потому что ветер совсем стих и воздух стал тяжелым, неподвижным, густым и смолистым от соснового запаха.

Полина Петровна, мама Тани Зеленской, наконец появляется в столовой. Лицо у нее серое, осунувшееся, а белок в правом глазу весь залит кровью.

– Боже мой! Что случилось? – ужасается мама. – Вы упали, удавились?

– Да нет, видимо, сосудик лопнул, – говорит Полина Петровна как-то равнодушно. – Ничего страшного, пройдет.

– Ну, знаете, с такими вещами нельзя шутить, – беспокоится мама. – Я уже давно заметила: вы себя буквально изнуряете этой работой. Никуда не выходите, ночами не спите. Всё хорошо в меру. Сейчас глаз, а не дай бог, может ведь произойти и кровоизлияние в мозг.

– Что ж, чему быть, того не миновать... – усмехается Полина Петровна печально.

– Как это вы рассуждаете? – возмущается мама. – Такая молодая женщина, а поддаетесь какому-то фатализму! Куда это годится?

– Не такая уж молодая, – усмехается Полина Петровна, – четвертый десяток пошел. Извините меня. – И направляется к своему столу.

– Вы видели? Весь глаз залит кровью, смотреть страшно, а она отмахивается: «Ничего особенного, пройдет», – сообщает мама Евгении Азарьевне, когда мы выходим из столовой. – Какое-то поразительное легкомыслие. Наплевательское отношение к собственному здоровью.

– Что вы от нее хотите? – хмыкает Евгения Азарьевна. – В ее состоянии еще и не такое может случиться.

– Что вы имеете в виду? – не понимает мама. – Каком состоянии?

– Вы что, не знаете? Весьма прискорбном состоянии... То ли морфинистка, то ли кокаин нюхает. Уже и скрывать не удастся. В последнее время совсем не владеет собой.

– Что вы говорите?! – ужасается мама. – Какое несчастье!

– Да, радости мало, – вздыхает Евгения Азарьевна. – Вся семья страдает, и муж, и дети.

– Надо же... А он сказал: роман пишет...

– Может, и пишет. Непонятно только, для чего и для кого. На публикацию ей не приходится надеяться – дочь такого человека, кто ж решится печатать?

– Но, говорят, он уже умер. Я имею в виду отца. Он ведь, насколько я слышала, большую часть жизни провел в эмиграции.

– Вот именно, – подтверждает Евгения Азарьевна. – Она-то, скорее всего, никогда его и не видела. Разве что в раннем детстве. На месте никогда не сидел: то путешествовал где-то у черта на куличках, по всяким восточным странам, то вообще укатил в Лондон.

– Надо полагать, с большими странностями был человек.

– Да уж не без этого. Нормальная жизнь его вообще не интересовала, только всё сверхъестественное, потустороннее. И представьте, была куча поклонников и последователей.

– А как же! – подтверждает мама. – Даже я помню, мои сверстники, и то зачитывались. Не знаю, что они там понимали во всей этой зауми, но увлечение было огромное.

– И дочка, верно, тоже от какой-нибудь почитательницы, – говорит Евгения Азарьевна. – Впрочем, не знаю...

– Мне это, по правде сказать, всегда было абсолютно чуждо, – все эти поиски таинственного, – сообщает мама. – Никогда не испытывала ни малейшего интереса к подобным эзотерическим материям. Но вы подумайте, – Зеленский – не побоялся жениться на такой женщине. Мало того, что мистик, еще и эмигрант. Она-то, конечно, в папиных грехах не виновата, но всё равно, весьма благородно с его стороны. Не ожидала.

– Любовь! – говорит Евгения Азарьевна. – Вот теперь и расплачивается.

– Да, тяжкий крест, – соглашается мама. – Хуже этого ничего не придумаешь... Начинается как дурацкая забава, а кончается известно чем. У нас знакомая была. Муж уже и запирали ее, и пресекали все знакомства – ничего не помогло. Он в то время был преуспевающий эзпман, дом буквально ломился от всякого добра, что называется, полная чаша – и хрусталь, и серебро, и меха, и бриллианты – все, чего душенька пожелает. Казалось бы, живи и радуйся. Так нет, сумела наладить связь с каким-то мерзавцем – поставил ей эту отраву, – спускала ему на веревочке из окна свои драгоценности, вещь за вещью – они на четвертом этаже жили, – тот в свою очередь привязывал для нее порцию кокаина, причем, вы знаете, постепенно начал добавлять в порошок какую-то дрянь – увидел, что она уже не в себе и ничего не заметит. У нее от этих добавок весь нос разнесло. Такая была редкостная красавица, что называется, глаз не отвести, а тут превратилась в настоящее пугало: нос покраснел, раздулся, как гриб, буквально на пол-лица развезло, поры раскрылись, хоть спичку вставляй, ужас!.. А ей уже было на всё наплевать, не могла остановиться.

– Знаете притчу? – вздыхает Евгения Азарьевна. – Бог создает человека с прекрасными задатками, а дьявол потихоньку подкрадывается и подсовывает одно единственное малюсенькое зернышко какой-нибудь низкой страстишки. И если человек позволит этому зернышку прорасти, тут ему и конец – ничто не спасет.

– Да, разумеется, потом это всё плохо кончилось, – кивает мама, – ни ее не стало, ни мужа-нэпмана... Он еще, помнится, решетки на окна поставил, чтобы не вздумала выброситься. Непонятно, на что надеялся. Не приведи Господь... Всё проглотил проклятый порошок... Да что там далеко ходить – первая жена моего двоюродного брата, Капитолина, тоже этим страдает. Вообще, я вам скажу, перед революцией в определенных кругах на эту погибель настоящая мода объявилась. Я-то еще девочкой была, но тоже кое-что видела и слышала. А во время нэпа уже и говорить нечего... Настоящий пир во время чумы. Второй ее, нынешний муж – директор ювелирного предприятия. Сами понимаете, денежки водятся... Даже и не пытается с этим злом бороться – сколько ей требуется, столько и закупает, лишь бы тихо было. А тоже ведь была красавица. Почернела вся, из дому вообще не выходит, лет пять уже, если не больше, сиднем сидит... Постоянно пребывает в этом тумане.

Я ее помню, эту Капитолину, мы к ней ходили, когда тетя Тамара с Ритой приезжали в Москву. Но мама неправильно говорит, она не почернела, она сделалась вся какая-то фиолетовая. Только круги под глазами в самом деле были черные. Значит, вот отчего...

– Я уже и заходить к ним перестала, – рассказывает мама. – Бессмысленно: что ни скажешь, молчит, сидит, как каменная баба, только улыбка какая-то лунатическая по лицу бродит, видимо, и не слышит ничего, погрязла в своих тенетах. Живая покойница. Счастье, что Таля успел вовремя развестись. Сестра, Тамара, добрая душа, еще поддерживает с ней какие-то отношения, не знаю уж, каким образом.

Нет, когда мы у них были, Капитолина еще всё слышала, и разговаривала, на здоровье жаловалась. Даже пошла проводить нас до дверей. Просила не забывать ее, заглядывать.

– Впрочем, Тамара тоже давно ее не видела, – вздыхает мама. – Не имеет возможности ездить в Москву. Раньше в Сибири судьей работала, там все-таки прилично платили, а теперь перебралась в Ленинград, пенсия на ребенка нищенская – за погибшего мужа, муж офицер был, в первый день погиб, – зарплата и того меньше, много не наездишься...

– Да, горя на свете хватает, – вздыхает Евгения Азарьевна, – и с деньгами плохо, а без них и вовсе не сладко.

Мы с мамой сидим на пляже. Папа остался дома работать. Он пишет новый рассказ.

– Ты должна что-то сделать, – говорю я. – Я больше не могу ходить со вшами. Им уже места на голове не хватает, они на лоб выползают.

– Ничего, авось, не заедят до смерти, – хмыкает мама.

Нарочно, нарочно хочет извести меня.

– Купи мне частый гребень или жидкость от вшей, – говорю я.

– Где я должна купить тебе частый гребень?

– В аптеке.

– Да, конечно!

– Да, да – конечно! Что тут особенного?

– Где ты тут видела аптеку?

– Не может быть, чтобы не было аптеки. Если нет в Дубултах, должна быть в Майори, если нет в Майори, наверняка есть в Риге.

– И что же, из-за твоих вшей я должна мчаться в Ригу?

– Можешь не мчаться, дай мне денег, я сама съезжу.

– Конечно!

– Что – конечно?

– Поедешь одна в совершенно чужой незнакомый город.

– Поеду одна в совершенно незнакомый город, выйду на станции и спрошу, где тут ближайшая аптека.

– Да, спросишь, где аптека, и тебя направят в противоположную сторону.

– С какой стати меня должны направить в противоположную сторону?

– Можно подумать, что ты не видишь, как нас здесь любят и привечают.

– Я вижу, как ты меня любишь.

– От вшей никто еще не умер.

– Моя тетя Ира, папина сестра, умерла от вшей – от сыпного тифа.

– То были совершенно другие времена и другие вши. Святые отцы всю жизнь обретались со вшами и ничего, не жаловались.

– Да, я это уже слышала: отшельники никогда в жизни не моются и от вшей не избавляются! От клопов они, между прочим, тоже не избавляются, но ты почему-то не хочешь следовать примеру святых отцов и предпочитаешь клопов травить. Мне не интересно, умер кто-то от вшей или не умер. Я не могу так жить! Не хочу, не желаю ходить с этой пакостью!

– Принцесса на горошине! – говорит мама. – Ничего, как-нибудь перетерпишь. Приедем в Москву, будешь там разбираться со своими драгоценными вшами. Осталось всего ничего.

– Осталось девять дней – девять дней мерзкого, невыносимого существования! И с каждым днем становится всё хуже. Объясни, почему, ради чего я должна так мучиться?!

– Действительно, можно подумать, что свет клином сошелся на этих вшах, – фыркает мама. – И вообще, если это, как ты утверждаешь, не от лагеря, а от вагонного белья, то и выводить бессмысленно – на обратном пути опять подхватишь.

– Тебе нравится издеваться надо мной, – говорю я.

Мама молчит. Мне хочется сказать ей кое-что еще – что подло куражиться над беспомощным человеком. И наслаждаться этим. Но ничего, я ей это еще скажу когда-нибудь...

Солнце уже село, но никто не торопится расходиться. Все стоят на дюнах, на самом верху, чтобы подальше было видно, и ждут. Я тоже жду. Но Беллина мама и Миша почему-то не показываются. Почему они не показываются? Обычно в это время они уже возвращаются обратно. А сегодня мы их вообще не видели.

– Все, отгулялись! – говорит мама Миры Долгопольской.

– Что вы имеете в виду? – спрашивает мама.

– Не слышали? Муженек прикатил.

– Что вы говорите! Как же он учуял?

– Не учуял, люди добрые сообщили.

– Что вы! Вы уверены? Вряд ли письмо могло так быстро дойти.

– Зачем письмо? Не поскупились, телеграмму отбили.

– Вот оно что...

– Да, так-то. Иначе и быть не могло. Не таясь гуляли, у всех на виду.

– Ну, тогда и дожидаться нечего, – вздыхает мама. – Закат посмотрели, можно и расходиться.

Муженек прикатил... Значит, я никогда их больше не увижу? Никогда не увижу, как они идут – как будто оправленные в золотую рамку?.. Люди добрые!.. Негодяи, мерзавцы! Какие негодяи. Какие подлые негодяи! Если есть еще что-то хорошее, так непременно нужно испакостить, изничтожить... Это у них вся радость в жизни – живут на свете, только чтобы делать всякие гадости. Знать их не желаю, никогда больше не буду сюда приходить!..

– Раньше или позже это должно было случиться, – говорит Евгения Азарьевна.

– Да, – вздыхает мама, – ничего не попишешь... Мимолетный курортный роман. На краткий миг блаженство нам дано.

– Курортный роман, у которого в любом случае не могло быть продолжения. Красавчик, молоденький, свободный, поэт, миляга, любимец женщин – для него это так, случайный эпизод. А она? Что ж, может, и не плоха собой, но на пять лет старше и с двумя детьми.

– Ну, что старше, это как раз не так уж важно, – не соглашается мама.

Я понимаю – она сама на пять лет старше папы.

– К тому же и муж уже не первый.

– Как не первый? – удивляется мама.

– Второй. Младшая девочка от этого, а старшая от прежнего.

– Да что вы говорите! А куда же тот делся?

– Не знаю, исчез куда-то. Говорят, видный был деятель. Должна еще спасибо сказать, что Корабельский этот взял ее с ребенком. Он-то, конечно... – Евгения Азарьевна кривится и щелкает зубом. – Глядеть-то особенно не на что – весьма так себе мужичок, плюгавенький, но лучше чем ничего. Писатель все-таки, неплохо зарабатывает. И вообще, порядочный, степенный, не пьет.

– Да, это самое важное, – вздыхает мама.

– Сегодня невест, сами знаете, хватает и остается, только помани, целая куча набежит. Должна держаться своего муженька и не крутить хвостом. А то и журавля в небе не поймает, и синицу упустит.

– Да, вы правы, – вздыхает мама. – Ну что ж, хотя бы приятные воспоминания останутся...

Ночью я лежу в постели и не могу уснуть. Перед глазами у меня стоит огненный шар – огромный, красный. Надвигается, как будто хочет раздавить. Или втянуть в себя... Пышет ужасным жаром, почти касается лица... Потом начинает отодвигаться, отступает всё дальше, но не отпускает – требует, чтобы я смотрела на него, всё время смотрела на него... Делается меньше, но разгорается еще сильнее. И вдруг как будто взрывается – нет, не на самом деле взрывается, а как будто показывает мне, что может взорваться. Я понимаю: для того, чтобы он на самом деле взорвался, я обязана помочь ему. Я должна захотеть, чтобы он взорвался. Этот шар – наша Земля... Нельзя больше терпеть... Нельзя больше терпеть

того, что здесь происходит... Все издеваются друг над другом, мучают друг друга... Истребляют всё самое лучшее... Папа говорит, что пятая планета нашей Солнечной системы, Фазтон, которая раньше располагалась между Марсом и Юпитером, однажды разлетелась на куски, скорее всего взорвалась, и теперь от нее остался только пояс астероидов. Наша Земля тоже может взорваться. Я могу сделать так, чтобы она взорвалась. Нужно только не отрываясь смотреть в самый центр огненного шара. Точка не обладает координатами, не имеет размеров, но, оказывается, в ней заключена громадная сила... Нужно только смотреть, смотреть, и это получится... Но, может, нельзя этого делать? Я должна поговорить с папой. Вдруг он знает что-то такое, чего я не знаю?..

Миша больше не появляется за нашим столом – ни утром, за завтраком, его не было, ни днем, в обед.

– Вы подумайте, прямо какое-то заколдованное место, – говорит мама за ужином, перекладывая масло с Мишиной тарелочки на свою. – Ни один не может досидеть до конца срока!

Варвара Алексеевна, наша соседка по Охотничьему домику, оборачивается на стуле и смотрит на маму каким-то особенно долгим и злым взглядом.

– Папа, – спрашиваю я совершенно спокойно (чтобы он не догадался, что у меня перед глазами стоит огненный шар), – правда ведь наша Земля когда-нибудь погибнет?

– Ну, маленький, – папа вздыхает и почесывает бровь, – когда-нибудь, наверно, погибнет...

Мне не нужно «наверно», мне нужно «точно»!

– Разумеется, если наше Солнце остынет или превратится в сверхновую, то и Земле несдобровать...

– Но ведь оно обязательно когда-нибудь остынет или превратится в сверхновую?

– Да, когда-нибудь должно так или иначе прекратить свое существование, – кивает папа. – Поскольку оно непрерывно испускает в космическое пространство огромное количество энергии, а запас энергии в его недрах, как бы он ни был огромен, тем не менее ограничен. Когда-нибудь должен кончиться. Но, судя по всему, это случится не скоро.

– Но тогда какой же смысл во всем этом? – спрашиваю я и смотрю ему в глаза.

– В чем, малыш?

– В нашей жизни.

Папа молчит и сопит носом.

– Получается, что мы существуем здесь неизвестно для чего. Зря мучаемся, делаем всякие глупости, а потом всё равно исчезнем...

– Вообще-то... – он вытягивает губы и вздыхает, – ты прав, малыш, – никакого особого смысла нет. Считается, что наша Вселенная произошла в результате Большого взрыва. Но материя существовала и раньше, пространство не было пустым, оно представляло собой ком однородной массы с очень высокой температурой, давлением и плотностью энергии. Но без малейших признаков жизни. Никакой разум не участвовал во всех этих процессах. Поэтому смешно было бы говорить о цели или смысле... Жизнь на Земле

нечаянно возникла и, скорее всего, так же случайно погибнет в результате стечения некоторых обстоятельств. Но при этом Вселенная бесконечна и в пространстве, и во времени... То есть всегда существовала и всегда будет существовать. Вся Вселенная никогда не сможет исчезнуть...

Бесконечна и бессмысленна... Но кто же заставляет это терпеть? Зачем? Пускай крутится без нас – вечная и бесконечная! Нет, она погибнет не в результате стечения некоторых случайных обстоятельств – я сама прекращу это. Я должна это прекратить. Нащупать эту точку, не имеющую ни ширины, ни длины, ни высоты, и сказать ей: все, теперь! Пусть будет еще один большой взрыв!..

Мама говорит, что я вся горю. Что у меня температура, потому что я, конечно же, перекупалась. Она предчувствовала, знала заранее, тысячу раз говорила и предупреждала, но я – упрямый осёл, и теперь все оставшиеся дни буду сидеть дома взаперти и даже близко не подойду к воде – так мне и надо! Она не догадывается, отчего я вся горю. Я смотрю в эту раскаленную точку и от этого горю. Но сидеть взаперти я не буду – вместе со мной сидит папа, он не ходит на пляж, потому что пишет рассказ. Его мама не может запереть. И ни к какой воде мне уж точно не нужно и не хочется подходить. Пусть не радуется. Я встаю с постели и одеваюсь – выйду в сад и еще раз посмотрю на небо. Я должна быть уверена, что поняла всё правильно.

Я иду по тропинке в сторону домика Эверестовых-Голосовкеро- в и вижу Таню Зеленскую – она сидит на скамеечке возле грота. Значит, она тоже не пошла к морю. Может, у нее тоже температура. А может, она тоже видит этот раскаленный шар? Интересно, может так быть, чтобы два человека видели его? Я присаживаюсь на край скамейки.

– Ничего, если я посижу тут с тобой? – спрашиваю я. Теперь меня бьет такая сильная дрожь, что даже говорить вдруг делается трудно. Зубы стучат во рту, я боюсь, Таня услышит. – Ты никого не ждешь?

– Нет, никого не жду, – Таня трясет своими беленькими кудряшками.

Несколько минут мы сидим молча, я вожу пяткой по опавшим сосновым иглам, на земле прочерчивается серая кривая линия – полуокружность. Если продолжить ее, получится целая окружность, как орбита нашей Земли. Круг – как в «Вие». Но Хоме Бруту, этому семинаристу, круг не помог. Не помог, потому что Хома боялся. Я тоже боюсь. Чего я боюсь? Не знаю... Мне страшно. Сказать Тане или не говорить?

– Как ты думаешь, – решаюсь я наконец, – если бы весь наш мир вдруг... взорвался... Это было бы хорошо или плохо?

– Наверно, плохо, – отвечает Таня. – Вот американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, и японцы от этого сделались ужасно несчастные. И во всех странах до сих пор ужасно возмущаются.

– Нет, – говорю я, – не отдельно Хиросима и Нагасаки, а весь мир, сразу. Так, чтобы ничего не осталось. Чтобы никто потом не болел и не мучился. Чтобы ничего больше не было.

– Совсем ничего? – спрашивает Таня.

– Совсем.

– Но если совсем ничего не будет, – решает Таня, – то не будет уже ни хорошо, ни плохо. Это пока мы есть, может быть хорошо или плохо, а если нас не будет, то кому же будет хорошо или плохо?.. Без нас не важно, что будет. Если весь наш мир взорвется, это будет абсолютно безразлично.

– Да, тогда уже будет безразлично. Но сейчас, пока мы есть... Что лучше – продолжать или прекратить?

– Зачем ты вообще об этом думаешь? – удивляется Таня. – Зачем думать о том, чего не может быть?

– Почему же не может? А если наше Солнце вдруг превратится в сверхновую?

– Ну, через миллион лет...

– Не через миллион лет, а прямо сейчас.

– Сейчас этого точно не случится.

– Может случиться, – говорю я. – Если я очень захочу, это случится.

Таня смотрит на меня – долго-долго, очень внимательно, как будто никогда раньше не видела, и наконец говорит:

– Глупости, это тебе кажется.

– Нет, не кажется. Я точно знаю.

– Что ты знаешь?

– Что я могу это сделать. Нужно только очень-очень захотеть.

– Тебе так кажется, – повторяет она.

Я не собираюсь с ней спорить.

– Хорошо, пускай кажется. Но ты хотела бы, чтобы это случилось?

– Я? – Она некоторое время молчит, потом говорит: – Нет, мне маму жалко.

– Она ничего не почувствует.

– Не поэтому. Мне вообще ее жалко.

Жалко маму... Ее маме всё равно осталось жить совсем недолго. И вся ее оставшаяся жизнь будет сплошным мучением, у нее распухнет нос, она почернеет, как Капитолина, станет живой покойницей. Я, конечно, не могу сказать этого Тане. Я должна сама решить. Когда нас не станет, когда ничего не станет, будет безразлично. Но ведь сейчас плохо, по-настоящему плохо. Безразлично лучше, чем плохо. Я подтягиваю ноги на скамейку и обхватываю колени руками.

– Ты что так трясешься? – спрашивает Таня. – Тебе холодно?

– Нет, мне страшно.

– От чего?

– От всего.

– Интересно, – говорит она, – сегодня ты хочешь взорвать весь мир, а недавно сама говорила, что смерти не должно быть, что никто не должен ни умирать, ни стареть.

Значит, Галя рассказала ей. Ладно, пускай, какая разница.

– Правда, говорила. Но ведь смерть от этого не исчезла, она всё равно есть. И главное, не просто смерть от болезней или от старости. Людям этого мало, они всё время убивают друг друга. Животных тоже. Мучают и убивают. Вся эта жизнь... Неужели ты не чувствуешь, какая она отвратительная? Набита всякой подлостью... Как подушка перьями. Тухлыми, вонючими перьями. Глупостью, завистью, жестокостью. Неужели это лучше, чем ничего?

Вообще, ее даже неправильно называть жизнью. В живых остаются только некоторые, самые гадкие. Разве ты не видишь, что жизнь на этой Земле получилась слишком мерзкая?

– Но ведь не все люди плохие, есть и хорошие, – говорит Таня.

– Наверно. Наверно, есть и хорошие. Конечно, есть. Но они-то как раз ничего не могут сделать. У нас был сосед – Луцкий. Ушел на фронт добровольцем, хотя мог не идти, был освобожден по состоянию здоровья. Был хорошим человеком и считал, что обязан защищать родину. И тут же погиб, в первые же дни. Ни одного письма они от него не получили. И чем кому-нибудь помогла его гибель? Ничем. Немцы всё равно докатились почти до самой Москвы. Если бы он не пошел, немцы убили бы на одного человека меньше, вот и все.

Таня молчит. Смотрит куда-то в сторону и молчит.

– Когда я была маленькая, мама рассказывала мне про то, как Бог сотворил мир. Про Адама и Еву и про всемирный потоп. Люди сделались такими скверными, что Бог решил уничтожить их всех, кроме одного праведника – Ноя. Но вот что получилось потом от этого Ноя – всё это злодейство, которое мы видим теперь вокруг. Уж лучше бы он сразу уничтожил все. Во всяком случае, всех людей. Но никакого бога на самом деле нет. Если на земле был потоп, то он был в результате случайного стечения обстоятельств.

– Нам тоже не всегда бывает плохо, иногда бывает очень даже хорошо, – говорит Таня.

– Бывает... Наверно, бывает. Когда мы жили в Красноуфимске в эвакуации, у нас совершенно не было никакой еды. И я так ослабела, что не могла встать с топчана. Лежала и смотрела на дверь. У нас была дверь из трех досок. Я еще не умела считать до трех, поэтому считала раз, два и еще раз. Я могла долго-долго, целый день, смотреть на дверь и считать эти доски. И мне было хорошо. Я не чувствовала никакого голода, вообще ничего не чувствовала. Мне было хорошо ничего не чувствовать и ничего не хотеть. Знаешь, я теперь иногда думаю, может, это было даже самое замечательное в моей жизни: лежать вот так и совсем не шевелиться, только считать доски. А потом, уже после войны, я узнала, что немцы в это время делали с евреями – в это самое время, когда мне было так замечательно, других детей, точно таких же, как я, мучили и убивали. Я часто об этом думаю – в это же самое время!.. В те же дни, когда я лежала и считала доски. И ты понимаешь – когда я об этом думаю, мне становится очень плохо из-за того, что тогда мне было хорошо. Ведь если бы я видела тогда этих детей, мне бы уж точно не было хорошо. Теперь я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы меня вообще не было. Никогда.

– А мы в эвакуации были в Чистополе, – говорит Таня. – Я ходила в детский сад, и нам давали там сливочное масло. А я не хотела это масло, и многие другие дети тоже не хотели, и воспитательницы бросали нам это масло в горячее какао и когда оно таяло, заставляли пить. Это было ужасно противно. Меня до сих пор тошнит, когда я об этом вспоминаю.

Надо же – в то время, когда нам совсем нечего было есть, их заставляли пить какао с маслом. И им от этого было плохо, а мне было хорошо.

– Ты не думай, что я хочу что-то уничтожить, – говорю я. – Я не хочу, чтобы ты так думала. Я ничего не хочу уничтожить, но, может быть, это самое правильное – раз и навсегда избавить этот мир от всего: и от твоего какао, и от всей жадности, глупости, жестокости. Может быть и теперь, вот в эту самую минуту, пока мы тут сидим и разговариваем, кто-то ужасно мучается. Кого-то ужасно мучают, и он мечтает умереть. Но не может. Ему даже умереть не позволяют. А я – ты понимаешь? – я могу это сделать. Запросто. И вообще... Мне кажется, кто-то хочет, чтобы я это сделала.

– Кто? – спрашивает Таня.

– Я не знаю. Кто-то, кто дает мне эту силу...

– Но почему именно ты?

– Не знаю. Наверно, он сам не может. Должен сделать кто-то, кто живет на этой планете. Я чувствую, что могу это сделать.

Таня вздыхает.

– Нет, не соглашайся. Ни за что не соглашайся. Подожди. В крайнем случае, сделаешь это потом.

– Нет, потом уже не получится. Это нужно сделать сейчас. Потом уже не будет этой силы...

Все, мы едем в Москву. Сначала на электричке в Ригу, а оттуда на поезде в Москву. Опять поедем все вместе, со всеми девочками – как приехали сюда, так и обратно поедем. Но поэта Сосновского с нами уже не будет. Наверное, будет кто-нибудь другой.

До электрички мы идем пешком. Впереди мама, за ней я – в одной руке тащу свой чемодан, в другой авоську с кувшином с маслом (воду мама вылила из него и, чтобы не разбился, завернула в свой купальник, а сверху в газеты). Папа сзади несет два чемодана – свой и мамин, а мама ридикюль и авоську с продуктами на дорогу, которые она насобираала в столовой.

В Майори в вагон входит контролер и застревает у первой же скамьи, на которой сидит безбилетник. Контролер доказывает безбилетнику, что, согласно правилам, тот должен был купить билет, а безбилетник сердится и объясняет, почему он не мог этого сделать. Безбилетник сидит, а контролер стоит возле него и в десятый раз повторяет, что пассажиры обязаны покупать билеты независимо от своих личных обстоятельств. На станции Лиелупе в вагоне появляется второй контролер и присоединяется к первому. Теперь два контролера пытаются втолковать безбилетнику, что в электричке нельзя ездить бесплатно, что это обязанность пассажиров покупать билет, и удивляются его непонятливости. Мы уже подъезжаем к Риге, но беседа всё продолжается, нам так и не удастся узнать, уговорили они безбилетника уплатить штраф или нет.

– Не понимаю, Павел, зачем ты меня так торопил, – говорит мама, когда мы уже шагаем по платформе номер один поездов дальнего следования. Теперь носильщик тащит наши чемоданы, я несу только кувшин с маслом. – До отхода целых два часа. Я вполне успела бы сходить испкупаться.

– Не сомневаюсь, Нинусенька, – говорит папа, – что ты успела бы испкупаться, но на поезд мы наверняка опоздали бы.

– Да, а что же теперь? Топтаться два часа по перрону?

– Не обязательно топтаться, можно посидеть, – говорит папа.

– Хорошо, схожу на базар, – решает мама, – может, куплю сувениров. А то, действительно, неудобно явиться обратно с пустыми руками. Врачихе нужно что-то подарить, Марье Александровне какой-нибудь пустячок. Пошли! – говорит она мне.

– Нинусенька, я бы не хотел, чтобы ты уходила, – хмурится папа. – Ты увлечешься, потеряешь всякое представление о времени, и мы опоздаем на поезд.

– Я-то не увлекусь, – обещает мама, – а ты вот смотри не вздумай развешивать уши: следи, чтобы ничего не украли.

Мы уходим, а папа остается сторожить вещи.

На базаре мама прежде всего идет в овощной ряд – узнать, почему яблоки. Яблоки не такие дешевые, как ей хотелось бы, и она отказывается от мысли покупать их в Риге – может, в дороге попадутся подешевле. Мы долго бродим по всему рынку, мама ко всему приценивается, даже к плетеным табуреткам и этажеркам, которые мы наверняка не повезем с собой в Москву, но ей все-таки интересно знать, почему их продают. Зато она покупает еще два глиняных кувшина – один для Елизаветы Николаевны, а другой для парикмахерши, и тоже вручает их мне.

Для тети Ани и каких-то своих приятельниц она приобретает маленькие деревянные бочонки, расписанные цветами, и деревянные лопаточки и вилки.

– Нужно купить салаки, – вспоминает она. – В Москве ее никогда не бывает, а тут замечательная копченая салака – крупная и жирная.

Обойдя всех продавцов, предлагающих салаку, она останавливается возле самого дешевого и принимается изо всех сил торговаться с ним. В конце концов продавец соглашается уступить три рубля.

– Пять, – уговаривает мама, – не по-вашему, не по-моему.

Продавец отмахивается от нее. Тогда она обещает взять пять кило, если он сбросит по рублю с каждого килограмма. Он отказывается. Мама топчется возле прилавка, вздыхает, не знает, что делать.

– Хорошо, давайте четыре кило, – решает она наконец. – Только, пожалуйста, хорошенько заверните – нам далеко ехать.

Продавец заворачивает салаку в газету.

– Нет-нет, – возмущается мама, – так это всё развалится. Заверните как следует. Такой товар вообще полагается заворачивать в вощеную бумагу. Неужели у вас нет какого-нибудь плотного листа бумаги?

– В последний время ньет, – говорит продавец. – Это есть хорошо, как газеты еще выходят.

Мама вздыхает, берет у него сверток и пихает мне в правую руку – в левой я держу связанные друг с другом бечевкой кувшины.

Салака действительно оказывается очень жирной, газеты тут же просаливаются насквозь, моя блузка тоже пропитывается рыбьим жиром.

– Между прочим, который час? – вспоминает мама.

Оказывается, уже без четверти двенадцать. Наш поезд отходит в двенадцать часов пять минут.

– Боже мой, как время летит! – удивляется мама. – Хотела еще в скобяную лавку заглянуть... Ладно, пошли.

Мы пытаемся найти выход с базара, путаемся в рядах, наконец с чьей-то помощью выбираемся на улицу, ведущую к вокзалу.

– Шевелись, двигайся побыстрее! – покрикивает мама. – И держи салаку. Не трясина, не трясина, а то вывалишь всё на землю! Поосторожней с кувшинами, если они будут колотиться друг о друга, останутся одни черепки!

Мы выбегаем на перрон и видим, что большие круглые вокзальные часы показывают двенадцать часов шесть минут. Папа стоит со всеми чемоданами у самого края платформы, а поезд медленно-медленно ползет мимо него. Один вагон, другой...

– Что же ты стоишь?! – кричит мама. – Закидывай чемоданы! Не стой как истукан! Павел!.. Боже мой...

Я чувствую, что не могу больше бежать. Веревка, которой связаны кувшины, режет пальцы, обе руки совершенно занемели, газеты на салаке лопнули, она вот-вот начнет сыпаться на землю, но главное, ноги не хотят больше двигаться. Сделались как ватные. Или как чугунные. Тяжелые, как чугун, и мягкие, как вата. Я не знаю, как это получается, но мама бежит быстрее меня. Я думала, она вообще не умеет бегать. Поезд набирает скорость. Нам не догнать его. Я сейчас упаду, упаду и все...

Мама останавливается возле папы – вся потная и красная – и чуть не плачет.

– В чем дело? Ты что, не мог задержать его?!

– Каким образом, Нинусенька, я могу задержать поезд? Силой взгляда? Ты полагаешь, что я Вольф Мессинг?

– Но там в тамбуре имеется такой рычаг – экстренная остановка.

– Экстренную остановку можно осуществлять только в аварийной ситуации, – объясняет папа. – Самовольная остановка поезда расценивается как хулиганский поступок или преднамеренная диверсия. И подлежит уголовной ответственности.

– Да, так что же мы теперь будем делать? – спрашивает мама.

Папа оттаскивает чемоданы к скамейке, достает из нагрудного кармана пачку папирос, вытряхивает из нее папиросу и закуривает.

– Я спрашиваю, что мы будем делать? – напоминает мама.

Постараемся, мой дорогой Кисик, достать билеты на следующий поезд.

Мама вздыхает.

Папа уходит и через час возвращается с билетами.

– Удалось? – спрашивает мама. – Во сколько отправление?

– В пять часов восемнадцать минут.

– Пришлось что-нибудь доплачивать?

– Пришлось доплатить по семьдесят рублей за каждый билет.

– Так много? Боже мой... И целых четыре часа ожидания, – подсчитывает мама. – Что же – так и будем сидеть тут всё время на этой скамейке?

– Нинусенька!.. – голос у папы начинает дрожать. – Должен тебя предупредить: если ты сдвинешься с места... Если ты сделаешь хоть один шаг! Я больше вообще... Я снимаю с себя всякую ответственность!..

– Что ты злишься? – удивляется мама.

– Эти билеты мне достались чудом. Как раз передо мной какой-то старик сдал две плацкарты. У него внезапно скончался брат.

– Какое несчастье! – вздыхает мама.

– Да, – говорит папа. – А третий мне выдали по личному распоряжению начальника станции из брони военнослужащих после того, как я предъявил удостоверение корреспондента «Красной звезды». И больше на ближайшие десять дней в кассе вообще нет ни одного билета. Тебе отлично известно, как в этот сезон перегружены поезда.

Мама вздыхает.

– Прекрасно. Но целых четыре часа торчать на этом солнцепеке... Может, все-таки сдать вещи в камеру хранения и пойти куда-нибудь?

– Нинусенька! – шипит папа.

– Что ты кипятишься? – возмущается мама. – Можно подумать, что я предложила тебе ограбить банк! Но пообедать, как ни крути, необходимо... Если мы съедем сейчас то, что я приготовила, то что же мы будем делать завтра?

– Нинусенька, я уже сказал и повторяю... – Лицо у него становится совсем бледным. – Если ты хоть на один шаг сдвинешься от этой скамейки!..

– Да, я слышала, – перебивает мама. – Ослиное упрямство. Хорошо, будем питаться салакой. Сходи, по крайней мере, купи буханку хлеба. Иначе в дороге вообще придется голодать. Я же не предполагала... И возьми побольше газет, штук десять, нужно как следует завернуть салаку.

Наш вагон плацкартный и комбинированный. Комбинация заключается в том, что на нижних скамьях пассажиры сидят – по три человека на каждой, лицом друг к другу, – а на верхних можно лежать и спать. Или сидеть, если надоест лежать. Но сидеть не очень удобно, голова упирается в багажную полку. Отдельных купе в этом вагоне нет, только перегородки, к которым прицеплены полки. Такого коридора, как в купированном, тоже нет. Там, где в купированном коридор, в этом вдоль стены тоже приделаны плацкарты: два сидячих места внизу и между ними, под окошком, столик, а сверху еще одна лежащая полка. Нам с мамой достались две лежащие полки вместе, а папино место оказалось вообще в другом вагоне, но мама уговорила какую-то тетеньку поменяться с ним, и теперь мы едем все вместе.

– Ничего, все-таки лучше, чем в позапрошлом году из Бежицы, – вспоминает мама.

Она с большим трудом вскарабкалась на свою полку – папа изо всех сил подпихивал ее снизу, но теперь ей требуется слезть.

– Должна же я сходить в уборную.

Пассажиров в вагоне очень много, поэтому к уборным стоят длинные очереди, каждая почти до середины вагона.

– Ничего, все-таки легче, чем в Гражданскую войну, – сообщает мама.

Этот поезд будет идти до Москвы больше суток, потому что он не скорый, а пассажирский – останавливается на всех станциях, даже самых маленьких. Пассажиры внизу иногда меняются, не все

едут до Москвы, некоторые сходят на промежуточных станциях, но на их места тут же садятся новые. Свет в вагоне никто и не думает выключать, но мама почему-то не жалуется и не говорит, что он лупит ей в глаза, и она всю ночь не уснет.

– Вся спина разламывается, – стонет она утром. – Не знаю уже, на какой бок повернуться.

Поелозив на матрасе, она спускает ноги вниз, но сидящим под ней пассажирам не нравится видеть перед глазами ее болтающиеся пятки.

– Вы бы, гражданочка, в проход их спустили, – советует какая-то женщина. – Тут всё же люди...

– Вот именно, – бурчит другая, – спят себе всю ночь, как баре, а тут сидишь, как кур на насесте, не знаешь, куда голову притулить, так еще и ноги ихние нюхай...

– Спасибо скажи, сидим, а не стоймя стоим, – замечает третья.

Мама спускает ноги в проход, но проход очень тесный, и все натыкаются на ее ноги. Некоторые говорят: извините, а некоторые требуют: ноги-то уберите!

– Куда же я их уберу? – возмущается мама. – В окошко прикажете выставить?

Проводница разносит по вагону кипяток в огромном жестяном чайнике.

– А стаканов что, нет? – спрашивает мама.

– Стаканов не держим, – объявляет проводница. – Привыкай со своей кружкой путешествовать!

– Павел, ты бы вышел купил на станции яблок, – вздыхает мама. – Хотя яблоко погрызть.

Я весь день лежу на своей полке – то сплю, то смотрю в окно. Неужели это те же самые места, которые мы проезжали месяц назад? Тогда всё было таким замечательным, свежим, цветущим... А теперь только серая насыпь, сливающаяся в темные рваные полосы, и бесконечная канава с жидкой грязью. Худосочные ободранные елки... Может, это потому, что тогда мы с девочками стояли у раскрытого окна и видели всё далеко-далеко, а теперь я смотрю со своей полки сверху вниз и почти ничего не вижу...

За окном темнеет. Еще немного, и мы будем в Москве. Проводница идет по вагону и собирает белье. Деньги за него она уже взяла вчера, когда выдавала. И не все хотели брать – наверно, жалели три рубля.

Наступает ночь. Пассажиры внизу продолжают дремать – у некоторых голова свешивается на грудь, другие, наоборот, закидывают ее назад и сидят с широко раскрытыми беззубыми ртами. Колеса постукивает на стыках, постукивают, но всё реже... Поезд останавливается.

– Что такое? – спрашивает мама. – Какая-то станция? Почему такая темень?

Мы стоим, стоим и никак не двигаемся.

– Павел, иди узнай в чем дело, – требует мама.

– Нинусенька, оставь меня, пожалуйста, в покое, – откликается папа сонным и злым голосом. – Поверь мне, от твоего беспокойства поезд всё равно с места не стронется.

– Да, но хотя бы узнать, в чем дело.
– Задержали, – говорит проводница.
– Задержали? Почему?
– Мост ремонтируют.
– Какой еще мост?
– Железнодорожный, через рукав на водохранилище. Третий месяц, почитай... С мая месяца. По ночам перекрывают движение и ремонтируют.

– Так что же – сколько же мы здесь будем стоять?..
– А сколько понадобится. Теперь уж, видать, до утра.
– Боже мой!.. Зачем же вы забрали белье? – возмущается мама.
– Откудова мне знать, в который день перекроют? Когда перекрывают, а когда нет. Нам вперед не докладывают.
– Кошмар, наваждение какое-то... – стонет мама. – До утра сидеть вот так на голом матрасе?..

Мне неважно, есть белье или нет. Если бы только не проклятые вши! Они точно решили напоследок загрызть меня до смерти...

Проводница ошиблась – нам не пришлось ждать до утра, в два часа ночи поезд дернулся и поехал дальше. Мы прибыли на Рижский вокзал еще затемно. Метро в это время не работает, на такси длинная очередь. Мы пристраиваемся со своими чемоданами в конце. Папа стоит несколько минут, потом отходит в сторону.

– Павел, ты куда? – пугается мама.
– Сейчас вернусь, – говорит папа.
Минут через десять он возвращается и говорит «пошли».
– Куда?
– Нинусенька, иди и не задавай бессмысленных вопросов.
– Куда ты нас ведешь? – не понимает мама.
– Таксист ждет за углом.
– Почему за углом?
– Чтобы не видела очередь и не было скандала.
– Ты что, что-то пообещал ему? – догадывается мама.
– Да, пообещал уплатить вдвое, если он посадит нас без очереди.

– Но ведь это бешеные деньги!
– Нинусенька, если ты готова провести тут два или три часа, можешь вернуться в очередь и сэкономить двести рублей.
Нет, мама не хочет возвращаться в очередь.

– Всё! – говорит мама, когда мы переступаем порог своей комнаты. – Теперь спать.
– Сначала дай мне денег, – говорю я.
– Каких денег? Зачем тебе деньги?
– Купить жидкость от вшей.
– Не выдумывай, аптека еще закрыта.
– Ничего, я подожду.
– Не говори глупостей и ложись спать!
– Я не лягу спать, я выброшусь в окно – вместе со вшами.
– Да, разумеется, выбросишься в окно, – фыркает мама. – Боярыня Морозова!

Виктория Райхер

ПРО КОТЛА

Я хочу, чтоб меня взяли на руки и качали
тёплыми и уверенными руками.
Когда меня еще не было, в самом начале,
так и было.
Время несло прыжками,
швырялось плюшками и жареными пирожками,
мама замуж четырежды выходила,
и всё удачно. Первый муж её был хорошим,
много смеялся, презирал сомненья любого рода,
любовался мамой, носил рубашки в горошек
и погиб на войне, не помню, какого года.
От него осталась пачка коричневых фотографий,
он успел построить домик с перилами из металла,
отделать ванную комнату белым кафелем
и зачать меня. Я его уже не застала.

Мама очень страдала, носила траур,
пела печальные песни, курила «Ноблес»,
рассыпала окурки (я ими потом играла)
и при всех говорила, что умереть – не доблесть,
а доблесть – жить, потому что это опасней.
Второй её муж работал в библиотеке.
Он мог часами со мной говорить о счастье
и о том, что родиться нужно было в десятом веке
в Японии. Он понимал в проблемах,
раскраивал шёлк, стачал мне десяток платьев,
научил меня, что лемма – это обратная теорема,
а потом ушёл, в дверях некрасиво пятясь
от мамы, в который раз потерявшей терпение.
Мама была темпераментна, как торнадо.
Второй её муж устал от температуры кипения
и ушёл туда, где прохладно.

Я хочу, чтоб меня взяли на руки, и качели
звонко скрипели, и были бы с милую ростом.
Мама ждала себе принца, а дни недели
летели. В третий раз я была подростком
с плохим характером. И принца не возлюбила.
Ни рук его с крупными пальцами, ни сигарет.
Я его чашки с кошками вечно била
и на любой вопрос отвечала «нет,
спасибо, не надо». Он был высоким и сильным.

Позвал меня как-то в кино на двенадцать двадцать, и там я услышала, как он смеётся на фильме для школьного возраста. И согласилась остаться (а хотела сбежать из дома и стать пиратом). Мы жили дружно, мама варила обеды, и я приставала к ней «мама, роди мне брата!», а она отмахивалась – мало мне вас, дармоедов.

С третьим мужем она прожила недолго, потому что влюбилась в четвертого. Как в романах. А он оказался бездельником высшего сорта и в поисках денег рылся в моих карманах. Потом напился, потом отказался бриться, потом сказал как-то маме «да наплевать мне», и она его выгнала. После чего жениться он сумел ещё дважды. А мама сказала «хватит». Никаких больше свадеб, никаких доказательств любви и верности. Никаких неразрывных оков. И завела себе просто любовника, без обязательств. А он рассказал мне, что у него есть кот.

Этот кот невидим, не прыгает, не бушует, он не ловит мышей и не понимает слов, но он всё-таки есть, хотя и не существует, и в душе от него тепло. И вокруг тепло. Я спросила «а можно мне тоже такого?», а он ответил – второго такого нет. Но если хочешь, мы можем владеть им оба. И я согласилась. И кот перешел ко мне, хотя и частично. Мы не мешали друг другу, мамин любовник, я и невидимый кот. Мы просто жили, как у костра, по кругу передавая фляжку с одним глотком. И он не кончался. Но мама уже устала. И про любовника мне говорила «тоска». Они перестали встречаться, потом расстались, и я не знала, где мне его искать. А кот остался. Мамин любовник с нами когда ещё жил, говорил, что коты не теряются. И это правда. Я это точно знаю. А если кот остаётся – какая разница, остаются ли люди. Призрачны их печали, но вечны кошки. Печалям не выжить столько. Я хочу, чтоб меня взяли на руки и качали. Долго-долго.

Борис Камянов
ИЗ МРАКА – В СВЕТИ

* * *

В автобусе тесно. Сидит у окна
Девчонка. Псалмы раскрывает она.

Кудряшки. Украшенный пирсингом пуп...
Слетают слова, словно ангелы, с губ,

И кружатся, кружатся ангелы те
В июльской автобусной духоте.

Водитель лихачит. Крутой поворот.
Мешает девчонке неловкий народ –

То книжку заденут, то сумкою ткнут,
То к спинке сиденья с размаха прижмут.

Девчонка читает псалом за псалмом.
Витают девчонка на небе седьмом

И, взор не подняв, продолжает читать,
Чтоб святость в душе своей не расплескать.

А я, умилённый, над нею стою.
Стою, на клюку опираясь свою.

ТЕЛО И ДУША

Тучное старое тело,
Ты – воплощённая боль.
Ох, как же мне надоело
Нудно возиться с тобой.

Груда дряхлеющих клеток!
Сердце больное скрепя,
Чёртову уйму таблеток
Я загружаю в тебя.

Нужен уход за тобою,
Надо таскаться к врачу...
Время придет геморрою –
Вставлю туда я свечу.

Водочку пить перестану,
Снизится сахар в крови.
Больше у женки не стану
Клянчить излишеств в любви...

Только вот все эти меры
Юной бессмертной душе,
Страшные, словно химеры,
Очень не по душе.

Скисла, скучает заметно –
Это душевная боль.
Любит душа всё, что вредно, –
Жирное, секс, алкоголь.

Все предписанья нарушу
Я, пожилой инвалид,
И излечу свою душу.
Пусть лучше тело болит!

БЕЛЫЙ КАКАДУ

Памяти Миши Лившица

Я шёл в субботу в синагогу,
Смакуя жизни каждый миг,
И вдруг, переходя дорогу,
Услышал странный резкий крик.

Не человеческий, не звериный,
Я слышал первый раз такой.
Он разносился над долиной,
Субботний разметав покой,

Над тихой улицей и садом,
Пророча близкую беду.
И тут взлетел внезапно рядом
С сосны высокой какаду.

Спасался бегством от кого-то
Домашний этот попугай.

На попугая шла охота.
Я услышал вороний грай.

За белоснежной птицей в просинь
Три сгустка мрака поднялись,
И он метался среди сосен,
Бросался он то вбок, то ввысь.

Его вороны окружали,
Как ангела – исчадья тьмы,
И страшной долей угрожали.
А он, сбежавший из тюрьмы,

Летал с верхушки на верхушку,
Из мрака – в свет, из смерти – в жизнь.
И всё не попадал в ловушку.
И я кричал ему:
– Держись!

Поднялся в небо ангел Божий.
Был крик его невыносим.
И три чертовки чёрных тоже
Сорвались с веток вслед за ним.

...Кружат вороны надо мною,
Не видно белых какаду.
Идя обратно, под сосною
Я белое перо найду.

МОЙ ДОМ

Над обрывом, над долиной
Возвышается мой дом.
С этой высоты орлиной
Видно далеко кругом:

Улица. Вдали – больница.
В ливне солнечных лучей
Средь холмов шоссе струится,
Как серебряный ручей.

Это – в ясную погоду.
А зимой, как рассветёт,
Дом войдёт в туман, как в воду,
И утонет, пропадёт.

Всё в окне, как на экране
Ненастроенном – в снежке.
Птицы плавают в тумане,
Как чаинки в молоке.

Белым облаком укрыло
Жизни нашей все следы.
Время белое застыло
Над горами Йегуды.

Но осядут понемногу,
Как сугробы, облака.
Вновь отправятся в дорогу
Дни, и годы, и века.

Солнце нас ошпарит зноем
С голубых своих небес,
И поманит нас покоем
Иерусалимский лес.

ОРЕ

Жена моя! В наш век разврата
Уж коль грешить, то до конца.
Люблю тебя любовью брата,
А таю же деда и отца.

Иосиф Букенгольц
ПОЭМА О ДОМЕ И ТОЛЕМЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОМ

1

Когда наступала ночь, и наша узкая, похожая на мой школьный пенал квартирка превращалась в густой непроглядный омут, бабушкина рука оставалась единственной надежной гарантией моего существования. Отец выключал свет, торопливо шаркал в другой конец комнаты-коридора, шумно опускался на жалобно вскрикнувшую кровать, и на этом исчезал хоть какой-нибудь ориентир в непроглядном пространстве. Только большая шершавая бабушкина ладонь, в которую, как в спасительную нору ныряла моя рука, просунутая сквозь прутья стоящих голова к голове кроватей, удерживала от пугающего растворения в бездонной темноте.

Этот еженощный ритуал – моя непроизносимая, даже постыдная тайна, воплощение где-то глубоко живущей тоски по разорванной лет тринадцать назад пуповине. Ухватившись за надежное спокойствие натруженных пальцев, я снова чувствовал себя защищенным, по моей руке вливалась в меня осязаемая тишина. Я бесстрашно окунался в свои сны, и что бы в них ни происходило, ощущение этой неразрывной связи всегда придавало мне мужества.

Бабушка моя, баба Сима, не придавала этому тайному обряду никакого сакраментального значения. Для нее было вполне достаточно того, что это необходимо мне. Вообще, в ее голове удивительным образом укладывалось все, что происходило вокруг, словно для каждого события или явления давным-давно уже было приготовлено подходящее место, и она просто ждала его, чтобы на это приготовленное место спокойно водрузить. Три класса хедера, два или три погрома в местечковом детстве, эвакуация с крохотным моим отцом на руках и с тремя детьми деда-вдовца, за которого вышла, будучи тридцатишестилетней девой, послевоенный голод и бездомье, да и многое, чего я не знаю, а она сама забыла, научили ее стойко, с ворчанием, но без суеты принимать все то, что далеко не сентиментальная действительность приносила в ее жизнь.

Три-четыре впечатляюще крепких, если их понимать, выражения на идише, несколько обкатанных годами жалобных восклицаний на нем же служили надежным, проверенным, мобилизующим средством не только ей, но и окружающим. Все неприхотливое хозяйство нашей семьи держалось на ней, она ровно, преданно и как-то неторопливо любила всех: и наших родственников, и приемных детей, безоговорочно считавших ее матерью, и моего отца, своего единственного сына.

Меня же она обожала.

В ее натруженной жизнью душе, среди упорядоченных терпимостью печалей и радостей, мне было предоставлено безразмерное,

не имеющее границ пространство, в котором мечты дочери-прислуги в родительском доме и чувства несостоявшейся женщины, покорно взвалившей на себя чужих детей и тирана-мужа, нашли свое долгожданное воплощение.

Просыпаясь пятидесятилетним, я не могу вспомнить, в чем выражалось это обожание, мне доставались те же незатейливые благословения и нестрашные угрозы, что и остальным.

Только скрытый от всех еженощный ритуал объятья рук, повторенный в последний раз, когда, не узнавая уже никого, кроме меня, она покорно, тихо, как и все, что она делала, оставила этот не очень ласково обошедшийся с ней мир.

В этом некогда спасительном прибежище огромных бабушкиных ладоней открылось для меня невыразимое в словах таинство прикосновения.

Я засыпаю, дом погружается в сиреневый майский кисель и плывет, плывет...

И вместе с ним полупьяный жухлый фонарь, приросший к облупившемуся углу. За долгие годы плавания по узким кривым улочкам, среди таких же неказистых плывших рядом домишек старого, дореволюционной застройки, Минска, дом оброс многочисленными, часто наспех сколоченными пристройками, приделками, пришлепками и ведущими к ним неимоверно закрученными деревянными лестницами. Как в Ноевом ковчеге, в его затейливых двухэтажных внутренностях и глубоко увязшем, пропахшем теплой плесенью подвале умещалось на удивление много жильцов, многих из них я знал только внешне.

В промозглые ночи позднего ноября, когда холодные предснежные дожди становятся особенно злыми, а стены дома пропитываются печальными мыслями и тревожными снами, он представлялся мне большой материнской утробой, заботливо вобравшей в себя спящих людей, доверчиво укутавшихся в его лабиринты.

Вплывая в иерусалимские кварталы «Меа-Шеарим», дом оказывался среди своих единокровных братьев и так же уверенно ориентировался в запутанных переулках. Без сомнения, в каждом уголке земли мой дом, как еврей, мог бы встретить своих родственников и, без смущения пришвартовавшись, легко найти с ними общий язык.

Но так уж сложилось, что путь его пролегал между уцелевшими кварталами бывшего Минского гетто и наполненными густым спрессованным временем улицами Иерусалима.

2

Неизменно, возвращаясь к началу этой истории, я вижу свои грубые, давно уже промокшие ботинки фабрики «Луч», неуклюже шлепающие по набухшей снежной слякоти позднего минского марта. Привычка постоянно сутулиться, смотреть себе под ноги, и вкусно чавкающее снежно-водяное желе не мешали мне всем телом вдыхать многозвучное, пахучее вторжение весны.

Я направляюсь домой, неосознанно, как привыкший к неизменному маршруту осёл, безошибочно ощущая направление среди

разноголосого шума, невидимого утробного клокотанья подснежных ручьев и монотонного, шаг за шагом, хлюпанья разомлевшего снега.

До трамвайной остановки еще много шагов. Приближается вечер.

Душный, утомительный иерусалимский день завершился. В полном соответствии с Торой, следующий день начинался ободряющей прохладой вечера.

Я направлялся домой. Шагнув в мягко подкативший к остановке автобус, я двинулся в дальний конец полузаполненного салона в поисках места; ехать было около часа.

Пассажиры, в основном одетые в черно-белое – маршрут проходил по ультрарелигиозным районам, – сопровождали меня непонятно-удивленными взглядами, на которые я по привычке не обращал внимания. И только добравшись до задней площадки, я вдруг понял, что пространство автобуса разделено незримой границей. В передней половине гордо располагались исключительно мужчины, со всеми внешними аксессуарами наших дальних библейских предков, дополненными черными шляпами и лапсердаками. Чувство собственной важности, по-видимому, не позволяло им удостоить меня хоть каким-то, пусть даже осуждающим взглядом, зато на задней, женской половине, куда я продрался через холодный частокол презрения, меня встретило десятка два нескрываяемо возмущенных глаз.

Я увидел себя в тесном от неприязни пространстве средневековья, без каких-либо поправок перетекшего в двадцать первый век, и, должен признаться, испытал при этом вполне внятную робость.

С подобными реалиями Иерусалима, смешавшего века, часто без разбора и порядка, приходится встречаться повсеместно. К этому можно попытаться привыкнуть, но все же потеря ощущения эпохи неизменно вызывает беспокойство.

Пока первый подсознательный порыв поскорее ретироваться сменялся гордым желанием противостоять засилью религиозного мракобесия, я заметил, что не одинок в своем святотатстве. На задней площадке, спиной ко мне, ухватившись за стойку, беспардонно болтался из стороны в сторону некий мужчина. Его испачканное весенней грязью пальто и смятая, съехавшая набок шляпа демонстрировали полное пренебрежение строгими предписаниями мудрых законоучителей.

Присутствие родственной души несколько ободрило меня, и я направился к нему.

Это был Броник, Бронислав, «композитор», как то ли презрительно, то ли сочувственно называла его моя бабушка, неразговорчивый обитатель нижнего угла нашего минского дома.

Он действительно имел некоторое отношение к музыке, половину его комнатухи занимало охрипшее пианино, из которого по ночам разливались с годами ставшие привычными мелодии. Неоспоримые атрибуты интеллигента: очки, длинноватые, слегка слипшиеся светлые волосы, портфель и, главное, неизменный ежедневный галстук вполне оправдывали его снисходительно-высокомерное отношение к своему местечково-пролетарскому окружению. В его рассеянном «Здрсссе», которое он просвистывал в ответ на старательное приветствие ближайших соседок, вечно испуганных старушек Аси и Хеси, ощущалось плохо скрываемое благородство, одобренное картонным душком провинциального снобизма.

В моем неотягощенном знаниями отрочестве Броник олицетворял истинного представителя богемы, о которой, мечтательно глядя в потолок, говорила в минуты ко мне расположения Доба. В его отсутствующем, равнодушном взгляде мне чудилась погруженность в таинственные глубины звуковых гармоний, его неопрятный холостяцкий закуток, в который я однажды, еще до появления Вики, случайно заглянул, казался уединенной кельей художника, ушедшего от мира и посвятившего свою жизнь искусству.

Ночные разливы пианино наполняли дом загадочным дыханием творческого процесса, скрытого от людских глаз и потому еще более значительного.

Смущали меня только его руки, беззвучный язык которых благодаря нашей с бабушкой ночной тайне стал для меня неосознаваемым ориентиром в восприятии окружающих меня людей. Короткие, невыразительные пальцы с несвежими широкими ногтями было как-то трудно представить прикасающимися к трепетным клавишам, малоподвижные ладони, наполовину скрытые рукавами, вызывали легкую неприязнь. Я старался не придавать этому значения.

Меня он как-то не замечал. Поэтому необычным показалось мне то, что наша неожиданная встреча была воспринята им, как нечто само собой разумеющееся.

Впрочем, мной тоже.

— А, это ты — он воспринимал меня по-прежнему, подростком — Ио-осиф прекрасный!

Букву «о» в моем имени он пропел довольно длинно, и мне слышалось в этом гораздо больше дружеских чувств, чем былого высокомерия.

Гораздо более удивительным было другое — Броник был совершенно, что называется в стельку, пьян. Такого за ним не водилось никогда, Доба в порыве благородного просветительства неизменно внушала невменяемому от политуры Степану, с кого тому следует брать пример.

— Как дела, старик? — не требующий ответа вопрос, обращенный то ли ко мне, то ли к испуганно смотрящей на нас женщине в строгом, слегка покосившемся от неприязни парике, легко создал между нами непринужденную атмосферу шестидесятых годов прошлого века.

Я и не собирался отвечать, а Броник, подмигнув женщине, видимо, вопрос все-таки был адресован ей, лихо мотнулся в сторону — автобус круто поворачивал.

Видавшая виды шляпа моего приятеля так же лихо слетела с его головы и покатилась к ногам благочестивой дамы. Та, тихо вскрикнув, на удивление резво поджала ноги в непроницаемо черных чулках и напряженно замерла в этой позе, словно это была не шляпа, а некошерный тарантул, прибежавший осквернить ее вековую галахическую чистоту.

В автобусе наступила звенящая тишина. Он даже, кажется, остановился.

Броник со вздохом оторвался от спасительной стойки и, улыбаясь, широко расставляя ноги, направился к женщине. Присутствующие замерли.

Он размашисто наклонился, в несколько попыток все же поймал шляпу и звучно, от всей души, пукнул.

Когда он выпрямился, на его лице отразилось явное недовольство исторгнутым из его глубины звуком, видимо, его музыкальный слух был несколько оскорблен.

Вернувшись к обжитой позиции у стойки, Броник доверчиво посмотрел мне в глаза сквозь покосившиеся очки и так же доверчиво произнес:

— Ну, нервы, бля! Ни в пизду! — и заплакал.

Ни в одном из пассажиров ни одного автобуса на свете он не встретил бы в этот момент такого понимания, как во мне.

Когда мы с ним вышли из трамвая, грустно проскрежетавшего нам вслед, было уже совсем темно. Дом был недалеко, Броник говорил без умолку, под ногами хрустела прихваченная ночным морозцем весенняя слякоть, и мы кружили и кружили по кривым минским улочкам.

3

Броник говорил без умолку, и его лишенный хоть каких-нибудь признаков композиции монолог рвал мне сердце. Я по привычке уперся глазами вниз, где мои ботинки в полупрозрачной морозной темноте жили своей, размеренной, далекой от пылающих вверху страстей жизнью и практически безуспешно пытался уподобиться им и быть сколь возможно безучастным к тому, что истерично, с пьяной театральной патетикой врвалось в мои уши.

Человек, дорвавшийся через годы молчания до Стены плача, а именно ее роль отвел мне мой страстный собеседник, напоминает дом, жильцы которого, готовясь к переезду, торопливо упаковывают нажитый скarb. Вещи свалены в невообразимом беспорядке. Среди громоздких, составляющих наибольшую драгоценность шкафов, диванов, сервизов — мешки пропахших нафталином тряпок, связки давно не читанных книг, безликая поломанная кукла, подруга детства, проваливавшаяся в чулане не один десяток лет, и пожелтевшая, слегка измятая фотография из пионерского лагеря, на которую, сидя на полу, среди всего этого натюрморта, забывший о спешке хозяин роняет ностальгическую слезу.

Речь Броника подавляла своей беспорядочностью. Среди однотонного завывания вдруг вспыхивали неожиданные альтерации, короткие нелогичные паузы пугали ощущением падения в пропасть, нецензурные слова, неумело, коряво вставленные в текст, царапали слух и гулко отражались в окнах, с любопытством нависших над переулками.

Я невольно фиксировал отдельные эпизоды.

Безрадостное детство в провинциальном городке, правильный, немногословный отец, методично приучающий любимым флотским ремнем к баяну. Незаметная анемичная мать. Зажиревший на связях директор филармонии, не способный отличить, если не ошибаюсь, бемоля от мажора, а может быть, наоборот. Толстая, вечно недовольная и, естественно, бездарная солистка, не понимающая тонкости его, Броника, аккомпанемента, желчный конферансье, доминирующий своими сальными шуточками.

Музыкальное училище, тоненькая, не понятая никем учительница сольфеджио, ночные подростковые страсти по ней, два-три

неотправленных стихотворных письма с пространными цитатами, исполненными тут же, с печальным патетическим подвыванием.

Захолустные гостиницы, гастроли – ха-ха-ха (это он) – агитбригады по не существующим на карте городкам и колхозам, ежевечерние пьянки тощих мастеров – ха-ха (опять он) – разговорного жанра и спортивно-музыкальных композиций. Прожженный администратор, таскающий к себе в номер неприхотливых голенастых танцорок.

И, наконец, симфония, задуманная еще в детстве, гениальная, пронизанная потрясающей темой, пропетой незамедлительно ужащающим фальцетом в гулкой акустике одного из каменных закоулков, оценить достоинство которой мне, признаюсь, не удалось.

Недоступная и потому спасительная тарабарщина непереводимых музыкальных терминов позволила мне немного передохнуть, мой, безразличный к непонятному языку слух лишь иногда вздрагивал от восклицаний: «А тут, скрипочка, скрипочка! А-а-а»; «Здесь, представляешь, фаготик! У-у-у!... И литавры-ы-ы!»

Литавры я оценил.

Весь этот эмоциональный винегрет, в общем, можно было бы как-то вытерпеть, если бы не совершенно невыносимый рефрен, коим Броник периодически взрывал свой и без того чересчур страстный монолог. Несколько раз в совершенно неожиданных и, по моему, композиционно неоправданных местах он вдруг останавливался и, обернувшись ко мне, протяжно вскрикивал:

– Я убил ее! Убил насмерть! – этот крик кинжалом впивался в мои внутренности, потому что я знал, о ком идет речь.

Когда отзвучали литавры и истерическое фортиссимо сменилось доверительным пиано, речь Бронислава приобрела гораздо более удобоваримую форму. Мне пришлось опять включиться.

– Я увидел ее в первом ряду, на концерте, в каком-то, не помню названия, уральском городке. Аделаида, солистка, никуда не годное сопрано, привычно мучила «Соловья», а она смотрела только на меня, и на ее лунообразном лице сияло искреннее восхищение. В тот вечер я был в ударе, по собственной инициативе исполнил на бис «Лунную» – моя коронка – на ее щеках сверкали слезы.

Потом был ее букет трогательных васильков, хождение по кривым, похожим на минские, улочкам, пара бокалов местного шампанского в привокзальном ресторане, робкие ее вопросы о сущности искусства и пространные его пассажи на вечные темы, сопровождаемые, для пущей убедительности, неумелой рукой на ее гибкой талии. Ее преданность музыке, задыхавшаяся в примитивных потребностях детского сада, где она работала, окрашивала явление столичного маэстро в мистические судьбоносные тона, и пока он, торопливо пыхтя и отрывая пуговицы, боролся с непостижимым, издевающимся бюстгальтером, она не отрывала от него доверчивых вишневых глаз.

На послезавтра они поженились, и дальнейшая история разворачивалась на глазах нашего не избалованного новыми лицами дома.

Она появилась в нашем ковчеге одним майским вечером, когда полыхающая во всех палисадниках сирень окрашивала воздух пьянящим туманом. Дом развернулся к ней всеми своими окнами, заполненными полусотней удивленных глаз, чья-то рука с костяшкой домино застыла в воздухе, а неестественно постройневший

Броник, тяжело продвигая в узкую дверь огромный, обшарпанный чемодан, громко пропел оторопевшим соседкам Асе и Хесе: «Виктория. Жена». Эти первые за последнюю сотню лет человеческие слова, услышанные от него сестрами, настолько их возбудили, что они, не умолкая, на непривычном для них русском продолжали лопотать приветствия и пожелания счастья в уже закрывшуюся за молодоженами дверь.

– Я убил ее! Я убил ее совершенно насмерть! – очередной вскрик маэстро вывел меня из оцепенения, в котором я вспоминал первые идиллические минуты явления Вики в нашем доме.

– Почему? – глупо спросил я. Глупо, потому что причина мне была известна.

– Она с ним, с этим Жорой, с этой безмозглой скотиной! – дальше полились неказисто сколоченные, непечатные словосочетания, исполненные в духе крещендо.

– Но это же неправда, сплетни... – мне хотелось дружески обнять его за плечи, но угнаться за ними, летающими из стороны в сторону не удалось.

– Она сама мне призналась! Мерзкая провинциальная потаскуха!

– Может быть, она пошутила? Чтобы тебя разозлить? – более идиотской фразы нельзя было придумать. Броника эта тупая версия абсолютно не впечатлила:

– Я ей: как ты могла, он ведь таксист! – слово «таксист» он не прокричал, а выплюнул, – где твоя женская одухотворенность?

– А она? – воистину, ум отказал мне напрочь.

– Молчит, мегера! Только глазами своими, пуговицами, сверкает. Я в них Бетховеном, в глаза эти бесстыжие!

Продолжение рассказа напоминало милицкий протокол, исполненный в обнимку с водосточной трубой блеющим подростковым фальцетом, прерываемым размашистым вытиранием обильной смеси слез и соплей.

Виктория предложила обсудить все спокойно, достала из-под крышки старенького пианино бутылку водки, два граненых стакана со следами утреннего чая ждали на столе.

Когда она вышла принести из крохотной дощатой пристройки-кухоньки чего-нибудь закусить, Броник (сам не знаю, как это получилось!) бросил в ее стакан щепотку крысиного яда, который накануне дал ему добрый филармонический завхоз в ответ на доверительный рассказ про засилье грызунов. Яд лежал тут же на столе, в бумажном пакете, и ждал выходного дня, наиболее свободного для праведной борьбы с вредителями.

Бутылку закончили лихорадочно, большими порциями, оба молчали, слова застревали в горле, когда допили последние полстакана, Вика встала, доверчиво, как когда-то у гостиницы, посмотрела на мужа, полушагнула и, выдохнув, рухнула на продавленную тахту. А он, широко ступая непослушными ногами, бросился вон.

– Я убил ее! – он смотрел на меня стекающими по лицу остатками заплывших глаз и ждал, что я буду оспаривать его трагическое умозаключение.

Но я не собирался его переубеждать, потому что то, что чувствовал в этот момент я сам, и то, что рассказал мне мой давний друг Шрейтеле, было гораздо трагичнее.

4

Броник оторвался от водосточной трубы, взмахнул крыльями пальто и впорхнул в ближайшую арку, которая, услужливо разинув непроглядную пасть, проглотила его с хрустом удаляющихся шагов.

Я двинулся дальше, ноги в простых, кумранского покроя, сандалиях сами выбирали дорогу. У края вади, отделяющего южную окраину Иерусалима от Вифлеема, было, как всегда, ветрено, монастырь на противоположной стороне угрюмо мигал в густом воздухе тусклыми огнями.

Она шла рядом, иногда касаясь упругим плечом.

– Скажите, Виктория, ну почему?.. – я впервые за время нашего знакомства проговорил ее полное имя. Остроугольно-строгое, оно, это имя, никак не вязалось с ее лунообразным, мерцающим в полумраке лицом и теплым запахом, который я ощущал всем своим нутром.

– А помнишь? – голос ее отливал волнующим бархатом, – ...шли вдвоем, сквозь спящий городок, парень со спортивной фигурой, ха-ха-ха, и девчонка, ха-ха, хрупкая натура, дальше не помню, ну там не важно. Точно, как мы с тобой...

– Но вот там же Он, – я махнул в сторону мерцающих на горе огней Вифлеема. – Он сказал: не прелюбодействуй, подставь вторую щеку и что-то еще. И войдешь в царствие Божие.

Мимо прошелестел одинокий автомобиль.

– А знаешь, – она повернула ко мне мечтательно выстроенное лицо, – я больше всего люблю Новый год. Кто-нибудь одевался Дедом Морозом, мы здорово напивались и купались голые в снегу. Это было так...

– Ну почему ты вышла замуж за этого несчастного композитора?

– Знаешь, три раза в неделю: «Мы встали очень рано, мы в детский сад идем, и всех мы поздравляем с великим Октябрем». Мои пальцы забыли все остальные аккорды, эти песни брнчали у меня в голове даже по ночам. А он такой интеллигентный. Все наши парни «хуй» да «хуй», а он – «пенис», и целоваться даже не умеет.

Я смотрел на нее во все глаза, я еще никогда не видел ее так близко. Было утро, бабушка послала меня к ней за спичками.

– Вика, вы знаете, этот Жора, он ведь злой, он с разными женщинами, он еще и злой к тому же, – мой голос не слушался совсем, – а вы с ним сидите и разговариваете.

– Ты мой рыцарь, – она неторопливо разжигала керогаз в их крохотной прищлепке-кухоньке, – ты мой прекрасный Дон Кихот.

Ее короткий, не первой молодости халатик был, кажется, совершенно прозрачен, глаза мои никак не могли выбраться из таинственно мерцающей пропасти, открывающейся за расстегнутой верхней пуговкой. Мелькающая в разлете светящаяся белизна бедра ослепляла.

Я издали наблюдал, как истово она молилась, стоя на коленях у посмертной плиты Иисуса в храме Гроба Господня. Мои глаза непостижимым образом выделяли ее из разноцветной массы неисчислимых паломников. Когда она вышла и, слегка съехившись, взяла меня под руку, лицо ее бережно хранило следы слез.

– Просто он забавный, – проговорила она, – грубый, но забавный, на рыбалку меня возил, про армию рассказывал так смешно, у них старшина... а Бронислав вечно какой-то беспокойный...

– Но ты же замужняя женщина! – это были не мои слова, я их где-то прочитал, и у меня вырвались.

– Смотри, совершенно черные негры, они что, тоже в Иисуса верующие?

– Но он же твой муж, а ты же ему изменила!!!

– А помнишь? – она была просто напичкана стихами. – Пусть любовь начнется (протяжно), но не с тела, а с души, (возвышая голос), вы слышите, с души, ха-ха-ха.

– Так что, у тебя с Жорой, началось с души?

– Ты этого не поймешь, – она крепко прижалась к моей руке упругой грудью и жарко выдохнула эти слова мне в лицо. На задворках ее дыхания слегка маячил запах лука, – ты же у нас такой то-онкий.

Слово «тонкий» она обидно и длинно пропищала.

– Любовь, это когда родство душ, это когда прикосновение ладоней, это когда губы шепчут в темноте любимое имя, – я цитировал написанное и неотправленное ей письмо, которое доверил только горбуну-Володе, хранителю моих душевных тайн, чтобы исправить орфографические ошибки. – Нет, поминутно видеть Вас, повсюду следовать за Вами... – далее с выражением и без сокращений, – ...бледнеть и гаснуть, вот блаженство.

– А директор нашего детского сада тоже писал мне стихи. Вот послушай, – опять цитата, меня это, признаться, немного раздражало. – Ты – моя рваная рана, ты – моя острая боль, как же там дальше... ну, короче, ты на ней горькая соль. Также подделывался под Пушкина. Старый такой, а туда же, жена его у нас завхозом.

Мы сидели в темноте уютного минского дворика. С деревьев, гулко хлопаясь о землю, падали созревшие осенние каштаны, рассыпались и катились к нашим ногам.

– Ну, Жора, ладно, но его поганые дружки, – голова моя кружилась от жарких картин животного надругательства над ее священной плотью.

– Знаешь, моя подружка, ха-ха-ха, правильная вся такая, залежавшаяся, ха-ха-ха, целка, – я смотрел, не отрываясь, на ее нежный профиль, очерченный светящимся контуром, – когда лишилась, наконец, этой, ха-ха, достопримечательности, сказала: «Ну, что ж, счетчик снят, поехали!» И понеслась... ха-ха-ха...

Во всех палисадниках полыхала сирень, майские вечера утопали в ее аромате.

Мои утра начинались с того, что, наскоро проглотив завтрак, я усаживался с книгой на ступеньках лестницы против ее двери, и, старательно изображая внимательное чтение, ждал, когда она появится.

Ася и Хesia, со своими ежеутренними славословиями моему прилежанию, дружно выносили свои старые косточки на майское солнышко.

И ожидание, ожидание, вознагражденное считанными минутами восторженного лицезрения ее хозяйственных перемещений.

– А помнишь... – она взяла меня за руку. Рука была холодна, над ухом трепетал на ветру нежный локон, слегка тронутый сединой. Мне хотелось уйти. – Была у меня любимая книжка, «Джейн Эйр» называется. Мне очень хотелось, чтобы ты ее прочитал. Ты бы тогда все понял. Когда Бронислав Казимирович вышел на пенсию, он прочел ее, наконец, и даже плакал.

Ее прикосновение еще долго хранилось на моей руке холодным пятном.

5

Каждый раз, когда я возвращаюсь к этому эпизоду, он представляется мне образцом компактной групповой фотографии, где множество персонажей умело скомпонованы в удивительно крохотном пространстве. С одной лишь разницей, что глаза присутствующих обращены не в объектив аппарата, а прикованы к лежащему на тахте безжизненному телу Виктории. За исключением, конечно, Степана, который храпит на пороге, его впалая безвольная грудь судорожно вздымается под потертым, с чужого плеча, пиджаком, надетым на голое тело. Медаль «За победу над Германией» мелодично позвякивает в такт дыханию.

На пианино, взгромоздившись на него с ногами, сидит Моня. Он, как всегда, согнувшись, уперся в книгу, его свисающие пейсы покачиваются в такт чтению. Уж не кадиш ли он читает?

Рядом с ним горбун-Володя, не отрывает огромных синих глаз от Вики.

Потный, в расстегнутой рубаше, Жора уселся на стол, по которому топчется его визгливая семи-восьмилетняя дочка. Тут же, в его ногах, похожая на распухший батон, тонконогая Жорина собачонка.

У изголовья, рядом с бабой Симой, тощая Доба, а в углу, в узком промежутке над печкой, видимый только мне, примостился Шрейтеле.

Ну и еще я. Не хватает только хозяина, Бронислава, он второй день кружит по ближайшим переулкам.

На выцветшей, в бледный зеленый горошек подушке лицо Виктории почти не выделяется. Доба периодически щупает ее пульс, чмокает и продолжает говорить.

Когда я, переступив через Степана, вхожу, сидящие рядком у изножья Ася и Хеса синхронно поворачиваются и хором лепечут:

– Йоселе, – так меня называла бабушка, и они вслед за ней, – зи из гешторбн¹.

Эта впечатляющая композиция очень подошла бы для того, чтобы подробно представить каждого из действующих лиц, но, к сожалению, все звуковое пространство занято Добой. У нее бенефис сегодня, как и всегда, когда что-нибудь случается, и в ее распоряжении оказываются покорные, беззащитные уши, которые она, от всей своей настрадавшейся души, щедро наполняет всем, что только могут исторгнуть ее неутомимые уста.

А могут они многое. Доба – одна из тех одаренных импровизаторов, которым нужно только произнести одно-два вводных слова, а дальше, дальше слушателям нужно было только запастись терпением.

Обычно, оказываясь внутри этой картины, я застаю тот момент, когда локомотив ее монолога уже разогрелся и набрал ход. Я понимаю это по яркому развороту любимой Добиной темы, красной нитью проходящей через ее неподражаемое мировоззрение.

– Женни Маркс, – восклицала она, сверкая гневными глазами на истощенном семидесятисемилетней борьбой лице, – Женни Маркс никогда не позволяла детям шуметь и баловаться, когда папа, Карл, работал. Потому что знала, над чем и для кого он это делает.

¹ Зи из гешторбн (*идиш*) – Она умерла.

Надо сказать, что Женни Маркс, жена небезызвестного борца за счастье пролетариата, была для Добы приблизительно тем же, что Рамбам для Мони. То есть образцом во всех отношениях. Совершенно неожиданно для многих, включая, несомненно, и саму боевую подругу пламенного теоретика, оказалось, что она, Женни, не только имела, но и повсеместно публично высказывала свое мнение по самым разнообразным жизненным вопросам, подобно многим незабвенным вождям вышеупомянутого гегемона.

– Женни Маркс никогда бы не оставила на плите немытую сковородку, – кричала она, обращаясь к Володе, который снимал у нее койку за шкафом.

– Женни Маркс не советовала класть так много сахара, – бросала она оторопевшим Асе и Хесе, варившим варенье в своей клеутшке при неосмотрительно открытой двери.

– Она одевается скромно, но элегантно, – это был бесценный комплимент Виктории, только-только появившейся в нашем доме, – почти как Женни Маркс.

Не знаю, был ли у Добы цитатник, записанный благодарной рукой кого-нибудь из освобожденных пролетариев, или неповторимая Добиная память вмещала в себя необозримый арсенал Женниной мудрости.

– Бедная Женни, – горестно вопила она, стоя над спящим в луже на пороге своего подвала Степаном, – если бы она знала, на кого ее бедный Карл положил свое драгоценное здоровье, может быть, она смогла бы его отговорить.

В Минске ее звали Ревина Абрамовна. Это необычное имя, которое расшифровывалось «Революция во всем мире, для всего прогрессивного человечества – навсегда», присвоил ей ее минский отец, Абрам Шмулензон, непримиримый марксист-ленинец-сталинец, беззаветно преданный всем троим вместе и каждому из них в отдельности. Последние годы своей яркой жизни он был наипринципиальнейшим членом тройки ЧК и многих коварных врагов народа собственноручно отправил в очистительные горнила лагерей и расстрельных подвалов. Потом отправился туда сам, несколько, правда, удивленный, но непоколебимый.

Другой отец Добы, немногословный раввин Авраам Шмулензон, тихо, но настойчиво изучал Тору, не изменяя ей и ее предписаниям ни в сибирской ссылке, куда направился с женой и дочерью за приверженность религиозному мракобесию, ни в крохотной иерусалимской квартирке, где он, в конце концов, оказался в окружении трех-четырёх учеников, среди коих и почил.

Дочери он дал имя пророчицы – Дебора.

В нашем доме ее звали Доба, но это не мешало ей сочетать в своем характере качества обоих ее истинных имен. Доба всегда находилась в состоянии борьбы за что-то и с кем-то, а ее предсказания всегда поражали исключительно апокалипсической тональностью.

Дело в том, что враги Добы были повсюду, число их неуклонно росло, и, главное, они, не справляясь поодиночке, постоянно вступали между собой в преступный сговор.

– Знаешь, что они сделали? – я сидел на ступеньках, ожидая утреннего появления Вики. – Они украли у меня деньги из коробочки, а через неделю подложили их, видно совесть замучила, но в другое место.

– Представляете, Виктория, – с ней она разговаривала подчеркнуто церемонно, как с дамой высшего света, – они похитили мое любимое черное платье и перешили его на другой фасон. Какая наглость! Они что, не доверяют моему вкусу?

– Методов они не выбирают, – это бабушке, по секрету, – я еду в трамвае, и вдруг навстречу грузовик. Ну, ладно, вы хотите убить меня, но причем здесь остальные пассажиры? Они же живые люди! Они-то в чем виноваты?

Тайные службы, вероломно убившие ее минского отца, неутомимо преследовали Добу повсюду. Сговорившись с Моссадом, они переходили от примитивного, грубого рукоприкладства к современным способам облучения специальными новейшими лучами, способными вызывать инфаркты сердца, инсульты головы и мозговое помешательство ума.

– Они хотят лишить меня рассудка, – шептала она Володе, которого шкаф, отделяющий его узкую кровать от остальной Добиной комнаты, видимо, защищал от смертоносных чекистских лучей, и потому он резонно побаивался своей хозяйки. – Ни за что! Пусть лучше убьют меня, как убили моего папу.

В Иерусалиме тоже во врагах не было недостатка. Мало того, что завистники-ученики, это же всем понятно, отравили своего учителя, Добиного отца, они вместе с другими религиозными фанатиками коварно выманили и не вернули привезенную из эвакуации, еще очень даже приличную (!) цигейковую шубу, регулярно воровали из аптечки стрептоцид и цинично надкусывали приготовленные с вечера некошерные бутерброды.

– Они называют себя верующими, – кричала она, обращаясь к Моне, воспринимая его, без отрыва от чтения, ритмичное покачивание за знак полного с ней согласия, – надо еще проверить, что они там едят по ночам под одеялом!

Последнее их преступление, правда, непонятно, о ком шла речь, о коварных чекистах или не менее коварных пейсоносцах, последнее их преступление Доба красочно живописала, стоя над лишенным красок телом Виктории.

– Они специально подбросили мне в дом крысу, – Доба произнесла это торжественным тоном, словно к ней прислали Каменного Гостя, а это уже, по ее мнению, не лезло ни в какие ворота.

Ася и Хesia всплеснули руками, Жора оглушительно заржал.

– И что, ты убила ее? – радостно пропищала Жорина дочка, в очередной раз подпрыгнув на столе.

– Нет, она заговорила ее до смерти, – бросила баба Сима, выходя из комнаты.

– Ни то и ни другое, – Доба обвела всех победоносным взглядом, – крыса ведь не они. Она ведь животное, ее не обманешь. Она увидела меня и сразу поняла, что я хороший человек. Я ведь хороший человек???

Ася, Хesia, Володя и я энергично, как могли, закивали. Моня и до того кивал, уставившись в книгу.

– И что? – Жору эта изысканная методика живо заинтересовала.

– И она ушла, – Доба выдержала многозначительную паузу, что при ее даровании было труднее всего. – Ушла совсем, навсегда, безвозвратно.

Присутствующие, кто разочарованно, кто облегченно, вздохнули.

У изголовья тахты появилась возвратившаяся баба Сима, с пол-стаканом прозрачной, похожей на воду жидкости. Судя по восстановленному в дверях Степану, очнувшемуся от проплывшего над ним запаха, в стакане было спиртное.

Увидев лежащую без признаков жизни Вику, Степан прохрипел свое обычное «Жи́ды-ы...» и снова улегся на пороге.

– Открой ей рот, – тихо, но убедительно проговорила бабушка, обращаясь к Добе, – а свой закрой.

Та безропотно повиновалась. Содержимое стакана аккуратной струйкой пролилось меж безжизненных губ.

– Это что, водка? – привыкшая ко многим испытаниям раввиночестистская дочь была искренне поражена. – Женни Маркс никогда...

– Послушайте, Дебоуа, – Моня оторвал голову от книги, что делал в исключительных случаях, и привычным движением заправил непослушные пейсы за уши, – шли бы вы на хеу вместе со своей Женни и мужа ее пуихватили бы. – Моня с детства не выговаривал никакой буквы «р» и твердой «л», заменяя их кратким белорусским «у».

Возникла неожиданно приятная тишина.

На бледном лице Виктории медленно проступал румянец. Она открыла глаза.

Голова Шрейтеле над печкой исчезла.

6

Шрейтеле – мой собственный домовой.

Я придумал его в Минске, скорее, не придумал, а понял, как он необходим мне, когда посмотрел непревзойденную «Сказку сказок». Только там Юрий Норштейн увидел его маленьким волчком, появившимся из незатейливой колыбельной песенки.

Мой же Шрейтеле, имя его я узнал в Иерусалиме, прочитав несколько еврейских народных сказок, мой Шрейтеле – крохотный, не больше полугодовалого младенца, человечек с добрым морщинистым лицом, большими, мягкими, изящно вылепленными руками и короткими резвыми ножками. Придумывая его внешность, я был, видимо, далеко не оригинален, но во всем остальном он получился не похожим ни на кого.

Он легко вошел в мою жизнь, его осязаемое присутствие стало для меня совершенно естественным.

В Иерусалиме мы сошлись ближе, его драгоценная способность неумоимо, с живым интересом слушать все то, что варилось, иногда абсолютно беспорядочно, в моей голове, чудесным образом нивелировала трудность общения с внешним миром, которая с годами становится все заметнее.

Он искренне радовался моим успехам и неподдельно горевал о моих горестях. Звонко смеялся над моими шутками и, вздыхая, тосковал, когда накатывала тоска. Он почти ничего не говорил, только садился передо мной, готовый без усталости слушать и слушать.

У меня не было, да и не могло быть, от него секретов, мои тайные и явные грехи и грешки неизменно огорчали его, но в его слегка выпуклых, больших, в пол-лица, глазах, всегда светилось неизбывное прощение.

Было, наверное, забавно наблюдать, как он, сосредоточенно топоча по столу из стороны в сторону, вместе со мной напряженно искал слова для выражения переполнявших меня чувств в очередном письме к очередному предмету моей очередной влюбленности. Как восторгался найденному витиеватому словосочетанию и как, махнув рукой, легко, хоть и со вздохом, соглашался эту ахиною зачеркнуть.

Он восторженно замирал у моих «гениальных» картин, жал мне руку и восхищенно смотрел на меня подернутым слезой взглядом. Я ощущал себя великим.

Вместе со мной, сопя и чмокая губами, он тащил эти же картины на свалку, когда, спасибо Всевышнему, мне вдруг стала очевидна их непроходимая бездарность.

В моменты слабости и сомнения он преданно держал мою руку в своих больших теплых ладонях, готовый к любым последствиям ошбоков и заблуждений.

Когда, раздавленный проявлением позорной трусости, я не находил себе места, он бегал вокруг меня, то по-матерински глядя по голове, то по-мужски похлопывая по плечу.

Он навзрыд рыдал вместе со мной у могильной плиты, под которой упокоилось тело моего Мишки, старшего сына, и, вторя мне, ласково гладил мягкой рукой поверхность холодного камня. Потом, когда Мишка появлялся, иногда вместе с бабой Симой, Шрейтеле легко находил с ними общий язык, суетливо радуясь тому, что мы все снова вместе.

Я несколько не сомневаюсь, что в том далеком, светлом мире, где они сейчас обитают, он так же беззаветно предан им, как и мне.

Перевалив за сорок, вкусив многие прелести бесконечного плавания, я так же легко поселил его в своем минском ковчеге. Шрейтеле знал все обо всех его обитателях, но никогда ничего не рассказывал – уж очень стеснялся своей единственной слабости – страсти подглядывать. Он пытался помогать: то подкладывал на видное место давно затерявшуюся вещь, то стуком или треском предупреждал об опасности; колдовские возможности у него напрочь отсутствовали, но он старался делать все, что мог.

Это он, Шрейтеле, признался мне в этом однажды в жаркий иерусалимский полдень, он подменил пакет с крысиным ядом мешочком сахарной пудры, украденным у костлявой Жориной жены.

7

Когда Броник уезжал на гастроли, а случалось это частенько, меня охватывало беспокойство за Вику. Она представлялась мне одинокой незащищенной девочкой, похищенной и брошенной в дремучем лесу среди враждебной темноты.

В эти дни фантазии, хоть и не блистающие излишней оригинальностью, но осененные аскетическим целомудрием, переполняли меня. Я спасал, выносил, отстреливался, отмахивался, умирал, истекая кровью на ее руках и шепча из последних сил непременно значительную прощальную фразу. Эта фраза, произносимая, согласно замыслу, запекшимися от неравной борьбы губами, являлась, естественно, кульминационным моментом героического

сюжета и потому требовала максимального напряжения моих более чем скромных литературных способностей.

Она получалась то до обидного короткой, не вмещающей всю полноту моих чувств, то, обрастая подробностями, неправдоподобно удлиняла пространной проповедью процесс моего умирания, лишаящей его, этот процесс, необходимой драматической остроты. Виктория неизменно роняла горькие слезы на мое израненное тело – это было неоспоримой деталью каждого сценария, который в остальном перекраивался еженощно.

В качестве вражьей силы чаще всего выступал Жора и его друзья-таксисты, количество которых варьировалось в зависимости от способа, выбранного мной для их безжалостного истребления.

Постепенно на моей совести оказался не один опустошенный таксопарк.

Стоило мне соскочить со взмыленного коня, выбраться из бронированного автомобиля, отложить в сторону револьвер, шпагу или самурайский меч и встретить Жору в нашем крохотном, неприспособленном для скачек и погони дворе, постыдный, глубоко сидящий в животе страх возвращал меня к реальности.

Может быть, эти прозрачные безликие глаза, короткие, уверенно топчущие землю ноги, толстые, самодовольные, с рыжим пушком пальцы будили в моем подсознании образы, проросшие в мою память из памяти моих соплеменников, погибших в Минском гетто. А может быть, моя робкая местечковая сущность трепетала перед грубым, не знающим сомнений животным напором, исходящим от этого человека.

Я встречал его на рынке Маханэ-Еуда. Тяжеленная золотая цепь на мохнатой груди, плавно переходящей в выпирающий живот, сверкающие, не знающие стыда уголья глаз, громогласное единение с рыночной аристократией вызывали прежнее, сжимающее внутренности ощущение.

Не только я – перед Жорой робели все, даже изредка приходящий в сознание Степан.

Не боялась его только баба Сима. За свою долгую непростую жизнь она, видимо, уже свое отбоялась.

В остальном Жора чувствовал себя полным хозяином нашего дома и близлежащих дворов. Ася и Хesia при появлении его испуганно столбенели и с проворством, поразительным для их возраста и комплекции, исчезали за своей дверью. По вечерам он прогуливался со своей батонообразной собаченцией, неизменно поддевая встречаемых, или шумно выпивал со своими друзьями за грубо сколоченным доминошным столиком. Двор наполнялся громким чужим говором, сальными, пахнущими перегаром непристойностями. Иногда они вдруг угрюмо, по-пьяному дрались. Глядя из окна на неуклюже-размашисто летающие кулаки и окровавленные носы, я со стыдом чувствовал, как сердце колотится в моем горле.

Страх вырвался наружу и сковал меня железными тисками одним дождливым утром, когда я, укывшись отцовским плащом, расположился, как всегда, на лестнице, ожидая появления Виктории.

Мир обрушился в один миг – из ее двери, оглянувшись без осолоблого смущения по сторонам, выкатился Жора. Проходя мимо, он криво подмигнул мне:

– Ну что, еврейчик, – так он часто называл меня, – не простишь носик?

В тот момент мне казалось, что жизнь моя закончилась, но на самом деле, закончились мои утренние бдения и начались пропитанные ненавистью, напряженные поиски наиболее изощренного, медленного и жестокого способа убийства.

8

Видавшую виды землю Израиля трудно удивить новизной сюжетов, все они уже тысячи лет назад прописаны в Танахе, а уж о слезах, обильно пролитых здесь и повышающих соленость окружающих морей, слагаются песни.

Густой воздух Иерусалима требует обретения терпимости, иначе в нем можно задохнуться. Только окунувшись в него, можно спокойно воспринять то, что в плавании по протокам минских улочек, тоже достаточно напитанных соленым привкусом, воспринимается безысходной трагедией.

В Иерусалиме трагедия обратилась в обычный, даже несколько банальный сюжет, явленный мне в один из утомленных вечеров:

Шрейтеле, потупив глаза и жутко смущаясь: Когда Бронислав уезжал на гастроли, Жора, как бы невзначай, появлялся у нее за какой-нибудь надобностью. Ей было скучно, хотя, может быть, не более скучно, чем всегда. Она ведь женщина! Молодая!

Виктория, глядя прямо перед собой: Уезжал, не уезжал – разница лишь в том, что не приходил вечерами и не заставлял меня слушать свою бездарную симфонию. И не требовал «понимания» и не заводил бесконечные перепевы на тему «Художник и толпа». Ну, и я, конечно, в этой толпе. А как же! В первых рядах!

Жора, непечатные выражения по моей настоящей просьбе им же облагорожены: Я на нее сразу запал. Ладненькая, попка умненькая такая, меня такие, у которых чуть волосиков на ножках – очень заводят. И как ее этот хмырь захомотал? Бледная немочь!

Шрейтеле: Он ее в этот день на своей машине катал. А потом вечером с бутылкой вина пришел.

Виктория: Да, конечно, знала, что ему от меня надо. Про машину свою, про армию, анекдоты, а сам все норовит руку на коленку. Что с него возьмешь? Мурлин, ха-ха-ха, мурло. Только что-то во мне всколыхнулось. Запах от него, как от коня, а в животе чего-то защемило. Он, вижу, старается, однажды даже цветы...

Жора: Я ж не нахрапом – все-таки интеллигентная штука, я их сразу вижу. Такие, бывает, если в машину сядут – я с ними, как Лев Толстой, – пожалуйста, да извините, чтоб понимали – не лапоть. Как-то один, похожий на ее композитора, букет в машине забыл, так я ей... По-человечески...

Шрейтеле: От его одеколона я чуть не задохнулся. Она виду не показала, только немного сморщилась и рассмеялась. Потом, когда вино закончили, она за пианино... Потом он ее...

Виктория: О, Господи, ну и запах же от него! Я уж знала, чем закончится, пила не закусывая, чтоб опьянеть. Он опять анекдоты,

я за клавиши, надо, думаю, успокоиться. Не помню, что, кажется «Мурку». Он сзади подошел, ручищи свои под платье запустил, мне было все равно.

Жора: Я по-человечески – рубашку чистую, одеколончик. Пила уж как-то быстро, смутился я, пару анекдотов. Тут она за рояль, а мой-то товарищ из штанов рвется, как Чапаев, не могу больше. Подошел сзади и за грудки ее, нежно так, бабы это любят. Она и потекла...

Виктория: Было в нем что-то первобытное, и отталкивающее и пленительное, я поражаюсь сама себе. Что-то вырвалось из меня наружу и стало мной. Я словно неслась в бурном потоке и одновременно смотрела на себя со стороны.

Жора: С платьем и прочими лифчиками я вмиг разобрался – не впервой. Ну, хороша бабенка! Хоть интеллигентная, а при всех делах. Я ее под попку подхватил и по самые...

Виктория: Он вошел в меня и, показалось, перевернул все мои внутренности. Это было, как падение в Ниагару.

Шрейтеле: Я закрыл уши, не мог слышать, как она стонет.

Жора: Люблю я это дело, и бабы подо мной балдеют. Она, шалава, извивалась ужом, да и я увлекся, шуровал, как кочегар в топку.

Виктория: Когда пришла в себя, попросила уйти. Послевкусие отвратное, мутило. Потом уснула мертвым сном.

Жора: Уходи, говорит. Ну что ты, говорю, дело житейское, даже жалко ее стало, а она за свое: уходи, да уходи. Ну и ушел, ты ж понимаешь, композиторша!

Шрейтеле: Потом он приходил еще. Гастроли затянулись. Я видел, она страдала.

Виктория: Мне было невыносимо, но каждый раз, когда он лапал меня своими ручищами, та, другая, захватывала власть. А эта, которая наблюдала, кажется, хотела опуститься на самое дно унижения. Именно она-то и позволила ему это...

Шрейтеле: На это я смотреть не мог...

Жора: Ну, стал захаживать к ней. Ей в кайф, после своего-то музыкантишки. Небось не знал, что, где и куда. Только стал я замечать, что я для нее никто, ноль без палочки, бычок-осеменитель. Молчит все, будто говорить со мной не о чем, усменяется как-то презрительно, а подо мной стонет, как оголтелая. Нет, думаю, подружка, ты еще узнаешь, кто здесь на газ давит, и кто баранку крутит. Вдул ей как-то разок, поднял, сидит, в глазах туман еще. А я моего шершавого ей в губки интеллигентские. Ну-ка! Сморщилась, да ничего, приняла как миленькая. То-то же, лярвочка, знай наших!

Виктория: Сама не знаю, почему одновременно так противно и сладко было мне это унижение. Я презирала себя и упивалась своей ничтожностью. Потом тошнило.

Шрейтеле: В последний раз Жора пришел со своими друзьями...

Жора: В получку мы с Санькой и Колей-механиком, как всегда, решили сообразить. Дождина на дворе, а моя мегера, обычно тихая-тихая, а тут чего-то взъелась. Плюнул я, пошли, говорю, у меня тут неподалеку местечко есть. Ну и двинули к моей музыкантше. Приходим. Она тоже невесть какая веселая, однако, ничего, смолчала. Накрыли по-человечески, сели вчетвером. Допили пару пузырей, Санька сбегал за добавкой. И тут меня завело...

Виктория: Эта мразь приперлась ко мне со своими друзьями. Настроения никакого. От всего воротит. Весь день пробовала читать – не могу. Хотела разучить пьесу, не помню, какую, пальцы деревянные. Бросила. Тут они...

Шрейтеле: Он сказал своим друзьям, чтоб отвернулись, и потащил ее на тахту...

Жора: Она мне тихо так, Жора, не надо, пожалуйста. А меня это ее «пожа-алуйста» еще больше... Завалил ее на лежанку, трусишки в сторону, ножки врозь, и понеслась горбатая... Очень уж меня это, когда Санька с Колькой как бы отвернувшись. Отбарабанил на славу, а она молчит, только глазами своими возвышенными смотрит. Ну, стерва, думаю, погоди. Встаю и ребятам: А ну, парни, подходи по одному. Она – ножки сдвигать, ручкой прикрывается. Ку-у-уда! Лежать, милая! В общем, прошлись ребята по разочку, тут и я еще разохотился. Вот тебе, думаю, сучара, завершающий аккорд. Славная получилась симфония! Твоему и не снилось!

Виктория: Вот оно, думала, самое что ни на есть дно, глубже падать некуда. Ты хотела унижения, тварь, теперь ты знаешь, что это такое. Куда там песни Бронислава!.. Когда они ушли, сердце мое умерло. Я твердо решила все ему рассказать и покончить с этим навсегда. Назавтра он приехал, радостный такой. Долго, с подробностями рассказывал, как ему удалось достать чудодейственное средство от грызунов.

Шрейтеле: Назавтра приехал Броник, радостно щебетал, и с гордостью выложил на стол подарок – пакет с крысиным ядом.

Иерусалимский вечер плавно перетекал в ночь, ковчег, покачиваясь, направлялся в Минск, волны времени мягко ласкали его усталые, облупившиеся стены.

9

Бабушкины подружки Ася и Хesia относились ко мне, как к ближайшему родственнику. Их так и не узнавшие ни мужской ни материнской любви, иссушенные годами и лишениями сердца щедро, часто до смешного суетливо, изливали на меня свою нерастратченную нежность. Они постоянно норовили затащить меня к себе, в убогую девичью келью, угостить хоть чем-нибудь и шепотом, закрыв предварительно форточку, обсудить результаты своих неизменно тревожных наблюдений.

Они были навсегда испуганы с тех пор, как торжественные фанфары судьбы прозвучали над их чудом спасенными жизнями. В самом начале войны их странная семья – пожилые родители и их дочери, далеко уже немолодые девы, «тателе, мамеле, Хеське и я», в числе нескольких тысяч евреев, бежавших из Польши, оказались в советском лагере для беженцев. После некоторого времени томительной неизвестности – «ми спали на голом доске» – им было предложено выбирать: вернуться в восточную Польшу, перешедшую по известному договору Советам, или отправиться в товарных эшелонах в Зауралье. Они, конечно же, выбрали Польшу, «пгавильно, там у тателе била сестгу».

И тут благословенное советское головотяпство, направляемое, несомненно, указующим свыше перстом, смешало карты судеб.

Те, кто стремился вернуться на родину, по ошибке были отправлены в Сибирь и уцелели, кроме умерших, как престарелые «тателе и мамеле», от голода и болезней. Те же, кто с энтузиазмом намеревался обживать далекие суровые края, отправились на запад и исчезли без следа в крематориях и газовых камерах.

С тех пор старушки, будучи уверены, что судьба не улыбается дважды, боялись всего на свете, а тем более Жоры, который очень напоминал им мордатых «бандитн» в военной форме, сопровождавших их эшелон. Баба Сима подобрала их, изголодавшихся, полуживых, на каком-то заброшенном полустанке по дороге из эвакуации и притащила под видом своих сестер в разрушенный Минск. С тех пор она стала для них непререкаемым авторитетом, как тателе и мамеле.

Рядом с ними я ощущал себя умным, сильным, уверенным в себе героем. Они с почтением внимали моим напыщенным рассуждениям о погоде, политике, проблемах школьного образования и, как две чеховские душечки, восторгались моими обширными познаниями, приговаривая восхищенно: «Мазл ин коп на этого кинделе»².

Снежные зимние дни сестры проводили у разрисованного морозными узорами окна, без конца перебирая чудом сохранившиеся фотографии – осколки безмятежной досоветской жизни, и, если я появлялся, неумоимо, поправляя друг друга, в который раз рассказывали о тех, кто давно уже остался жить только на этих пожелтевших картинках. Когда дом врывал в журчащие весенние улицы, они усаживались на солнышке, с любопытством глядя по сторонам, как две пугливые мышки, всегда готовые юркнуть в покосившуюся дверь своего убежища.

В Иерусалиме они старательно, преданно, ловя каждое слово, посещали еженедельные уроки некоего, известного лишь избранным тайноведа, чьи эзотерические проповеди представляли собой пеструю смесь искаженного до неузнаваемости иудаизма и махровой христианско-индуистской мистики. Старушки вели скрупулезные записи и при первом же удобном случае со многими пояснениями, наперебой посвящали меня в умопомрачительные откровения своего духовного водителя.

Я приходил к ним, чтобы обрести уверенность в себе и хоть немного отдохнуть от своего страха.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГОЛЕМ

1

Несколько дней углубленных размышлений над способом убийства Жоры привели меня к печальному выводу, что доступный мне ассортимент достаточно ограничен.

То есть, на самом деле, он огромен; героический кинематограф, бесчисленные блокбастеры, заполнявшие мое иерусалимское безделье, предоставляли широчайший выбор самых изысканных моделей умерщвления разнообразных отрицательных негодяев, многим из которых по размаху злодейства Жора и в подметки не годился.

² Мазл ин коп на этого кинделе (*идиши*) – дословно: счастье на голову этого ребенка.

Но... своя рубашка ближе, мой не хуже других, и ему тоже было положено что-нибудь достойное.

Немало полезных сведений можно было почерпнуть из интернетовских публикаций на соответствующую тему. Шедевры заплочного искусства, испытанные веками и поколениями, доведенные до совершенства, примеренные на моего бедного соседа, нежно ласкали воображение. Особенно обаяла меня короткая публикация в разделе криминальной хроники. В какой-то глухой местности мужики, разуверившись в возможности властей установить справедливость, сами разобрались с серийным насильником, но подошли к делу творчески – неиссякаема народная смекалка – отрезали и запихали ему в рот срамное орудие его преступной деятельности. Талантливое, конструктивное решение на целый день завладело моими мечтами.

А бесценная китайская техника разрезания на сто двадцать частей! И чтоб на сто девятнадцатой еще жив! Это ж какой праздник торжества древней культуры!

Но, несмотря на искреннее восхищение фантазией, как народной, так и режиссерской, я с глубоким сожалением должен был признать, что ни одна из этих драгоценных жемчужин человеческого гения меня не устраивает.

Опыт советского кинематографа я отмел сразу. Ну что за радость просто застрелить, пусть даже не с первого раза, или там шашкой по горлу, или, даже думать не хочу, отдать под суд и приговорить к высшей мере. Даже сложенные все вместе, эти жалкие действия не утоляли и десятой доли жажды мести, переполнявшей меня. Колесование, закапывание живьем, четвертование требовали, во-первых, соответствующего оборудования, во-вторых, помощников и, в-третьих, что самое главное – неторопливой раздумчивости. Китайской же технике надо было долго учиться, а время не терпело.

От муравейника, акульих челюстей и прорастающего через анальное отверстие бамбука пришлось отказаться в силу отсутствия соответствующих природных условий. Методика капанья на темечко показалась мне длинной и малоубедительной.

С голливудскими идеями тоже была проблема. Тончайшее наслаждение, которое доставляли их затейливые, талантливо скомпонованные во времени способы убивания злодеев, омрачалось тем, что для того, чтобы воплотить в жизнь их греющие душу замыслы, необходим был хоть какой-нибудь, хоть захудалый заводик. С прессом, циркулярными пилами, хоть небольшая, но доменная печь, или, на худой конец, ванна с кислотой или расплавленным металлом. Я же, как Раскольников, мог рассчитывать не более чем на топор.

В общем, с реквизитом было сложно.

Банальное отравление вовсе меня не устраивало. Минут пятнадцать я смаковал сценарий, в котором Жора поедает именинный пирог, приправленный вместо сахарной пудры крысиным ядом, но когда Шрейтеле, потупившись, с виноватым видом сообщил мне, что высыпал чудодейственный порошок в отхожее место, я, признаться, испытал некоторое облегчение.

Разгул моей фантазии оборвался в один миг и совершенно неожиданным образом. Однажды вечером – все в моем рассказе происходит «однажды» и «вечером», словно подтверждая истинность

Моисеева откровения и для грандиозных деяний Всевышнего при сотворении Мира, и для поворотных событий в жизни незаметного человека, — однажды вечером, когда в палисадниках светилась сирень, желтоватый воздух был насыщен пылью, принесенной хамсином из Иудейской пустыни, а под ногами утробно чавкала рыхлая мартовская слякоть, я, конечно же, случайно, оказался у заветной Викиной двери. В период Брониковых гастролей я приходил сюда почти ежевечерне, было мучительно сладко раздирать эту незаживающую рану, прислушиваясь к характерным звукам, смысл которых был мне уже понятен.

В тот вечер меня ожидало нечто новое. У двери сидела, лежала, валялась, поджидая своего хозяина, безобразная Жорина собачка. Ее потрясающее уродство, несомненно, вызвало бы страдание, не будь она такой злобной. Видимо, занятый более важными делами, Господь поручил ее сооружение самому злему из своих подручных насмешнику, и тот уж постарался на славу.

Глядя на ее неправдоподобно разбухшее тело, студнем колыхавшееся на уморительно тонких ножках, на меланхолично размазанные по морде глаза, никак нельзя было объяснить трогательной привязанности хамоватого Жоры к этому шедевру уродства. Было странно наблюдать, как этот неумный грубиян бережно переносил свое сокровище через разлившиеся весенние протоки, как терпеливо ждал, когда она справит нужду или вскарабкается на бордюр. А этот ошейник, украшенный цветными стекляшками!

Была в этом какая-то тайна.

И она вдруг открылась мне в этот вечер, пропитанный ароматом майской сирени, насыщенный удушливым дыханием хамсина, среди раскисшей мартовской слякоти. Я вдруг поверил, вернее, совершенно явственно почувствовал, что в этом крохотном чудовище заключена Жорина смерть. Как смерть Кощея — в зайце, утке и яйце.

Необъяснимым образом эта мысль вошла в меня удивительно логично и просто, отдельные картинки легко сложились в одну ясную картину. Глядя с балкона на вечерний Иерусалим, я не мог понять, как такая элементарная догадка не приходила мне в голову раньше. Все так просто! Жорина тайна раскрыта! Оставалось только действовать.

Мощная улочка после некоторого сопротивления отдала мне подходящий булыжник. Сердце мое скакало от горла до паха и обратно. Ну что, злодей, справедливое возмездие настигнет тебя, когда ты, ничего не подозревая, самодовольно оскверняешь невинную чистоту и наслаждаешься своей безнаказанностью!

Собачонка, бессильно привалившись к стене, смотрела на меня. В ее заплавленных глазах не было ни обычной злобы, ни, что удивительно, страха, только какая-то непостижимая покорность, согласие с судьбой, которую определяют для нее непонятные людские страсти.

Рука моя с орудием справедливой мести застыла в пыльном ароматном воздухе.

В единый миг мои кровожадные фантазии разлетелись на мелкие осколки и утонули в мокром разомлевшем снегу. Ощущение собственного бессилия раздавило меня.

Я не могу убить!

Пистолеты, самурайские мечи, кислотные ванны, многозубые пылы рассыпались в пыль и растворились в вязком пустынном ветре.

Я не могу убить!

Я стоял, прислонившись пылающим лбом к холодным камням Западной Стены.

Господи, Ты дал мне силы, чтобы не убить.

2

Мой бесприютный ковчег плывет и плывет прочерченным чьей-то непостижимой рукой маршрутом в безысходных поисках укромной гавани, неизменно возвращаясь к призрачным берегам, мерцающим незнакомыми огнями и чужими мелодиями. Волны времени лижут его потрескавшиеся стены, то стремительно кружась в запутанных кривых переулках, то разливаясь пугающим меланхолическим безбрежьем, то замирая спрессованными пластами в неподвижном иерусалимском воздухе.

Потоки и штили, течения и круговороты смешивали часовые пояса, климатические зоны, но внутри, за усталыми стенами дома, царило собственное, неприкосновенное время, позволявшее моим спутникам не потеряться в неостановимом калейдоскопе красок, языков, запахов и дат. Хранителем времени дома выпало быть Степану.

Я впервые увидел его еще до войны, на вокзале, в толпе таких же чубастых парней и голенастых девчушек, сияющих неотразимыми комсомольскими улыбками, твердо нацеленных что-то покорить или что-то построить. С того же перрона отходил поезд с их темноволосыми ровесниками, направляющимися в Палестину создавать кибуцы.

Он вернулся с женой и двумя крохотными ребятишками, и с той же неотразимой улыбкой поселился в подвальной комнатке с окнами, едва выступающими над землей.

Из этого подвала мы провожали его на войну.

Я стоял рядом с ним в том жутком месте, где были расстреляны последние узники гетто, названного страшным именем «Яма». Его черноволосую красавицу-жену, потомственную казачку, местные ревнители чистокровия не выпустили из закрытой территории, и она вместе с детьми разделила печальную участь минских евреев.

Он только плакал, приговаривая свое неизменное «жиды-ы, жиды-ы». К тому времени он уже ничего больше не говорил.

Еще на фронте я понял, что это слово, ставшее впоследствии единственным в лексиконе Степана, выражало всю гамму его чувств по отношению к окружающим, независимо от пола, возраста и национальной принадлежности. В своих еще комсомольских странствиях судьба свела его с евреем Яковом, Яшкой, которого он, рано оставшийся сиротой, полюбил всем сердцем. Одной промозглой ночью, в продуваемом всеми ветрами бараке, они, надрезав себе ладони, кровно побратались. За «жида», сказанного брату, дрался неоднократно и безжалостно. Вместе вернулись в Минск, некоторое время теснились впятером в Степановом подвале, пока Яшка не получил койку в рабочем общежитии.

Вместе ушли на фронт, воевали плечом к плечу.

Когда война уже покатила на запад, и трагическую судьбу его семьи поведал Степану кто-то из уцелевших земляков, никого роднее Яшки у него на земле не осталось. Тогда, застыв в бесслезном горе у обгоревшего нашего дома, он впервые прошептал, обращаясь непонятно к кому: «Жи́ды».

Война перевалила через границу, когда в бою за безымянную польскую высотку шальная пуля угодила Яшке в голову.

Взвод распластался под шквальным огнем пулеметов. Заглянув в помертвевшие устремленные в небо миндалевидные глаза брата, Степан поднялся в полный рост и с ревом «Жи́ды-ы-ы!» бросился в атаку. Остальные поднялись за ним.

С тех пор он больше не говорил ничего, дошагал до Берлина, вернулся в наш дом, и лишь иногда, пробуждаясь от пьяного беспмятства, вываливался из своего подвала и, с ненавистью глядя в небо, завывал: «Жи́ды-ы, жи́ды-ы...».

Кормили Степана трофейные часы. Он пропил всю свою одежду, ордена и медали, оставив только, непонятно чем руководствуясь, «За победу над Германией» и этот громоздкий, швейцарских кровей, хронометр, который добыл где-то на вражьих дорогах.

Его часы всегда показывали точное для каждого человека время. Не знаю, как в постоянном Степановом пьяном забытии им это удавалось, но все жители нашего дома регулярно сверяли с ними ход своих часов, не доверяя ни курантам, ни сигналам, передаваемым по радио. Приходя в полутемный, пропахший плесенью подвал, чтобы обрести надежный ориентир во времени, мы оставляли возле священного механизма, как возле статуи могущественного божка, жертвоприношения – еду и питье, поддерживая тем самым жизнь нашего изредка приходящего в сознание жреца.

Потоки событий смешивались и бушевали снаружи, а внутри, за усталыми стенами нашего ковчега, царило свое собственное, обращенное к каждому, неприкосновенное время.

3

Я не находил себе места, непреодолимое стремление к справедливому возмездию боролось с подлым, холодным страхом, который охватывал меня каждый раз, когда сладостно воображаемый процесс торжествующего правосудия приближался к своей завершающей стадии – реальному воплощению приговора. Я с удивлением ловил себя на том, что неосознанно пытаюсь найти объяснение страшному Жоринскому преступлению, нисколько, конечно же, его не оправдывая, но перенося тем самым часть вины на целомудренную Викторию. Это было недопустимо, но чем глубже я погружался в анализ происходящего, чем скрупулезнее разбирал на молекулы мотивы поведения действующих лиц, тем призрачней становилась граница между тем, что про себя я определял словами «добро» и «зло». Виктория и Жора с его собачкой отходили в этом разливе философской мастурбации на задний план.

Среди многоголосых тысячелетних стен Старого города я незаметно для себя обретал ощущение объективного, смотрящего сверху на мирскую суету мудреца, невозмутимо находящего объяснение всему, что происходит под солнцем. «Что было, то и будет...», ну и

так далее, по тексту. Это было, особенно с цитатами, заманчиво, умно и, главное, спокойно. Судьбы народов, отдельных людей, воздаяние, царство небесное, Божья справедливость, карма йогов и тикун каббалистов легко укладывались во вполне убедительный, чрезвычайно привлекательный винегрет, достойный самого высокодуховного пищеварения.

Но стоя на дне «Ямы», возле скромного памятника расстрелянным узникам гетто, поставленного на собранные уцелевшими гроши, я чувствовал, как сердце мое разрывается от боли, ненависти и жажды возмездия.

Какое созерцание? Какой Экклезиаст со своей печальной мудростью, какой наипросветленнейший гуру сможет объяснить мне все это? И какими словами Господь, благосклонно принявший это многомиллионное жертвоприношение, оправдывает себя перед представшими пред его светлым ликом невинными душами?

Здесь Жоры, Сталины, Гитлеры с их мерзкими собачонками сливались для меня в единый, пугающий образ мирового зла, достойного лишь одного – безжалостного уничтожения.

Я не находил себе места.

Стремительно наступала осень. Баба Сима сосредоточенно готовилась к «Им кипер» – Судному дню, Доба вывесила на окне красный флаг – по улицам маршировали духовые оркестры первомайской демонстрации, Ася с Хесей проветривали на солнце тощие подушки и пестреющие лоскутами одеяла, а Броник с гордостью притащил в свою хибарку слегка облезлую новогоднюю елку, наполнившую весь дом душистым лесным запахом.

4

Разговаривать со Шрейтеле о том, что не давало мне покоя, было бесполезно, он оставался всегда со мной заодно, несколько при этом не смущаясь своим согласием с абсолютно противоположными точками зрения на одну и ту же проблему.

Баба Сима была непреклонна. Воспитанная в суровых традициях своей семьи, где женщине отводилась почтенная роль говорящей домашней утвари и неприхотливого сосуда для произрастания богоизбранного семени, она мыслила себя всегда не более чем ребром мужчины. Для нее шикселке³ Виктория была неоспоримо во всем виновата сама, да и вообще для этих гоим⁴ закон не писан, а потому и говорить не о чем.

Единственным человеком, которому я мог доверить свои душевные катаклизмы, был горбун-Володя. Сбежавший из многодетной семьи полуспившегося сельского ветеринара, он чуть ли не пешком добрался до Минска, поступил на физический факультет университета и, живя на одну стипендию, снимал у Добы узкую скрипучую койку за шкафом. В его несоразмерно большой голове, словно вколотенной по самые уши чьей-то злой силой в крохотное, тщедушное тельце, помещалось неимоверное количество знаний, которыми он,

³ Шикселке, шикса (*идиш*, часто употребляется с отрицательной коннотацией) – нееврейская девушка или молодая женщина.

⁴ Гоим (*иврит*, *идиш*) – неевреи.

скромно опустив глаза, делился со мной лишь в доверительных разговорах. Он знал все обо всем, но для меня гораздо привлекательней были его неопикуемой чистоты васильковые глаза, неизменно светившиеся добротой, изящные, большие, почти до земли, руки с длинными пальцами и продолговатыми мерцающими ногтями, и то бесконечное терпение, с которым он выслушивал мои заполошные монологи. Он был всегда взрослее меня – и в сиреневые вечера минского мая, и в редких прогулках по парку у монастыря Святого Креста, последнего пристанища великого Руставели, но никогда, ни одной своей интонацией этого не показывал.

Однажды в пыли угрюмого хамсина мы случайно столкнулись на Русском подворье, он выходил из церкви. В ответ на мое удивление Володя тихо признался, что давно верует в Христа, и это нисколько не противоречит постулатам современной физики. А даже наоборот.

В другой момент подобный симбиоз науки и опиума для народа поразил бы меня, но расспрашивать об этом не было времени, я был озабочен гораздо более важным – подозрительными телодвижениями Жоры вокруг беззащитной Виктории. Тут же, не отходя от храма, я принялся излагать Володе свои дедуктивные умозаключения и, не останавливаясь, перешел к планам справедливой мести, обильно раскрашенным кровью и стопами коварного совратителя.

Он слушал меня, не перебивая, его синие глаза превратились в две непроглядные бездонные пропасти, длинные пальцы судорожно охватили узкую грудь, словно удерживая в ней рвущееся наружу сердце.

– Никакая грязь не может осквернить ее чистоты, – проговорил он сдавленным голосом, когда я, задохнувшись, прервал, наконец, поток своих живописных фантазий.

Я остолбенел. Мне вдруг стали понятны его лучистые взгляды, когда в наших вечерних посиделках мы заговаривали о Виктории, пластика его изящных ладоней, когда он вдруг, ни с того ни с сего начинал читать на память сонеты Шекспира, окаменелость его позы, когда я вывалил перед ним свои мучительные подозрения.

Он, как и я, был безнадежно и тайно влюблен в нее.

Володя удалялся своей вихляющей походкой, постепенно растворяясь в киселе желтоватого воздуха, а я так и остался стоять в сиреновом аромате, струящемся из всех палисадников.

5

Когда Доба готовилась к встрече Первомая, находиться в комнате рядом с ней было просто невыносимо. Окно завешивалось кумачом, и в зловещем красном полумраке были явственно видны исходящие из ее тощей фигуры электрические разряды, подобные тем, что сопровождают явление высокоцивилизованных инопланетных гуманоидов.

В этот беспокойный период Володя старался приходить только на ночлег, незаметно шмыгнуть в свой уголок за шкафом, а утром, с первыми проблесками тусклого революционного рассвета, так же незаметно улизнуть. Тревожные предпраздничные вечера он коротал в полутемном подвале, гостеприимно распахнутом для каждого, кто нуждался в приюте.

Я же нуждался в мудром Володином совете. Столкнувшись с собственной постыдной беспомощностью перед воплощением грандиозного Вселенского зла в лице таксиста Жоры и его гнуснейшей собачонки, я терзался страхом и сомнением в том, что справедливость и добро вообще могут существовать в этом мире. Мир в моем представлении рушился, мне как воздух необходима была хоть какая-нибудь душевная опора. За ней, за этой опорой, я и отправился в пропахшие плесенью Степановы хоромы.

Полуразрушенная лестница – родная сестра всех на свете ведущих в подполье лестниц светилась во мраке зеленоватой слезью. В конце ее из-за занавеса темноты проступила незатейливая мизансцена, которую я неоднократно пытался перестроить – изменить освещение, передвинуть декорации, но она неизменно возвращалась к исходной композиции: Володя, забившись в угол, склонился над книгой, Степан в обычном своем беспамятстве, растянулся вдоль стены, уронив голову на священный швейцарский хронометр, а посреди комнаты на трехногом подобии стола Моня неуверенной рукой сосредоточенно пытался зажечь третью ханукальную свечу.

В нашем неординарном общежитии Моня был выдающейся личностью. Несмотря на обширную лысину и изрядно побитые седойной всклокоченные пейсы, он продолжал учиться в одной из иерусалимских ешив и все свободное от отправления естественных надобностей время посвящал изучению Священного Писания.

Его тихий, религиозный, незаметно умерший отец назвал его гордым именем Эммануэль, но с легкой руки его мамы, необъятной, страдавшей одышкой Баси, благословенна ее память, к нему приклеилось упрощенно-нежное домашнее прозвище.

Баба Сима называла его Монеле-каббалист, почтительно восторгаясь его исступленным прилежанием, и искренне сострадала бедной покойной Басе, которая, по бабушкиным словам, и в заоблачных райских куцах проливала горькие слезы, глядя с высоты, как ее таере зунеле⁵ скатывается «на плохую дорожке».

Моня почти не спал. Задолго до рассвета он повязывал тфилин и в своей крохотной каморке под лестницей зычно распевал молитвы, повернувшись лицом в сторону Храмовой горы. Потом, укрывшись талесом, бежал в одну из синагог, во множестве рассыпанных в запутанных переулках, окружающих рынок, а после до позднего вечера просиживал в ешиве за Торой, усердно вгрызаясь в ее непостижимые таинства.

Вернувшись с наступлением темноты в свою минскую обитель, Моня так же усердно напивался, не теряя при этом, о чем неоднократно с гордостью заявлял, человеческого облика.

Постоянным его собутыльником был Степан, и этому было несколько причин:

Во-первых, Моня не выносил «пьяных разговоров», а Степан был на редкость немногословен.

Во-вторых, напиваясь, Моня обязательно должен был поговорить на животрепещущие высокодуховные темы, и в этом смысле никого не считал достойным обсуждения сложнейших галахических вопро-

⁵ Таере зунеле (*идиш*) – дорогой сыночек.

сов. Степан же после второй рюмки впадал в свое привычное состояние, превращаясь в самого благодарного на свете слушателя.

И в-третьих, что самое главное, Моня не терпел вопросов и возражений. Любая попытка усомниться в истинности его рассуждений приводила его в бешенство. Степан, пока был в сознании, соглашался со всем, да и потом не прекословил.

Немаловажное значение имело и то, что со Степаном, и только с ним, в нашем доме Моня мог говорить на иврите, причем на иврите высоком. Мелодичные переливы древнего языка истекали из его затерянных в неухоженной бороде уст, завораживая торжественным неземным звучанием. Казалось, сам Господь послал ангела с небес, чтобы открыть своей убогой непросвещенной пастве пленительные тайны мироздания.

Приходя в раздражение, Моня начинал нервно теревить свои измученные усердными занятиями пейсы и незаметно для себя переходил на русский. И тогда его глубоко запрятанные эмоции, скованные строгими рамками священного языка, до обиды обделенного непечатными выражениями, вырывались наружу, одеваясь в живописные словосочетания, которыми так богат великий и могучий.

Моня сквернословил мало, как сказал бы Бабель, но Моня сквернословил смачно, и в этом его лингвистическое дарование проявлялось не мене ярко, чем при пытливом изучении Талмудических писаний.

Скромные познания в иврите не позволяли мне в полной мере насладиться изысками Мониных умозаключений, я в основном воспринимал его пространные речи как единую чарующую мелодию, но многогранную красоту его филологического таланта, воплощенную на русском, родном для меня языке, я, уж поверьте, мог оценить по достоинству.

6

Появление в вышеупомянутой мизансцене нового лица несколько изменило ее уравновешенно скомпонованный характер.

Володя захлопнул книгу и поднял на меня свои лучистые васильковые глаза.

Моня-каббалист зажег-таки свечу, певуче произнес соответствующее благословение и обратил ко мне удивленное лицо:

– Какого х...? (это на русском) – он запнулся, видимо, переход на другой язык не давался так легко, как казалось. Судя по всему, Моня решил, что я пришел нарушить его идиллию, разделить с ним его законную выпивку, или, не дай Бог, обсудить, как неоднократно, но безуспешно пытался, некоторые нюансы религиозных доктрин.

На Степана мой визит никакого видимого впечатления не произвел.

Возникла тягостная пауза, удержать которую было по силам лишь актеру высочайшего уровня.

Я не смог.

– Понимаете, – пролепетал я, обращаясь ко всем присутствующим, но в основном к Степану, – я не могу понять, почему...

А дальше... дальше в моем речевом аппарате открылся какой-то скрытый затвор, и меня, как Остапа Бендера, понесло...

Восстановить подробности моего страстного спича мне не удавалось никогда, это была чистой воды импровизация, но до того прочувствованная, что наблюдая за собой как бы со стороны, я с удивлением ощущал искреннюю веру в то, что говорю. Одновременно я улавливал совершенно незнакомые, не мои мысли, будто кто-то во мне, пользуясь моим голосом, вещал и вещал, а во мне, истинном мне, разрасталось сомнение: действительно ли я так остро переживаю то, о чем идет речь.

Начал я, естественно, с непростого международного положения. Это была проверенная опытом стартовая площадка, с которой я, видимо, неосознанно стремился взлететь, разогреться и развернуться в полную силу.

В мире неспокойно, экономический кризис в разгаре, наводнения, цунами, а тут еще свиной грипп. Земля – живой организм, нефть на исходе, экология... Когда дело дошло до Израиля, задышающегося во враждебном арабском окружении, Степан вдруг очнулся, несколько раз согласно кивнул головой, возмущенно прорычал «Жи-ды-ы!», выплеснул в рот стоящую наготове рюмку и отключился.

По его реакции я понял, что вступительная часть несколько затянулась.

Не помню, как, но, по-моему, не особенно напрягаясь, я перешел к теме одиночества творческой личности. Художник и толпа, ну и всякое такое...

Слушая себя со стороны, я отмечал пространные цитаты из памятного Броникова монолога, помню, пытался даже что-то пропеть, упоминал «скрипочку» и «фаготик», а в конце даже попробовал, как мог, изобразить мраморную статую Давида.

Давид помог мне плавно перейти к трудностям абсорбции, бесстыдству местных израильских бюрократов, неприятию русской алии и обмельчанию Кинерета.

Проблему засилья религиозных фанатиков мне пришлось опустить – я увидел, что нервная Мониная рука потянулась к истерзаным пейзажам – зато пространно коснулся возмутительного судебного процесса над моим другом поэтом Гершоном Трестманом, вопиюще несправедливо обвиненном в антиарабском подстрекательстве.

С обширными цитатами и комментариями к ним.

Переход к бытовому минскому антисемитизму дался мне непринужденно. Трех-четырёхминутная разработка этой темы показалась мне достаточной.

В заключении я, возвысив голос, сказал:

– А в то время, когда Броник был на гастролях, этот мерзавец Жора вероломно совратил его жену. Викторину. И еще издевался.

Опять наступила пауза. Мне необходимо было отдышаться.

– И за эту суаную шиксу ты сеуезным людям, – Моня многозначительно посмотрел на Степана, – два часа ебешь мозги? – и дальше на иврите: – *Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых и на пути грешников не стоял, и в собрании легкомысленных не сидел.*

– Так это же... – лимит моего красноречия был, видимо, исчерпан.

– И что ты хочешь? Чтобы мы сейчас, – он опять посмотрел на Степана, – бусили все и пошли бить его поганую моуду? *Знает Господь путь праведников, а путь нечестивых сгинет.*

– Негоже противиться злу насилеиом, – Володя проговорил эти слова тихо, но очень внятно, – зло порождает зло. Смирись. Господь пошел на крест, терпел и нам велел.

– Ой, я вас умоляю! – Моня сморщился, его кудлатая борода воинственно выпятилась вперед – это ваше хожд-е-ние босиком, это ваше «подставь втоуюу щеку», давно уже всем остоебуо, остосуау и остопи-зде-уо! *Око за око, зуб за зуб. Встань, Господи, помоги мне Бог мой, ибо Ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивым расшиб Ты.*

– Возлюби ближнего, как самого себя, – Володя говорил по-прежнему тихо, – прощает нам Господь, и мы прощаем врагов наших. Смирись и возлюби, и воздастся каждому по заслугам его.

– Так что же, значит, никто..? Значит, всегда..? – я чувствовал, как рушится моя последняя надежда.

– Ну, на хеу тебе эта необуезанная гойка? – Моня стал явно смягчаться. – Ну туахнули ее уазок-дуугой, ей же только на пользу. Ты же евуей. *И вы будете у Меня царством священников и народом святым.*

– Нет во Христе ни эллина, ни иудея, – Володя твердо стоял на своем, – все души страждущие пред Господом равны.

– Ну, вам-то пуивычно блядей в святые возводить, – Моня впервые ласково посмотрел на Володю, – а наш пауень, видишь, охуеу от уастуойства.

– Так что же делать? – пропавшее было красноречие вновь вернулось ко мне. – Вы здесь с вашими тысячелетними премудростями водку хлещете, а зло побеждает, зло может безнаказанно насилловать ни в чем не повинных женщин, детей и стариков? Тем более Викторию? Что, так и будете сидеть?

Моя реплика, несомненно, произвела впечатление, Степан встревожено приподнял голову.

– Ну, пуо стауиков ты буат, загнуу, – Моня в смущении почесал лысину. – Надо подумать. *Господи, направь меня в Твоей праведности против моих притеснителей, выпрями передо мною путь Твой.*

Это была уже третья пауза, но в ней происходило нечто значительное. Мы все – я, Володя и Степан смотрели на Моню, который самоуглубленно вертел пейсы, что говорило о глубоком раздумье.

– Нет дуугого выхода, – наконец торжественно проговорил он, – надо деуать голема.

Это была первая, на моей памяти, приличная фраза, произнесенная им на русском языке.

7

Идея ошеломила присутствующих, и в первую очередь меня своей простотой и конструктивностью. Ай да Монеле, ай да каббалист! Не зря ты отращивал пейсы и просиживал штаны за мудрыми книгами, твоя мама с полным правом могла бы тобой гордиться!

Как всегда бывает в подобных случаях, шевельнулась неприглядная мыслишка: почему же мне это самому не пришло в голову? Но тут же исчезла под напором открывшейся радостной перспективы.

Даже Володя не сумел сдержать восторга – одно дело, человек, коему заповедано непротивление злу насилеиом, а другое – бездушный глиняный мститель, безжалостно воздающий за страдания

невинных. Нам-то деваться некуда, уж напряжемся, наберемся терпения, возлюбим ближнего, а вот он, голем, он сполна покровитается за унижения и слезы женщин, детей, стариков и инвалидов.

Когда первые радостные эмоции улеглись, мы перешли к конкретным деталям.

Я, конечно, слышал о Пражском големе, которого соорудил великий мудрец, рабби Лива по прозвищу Махарал; сам Гитлер не решился войти на тот чердак, где неподвижные останки голема хранятся, по слухам, до сих пор. Но было это очень давно, и в чешской загранице, а самое главное – технологические подробности процесса покрыты туманом неизвестности.

– За техноуогию, буательники, уассуабтесь, – Моня утвердил этой фразой свое беспрекословное главенство в будущем созидательном действе, никто и не возражал, – мы тоже не пальцем деуанные! *Неоформленным видели меня очи Твои, и в книге Твоей записаны все дни, когда все сотворены будут.*

Оказывается, еще в начале тринадцатого века, другой еврейский мудрец, – Моня рассказывал это певуче, без нецензурщины, мечтательно устремив глаза в потолок, – оказывается, еще в начале тринадцатого века рабби Элазар бен Иегуда из Вормса (это такой был город) в труде «Тайны таинств» описал необходимые словесные и буквенные формулы и соответствующий мистический ритуал, сопутствующий созданию искусственного человека. Моня этот труд, предназначенный, естественно, для избранных, естественно, изучал и, естественно, понял, что к чему.

– Ваше деуо, хевуе⁶, глину месить, – завершил он свой экскурс в мистические инсинуации, – а остальное не для ваших кууинных мозгов.

Мы слушали зачарованно. Степан смотрел на Моню влюбленными глазами и периодически восторженно шептал: «Жи́ды-ы!». Когда же речь зашла о глине, он с готовностью, хоть и неуверенно, поднялся на ноги.

Володю «кууинные мозги» и перспектива в качестве подмастерья месить глину несколько не смутили, зато еврейская монополия на мудрость и тайные мистические знания, по-видимому, задела его нешуточно.

– В трудах великого Парацельса, – начал он, слегка запинаясь от волнения, – тоже есть описание секретного способа создания гомункулуса. – Голос Володи окреп, он заговорил как по писаному: – Если сперму, заключенную в плотно запечатанную бутылку, поместить в лошадиный навоз приблизительно на сорок дней и надлежащим образом намагнетизировать, она может начать жить и двигаться. По истечении этого времени субстанция приобретает форму и черты человеческого существа...

Моню это вопиющее нарушение субординации мгновенно привело в раздражение:

– Ну, допустим, умник, со спеумой у нас пуоблем не будет, – он бросил взгляд на Степана, – но, пока мы нашего голема будем соуок дней в говне деужать, этот меузавец весь дом пеуетуахает. *Да исчезнут грешники с земли, и нечестивые – да не будет их более.*

С этим резонным возражением нельзя было не согласиться.

⁶ Хевре (иврит) – друзья.

На том и договорились. Приступить решили в ближайший же вечер, на нашем чердаке.

Мы вышли из подвала с Володей, приближался рассвет, Моня помчался надевать тфилин; в безоблачном, чуть посветлевшем майском небе еще ярко сверкали звезды.

Володя молчал, глубоко вдыхая узкой грудью хрустальный иерусалимский воздух.

– Объясни мне, – медленно проговорил я, задумчиво глядя на мерцающие вдали разноцветные огни спящего города, – почему так? Вот у Эммануэля есть милостивый, всесильный, правда, непостижимый Бог, которому он молится с утра до вечера; у тебя – даже трое, Его сын, помоложе, правда, распятый, но зато воскреснувший, и тоже, как я понимаю, при немалых возможностях. А каждый раз, когда бедному человеку нужно восстановить поруганную справедливость, а собственных мускулов или смелости не хватает, приходится искать или придумывать супергероев, бэтменов и разных там шварцнегеров. Или големов. И потом со сладким трепетом ожидать, гадая в предвкушении, каким же затейливым способом будут изничтожены заранее обреченные, по-своему несчастные злодеи. Ты можешь мне это объяснить?

– Скоро Рождество, – после некоторого молчания произнес Володя, – а потом Новый год, каникулы, домой к своим хочу съездить, елку будем наряжать.

8

Слух о големе каким-то непостижимым образом распространился по всему дому. Лично я не говорил никому ни слова и мучительно пытался понять, кто же разболтал подробности нашего тайного ночного заседания. Наконец, методом исключения я пришел к выводу, что сделал это кто-то из троих: Володя, Моня или Степан. Все трое вызывали подозрения.

Степан разговорчивостью не отличался, хотя, кто знает, как может подействовать на человека то, что он с утра воодушевленно и безостановочно таскает на чердак глину с расположенного неподалеку кирпичного завода. Что поделаешь, о чудесах трудотерапии пишут и говорят повсеместно.

Моня совершенно непринужденно мог похвастаться кому-нибудь в своей синагоге, в перерыве между двумя молитвами. Как же такое вытерпеть – вознестись до уровня самого рабби Лива бен Бецалеля, и не сказать никому об этом ни слова. Извините!

Володя представлялся мне самым надежным, но и на него могли подействовать предназначенные Добе усовершенствованные гэбистско-моссадовские лучи, способные уже пронизать шкаф и проникнуть в прежде безопасный Володин угол.

После долгих и утомительных умозаключений я вдруг вспомнил, что иногда разговариваю во сне, и расслабился. Решил – пусть все будет, как будет.

С наступлением темноты жители ковчега потянулись на чердак.

Моня первым выбрался из своей каморки с прикрепленной ко лбу коробочкой, укрытый застиранным талитом, внимательно и деловито осмотрел звезды, проверил облизанным пальцем на-

правление ветра и удовлетворенно произнес нечто краткое, но неперебиваемое.

Ася с Хесей в нерешительности топтались у своей двери.

– Если вы собираетесь идти и лепить голема, – зычно прокричала им Доба, выходя из своего украшенного кумачом жилища, – так уже самое время таки идти.

Она была одета в неправдоподобно белую блузку с огромным, расшитым белорусским орнаментом воротником и красной ленточкой на гордо выпяченной тощей груди.

Старушки гуськом засеменили вслед за ней.

Володя появился тихо, со скромно опущенными глазами, и занял свое обычное место в углу.

Броник вошел с плохо скрываемым выражением брезгливости на чисто выбритом лице и с густо намазанными бриолином волосами, чинно ведя под руку Викторю. Она была несколько рассеянна, длинное, видимо, концертное, черное с блестками платье выгодно оттеняло ее грациозную фигуру.

Баба Сима – чепецахон⁷, я же должна тебе помочь, – пришла вместе со мной, как была, в стоптанных домашних тапочках и засаленном кухонном переднике.

Шрейтеле примостился под крышей, Степан, принеся последнее ведро и получив от Мони пару благодарственных рюмок, возлежал тут же, возле огромной, с полгрузовика, глиняной кучи.

Нависла торжественная тишина.

Эту сцену мне никогда не удавалось скомпоновать окончательно. Я рассаживал героев и так и этак, менял неизвестно откуда идущий свет, пробовал менять ракурсы – ничего не получалось. Композиция выходила рваная, неустойчивая, то чего-то не хватало в кадре, то что-то казалось лишним. Было нечто несуразное в этой разноликой группе персонажей, застывших в молчании, подобно Всевышнему над грудой первозданного земного праха, предназначенного превратиться в живую одухотворенную плоть.

– Ну что ебальники уазвесили, – Моня постарался как можно тоньше и торжественней начать процедуру, – лепить бы надо.

– Сначала надо придумать ему имя, – выкрикнула Добба, – у меня тут есть некоторые соображения. – Она вытащила из глубин бюстгальтера сложенную вчетверо бумажку.

– Дебора, если это зашифрованный манифест Коммунистической партии, – сказал я осторожно, – то, может быть, лучше не начинать?

– Я, конечно, могу и помолчать, – Доба обиженно запихнула бумажку назад в бюстгальтерные закрома, – но должна заметить, для неграмотных, что муж Женни Маркс был хоть дальним, но родственником вашего великомудрого Махарала, он-то объяснил бы вам, что я тоже имею право голоса.

– Простите, – неожиданно тонким голосом вступил Броник, – хотелось бы сначала услышать вашу концепцию. Каковы, так сказать, основные мотивы предполагаемого произведения?

– Какие, на хеу, мотивы, – Мониная рука потянулась к многострадальным пейсам, – когда тут каждая сволочь туахает всех по-

⁷ Чепецахон! (*идиши*; правильно: *чепец зех он!*) – отцепись!

дуяд, какая может быть кон-цеп-ция? Отпиздить засуанца, гуаз на жопу натянуть, вот и вся концепция.

– Но мы не можем в таком ответственном деле, – Броник не отступал, – руководствоваться столь узкими задачами.

– Посмотрел бы ты на свою задачу, – вдруг сказала баба Сима, – вейз мир⁸, на такую узкую задачу.

– Совсем не узкая у него задача, – хором прокричали Ася и Хеся, – вот именно, вейз мир.

– Не знаю, что вы имеете в виду, – бархатным грудным голосом пропела Вика, – но, судя по всему, вы собираетесь изготовить что-то грубое, с огромными бицепсами и огромным... телом.

– Ну, мадам, – с женщинами Моня всегда был изысканно любезен, – надеюсь, вы согуаситесь, что хуй ему без надобности.

– Он должен быть стройным и пламенным, – воскликнула Доба, – как Женни, только мужского пола.

– Конечно, – тем же грудным голосом; Виктория, – это должен быть элегантный, чистоплотный мужчина.

– И, кроме того, интеллигентный. – Броник торжественно оглянулся по сторонам. – Хватит нам в доме хамов. Я прав, дорогая?

– И чтоб не кгичали громко, – пропищали Ася и Хеся.

– И чтоб верил в светлое будущее человечества, – Доба.

– *Успокойтесь!* – Моня в раздражении путал языки, чего с ним раньше не случалось. – *Это будет хороший еврей, чтобы было с кем составить миньян.*

Композиция явно рассыпалась, заговорили все вместе.

Володя, опустив глаза, настойчиво бормотал что-то об аскетизме Иоанна Крестителя. Доба скандировала первомайские лозунги, размахивая оторванной от груди красной ленточкой.

Вика сердито отталкивала руки пытавшегося обнять ее Броника, уже фальцетом кричала ему о его вшивой интеллигентности и поломанном кране в кухне.

Степан испуганно вскочил и, почему-то молча, тряс головой.

Баба Сима безуспешно пыталась всех успокоить.

– Ну все, пиздец, мое теупение уопнууо, – Моня решительно грохнул кулаком по пустому ведру из-под глины, Бася на небесах, наверное, вздрогнула от гордости за своего решительного «зунеле», – лепите каждый, что хотите, а все остальное – не ваше деуо.

Последовала легкая пауза, и все дружно бросились оплодотворять глиняную массу.

Бабушка со своим «вейз мир» удалилась, ее размышления о справедливости давно уже завершились, так и не начавшись.

Степан предусмотрительно отполз подальше от кучи и со вздохом облегчения отрубился.

Я ходил среди обезумевших ваятелей и поражался энтузиазму, с которым эти люди, сами постепенно окрашиваясь в девственный цвет первородной глины, удивительным образом объединивший всех, самозабвенно воплощают в жизнь свой идеал защитника справедливости.

Моня задумал явно что-то грандиозное, соизмеримое с размахом Церетели.

⁸ Вейз мир (*идиш*; правильно: *вей из мир*) – горе мне.

Володя старательно пытался водрузить на две длинные палки, замысленные, видимо, как ноги, маленький круглый кочан глины, обернутый неизвестно где найденным куском колючей проволоки.

Ася с Хесей лепили маленькую, размером с детское ведро, подушечку с подозрительно большим количеством ручек.

Броник нервно лепил и сминал некие кубо- и конусообразные фигуры, напоминавшие колючие скульптуры Пикассо.

Виктория, стоя на коленях, бездумно погружала руки по самые плечи в постепенно тающую массу, и сосредоточенно рассматривала прилипшие к ним комья.

Между сидящими стремительно носилась Доба с тяжеленными кусками глины в обеих руках. Ее произведение содержало некий невыразимый порыв, не вмещавшийся в узкие рамки чердачного пространства.

Незаметно к нам, предварительно смущенно хмыкнув, присоединился Жора со своей собаченцией. Он деловито скатывал толстенные полуметровые колбасы и соединял их в какие-то замысловатые конструкции, напоминающие сборных пластмассовых человечков. Собачка радостно барахталась в мягкой глиняной жиже.

Я с тревогой, впервые за долгие годы, посмотрел на часы. Ночь подходила к концу, а всех этих големов еще предстояло оживить.

За посветлевшим чердачным окном приближалась осень.

9

Наступает ночь, наша узкая, похожая на пенал квартирka превращается в непроглядный омут, я ишу бабушкину руку.

– Бабушка, а Бог есть?

– Ой, чепецахоп со своими вопросами, спи. Не знаю.

– Моня ходит в синагогу молиться, Володя в церковь. Значит, Бог есть. Он живет в синагоге или в церкви?

– Вейз мир, этот Моня просто мишугинер ненормальный.

– Он умный, он все время читает.

– Умный! Слава Богу, бедная Бася не дожидает и не видит, как ее умный Монеле, идише мэньц!⁹.. сначала он идет в синагогу, а потом пьет с этими гоями, как последний биндюжник. Он думает, что Бог его так легко простит.

– А твой папа ходил в синагогу?

– Что за вопрос, конечно! Папа вставал в четыре утра, завязывал тфилин, а как же? Такая коробочке, сюда на лоб, и сюда, на руке, а как же?

– Значит, Бог есть. Иначе, твой папа что?

– Мой папа, – она даже приподнялась, – мой папа был цадик! Фарштейст¹⁰, что это такое? Чтoб все такие люди были, как мой папа.

– А ты? – я смотрю с балкона на ночной город, туда, где над Масличной горой витает душа моего прадедушки-цадика.

– Вейз мир на эти разговоры! Мне в голову не шла эта ученость. Ривке маленькая, Аське со своими выкрутасами, а убрать? а мама больная? а постирать? а еще гуси...

⁹ Идише мэньц (*идиш, литовско-белорусский диалект*) – еврейский человек, еврей.

¹⁰ Фарштейст? (*идиш*) – понимаешь?

– Гуси?

– Да, мой папа держал гусей, на Роше шоне¹¹ мы делали грибен-кес, это было что-то! А какой кугл! Ганце мишпохе¹² приходила есть мой кугл, – бабушка сладко вздыхает и поворачивается на скрипучей кровати.

– Так ты все время работала?

– Что ты, совсем нет. В шабес я делала папе чай, перед синагогой, а потом только обед подавала, а посуду уже когда вечером, после еды. Для шабес у меня было даже платье и ботиночки.

– Так, значит, Бог есть?

– Ой, их вейс¹³?.. Ну есть, наверное.

– Тогда скажи мне, – я сижу в своем кабинете, а бабушка пришла оттуда, где доподлинно известно, есть Он или нет, – скажи мне, почему Он позволяет такое?

– Кинделе майне¹⁴! Ты за это время так и не поумнел, только голова поседела.

– Почему тогда Он позволяет такое? – Мы лежим голова к голове, в темноте моя рука прячется в бабушкиной ладони, – Он что, злой?

– Ой, вейз мир, – потом какое-то длинное, непонятное выражение. – Нельзя так говорить, кинделе, нельзя.

– Бабушка, но ведь столько всего...

– Да, проклятый Гитлер много цорес¹⁵ людям сделал. Чтоб ему на том свете...

– А как же..?

– Ну, хватит, хватит, спи, спи, спи.

Я засыпаю, а дом плывет и плывет по знакомым кривым улочкам.

В нашем старом доме бабушка забыла свой разум. В новую квартиру, доставшуюся отцу по очереди, она захватила с собой только старые болезни, беспросветный склероз и несколько пожелтевших фотографий. Она мало кого узнавала, мне приходилось ее кормить, и после полугода полного беспамятства она тихо оставила меня.

В один из дней, когда амнезия еще не полностью заслонила ей мир, ее приемная дочь, тетя Фаня, искренне преданная бабушке, в очередной раз пришла к нам ее навестить.

Баба Сима безучастно сидела на краю кровати.

– Мама, – так она называла ее с первого и до последнего дня, и всегда на «вы», – может быть, вам нужно что-нибудь делать. Вы же привыкли работать, делайте, что-нибудь. Помелах¹⁶. Может быть, вам плохо, потому что вы ничего не делаете. Вы что-нибудь делаете?

– А как же – взгляд бабы Симы впервые за многие месяцы стал вполне осмысленным, – я же люблю Йоселе!

Иерусалим, сентябрь-октябрь 2009

¹¹ Роше шоне (*идиш*) – новогодний праздник по еврейскому летоисчислению.

¹² Ганце мишпохе (*идиш*) – вся семья.

¹³ Их вейс? (*идиш*) – я знаю?

¹⁴ Кинделе майне (*идиш*) – деточка моя.

¹⁵ Цорес (*идиш*) – несчастья.

¹⁶ Помелах (*идиш*) – потихоньку.

Зинаида Палванова

ДОМ ВРЕМЕНИ

* * *

Как любила я в глубоком детстве
делать белый дом из простыни!
Задирала ноги и держала
белое пространство над собой.
Домик мал, да свой.

Нынче я в трёхкомнатной квартире
проживаю, в общем-то, одна.
Правда, есть ещё пушистый кот,
он придёт, поест и убежит.
Правда, есть ещё гражданский муж,
он приедет, поживёт и улетит.

Как любила я в глубоком детстве
делать белый дом из простыни!
Я тогда не знала, что умру.
В доме времени летят живые дни.
Словно простыни, трепещут на ветру.

* * *

На экране всё сикось-накось –
там пожары, теракты, цунами.
Подметаю пол, ужасаясь:
что творится, Господи, с нами?

В мире тесно, будто в квартире,
в мире жарко и нервно при этом.
Есть пространство, однако, в мире,
называется кабинетом.

Тут компьютером сердце согрето.
На экране – прохладное лето.
Тут не войны, не смерчи, не страх,
а Вивальди да Бах.

Где стишки, как пташки, гнездятся?
Прямо тут. И дорога видна,
и хозяйка сама не без глянца
в мирном зеркале отражена.

За работу возьмёшься и чуешь,
как нисходит на душу покой.
По вселенной меж делом кочуешь,
незаметной, просторной такой...

ЖЕНЩИНА, ЧИТАЮЩАЯ ПСАЛМЫ

Молодая красивая женщина,
что сидит напротив меня в автобусе,
держит перед собою
крохотную книжку псалмов.
Яркие губы шевелятся
ритмично, божественно!

И вдруг, оторвав глаза от букв,
она кого-то в окне заметила
и заметалась, как птица.

Она стучала в окно,
она кричала водителю,
она хотела выскочить из автобуса,
но никто её не услышал.
Клетка автобуса
продолжала свой путь.

Постепенно красавица успокоилась.
Может статься,
так оно лучше, лучше,
потому что услышал её,
может статься,
тот, с кем она шепталась
перед тем, как метаться...

НЕДОУЧКА

Жизнь прожить – как школу прогулять!

В. Френкель

Я прошла почти что через все
возрасты на белом свете.
Детство я извела давно,
юность я извела давно,
зрелость я извела недавно,
старость наступила молодая.
Не извела я старой старости на свете,
не извела пока что смерти.

Школьницей в одну и ту же школу
день за днём невольно я хожу,
бытие прилежно прохожу.
Всё пройду, поскольку всё проходит –
и любовь, и небо, и трава.
Прогулять уроки – не выходит.
Вылететь из школы – дважды два.

Явно жду очередного чуда.
Буду ли иная – неземная?
Жизнью не добитая, смешная,
кто я? Недоучка я куда...

* * *

Как бы мне на свете исхитриться
от себя, стареющей, удрать?
Как бы мне на свете исхитриться
побессмертней жить и умирать?

От старья листвы освободиться,
нос деревьям жёлтым утерев,
и, не заболев, не умерев,
мудрой и улыбчивой родиться...

ДРЕВНЕЕ ЧТЕНИЕ

Захотелось мне от компьютера,
от цветущего на экране дерева
убежать в настоящий сад.

Хорошо бы в запущенный, в тот,
что у мамы был рядом с домом.
Помню старые вишни...

Я приехала на каникулы,
долгожданная, городская.
Мама жарит картошку.

Я читаю в саду, но часто
отрываюсь от жёлтого Пушкина,
от земли отрываюсь – для счастья...

Сладко сплю я после обеда,
деревенские песни слушаю вечером,
просыпаюсь ещё до зари.

Впереди мне мерещится то,
что теперь позади мерцает, –
ну, конечно, любовь.
Ну, конечно, великая.

И ещё неясное что-то,
немыслимое, невозможное, непредставимое
ну, конечно, это компьютер!..

И цветущее дерево на экране...
Всё почти что сошлось,
всё почти что сбылось.

А на небе зарево занялось.

НЕСЧАСТНАЯ ЖАР-ПТИЦА

Опять приснилась нежность эта,
опять препятствия смела...
Она не испугалась света,
она весь день со мной была.

Измученная явью прежней,
задавленная жизнью той,
она теперь всё безмятежней
гостит в душе моей пустой.

Как будто вырвалась на волю
из плена правды молодой.
Ни страха, ни вины, ни боли –
отрада, ласка и покой.

Лети ко мне, спеши присниться,
пронзая страны и года,
несчастливая моя жар-птица,
счастливая моя беда.

ЁЖИК

Это что там лежит на дороге?
Это кто там лежит на дороге?
Это ёж, развороченный ёж.

Различишь торчащие иглы,
беззащитно торчащие иглы,
и глаза поскорей отведёшь.

Ёжик, маленький и колючий,
ёжик, тихий и невезучий,
здесь дорогу переходил...

Шум ночной нарастал железно,
рѣв ночной нарастал железно
и накрыл, и жизнь погасил.

Иглы все как одна бесполезны,
если ночью от ватной бездны
убежать не хватает сил.

Это что там лежит на дороге?
Это кто там лежит на дороге?
Ёжик, ёжик на этот раз...

Ёжик, маленький и колючий,
ёжик, тихий и невезучий,
он иголки свои не спас.

СИРЕНА В ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ

Нынче, нынче этот день –
памяти о Катастрофе.
Утро ясное в Израиле,
жаркая весна, апрель.
Почему-то нет сирены
ровно в десять, как положено.

Ходят-бродят пешеходы,
едут-катятся машины,
я сижу вот за компьютером –
всё на свете как обычно.
Не сирена, а коты
завопили, как положено.

Дрогнуло моё сознание:
может, не было её,
этой самой Катастрофы?..
Может, не было войны
у меня в моём начале?
Может, я не родилась?..

И завывала вдруг сирена –
низко, жизнеутверждающе...

РАЗГОВОР С КОТОМ

Мы с тобой синхронно заболели,
кот мой дорогой,
звуки произносим еле-еле –
что одна, что другой.

Мы с тобой синхронно постарели,
кот мой дорогой,
не нужны ни марту, ни апрелю –
что одна, что другой.

Оба мы уйти обречены –
для живых на свете нет спасенья.
Дом наш может рухнуть от войны
и от мирного землетрясения.

Чуешь ли, что предстоит беда?
Что она всё ближе?
Страхи мои – глупость, ерунда,
но куда ты смотришь иногда
равнодушно, пристально – куда?

Я там ничегошеньки не вижу...

* * *

Старость – переводная картинка тусклая.
Смерть проявит всё.
Невольно думаешь,
как твой дом будет выглядеть
после хозяйки.

Так во времена терактов,
выходя из дома,
невольно думаешь,
что на тебе внизу надето.
На любовь похоже,
на ответственное свидание,
на песенку, что не спета...

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА

Всего понемножку, а вот лет – многовато.
На утратах бодрых моих – отсветы заката.

Облетает с белых миндальных деревьев дым.
Знаешь, живи, где хочешь, только будь живым

Не сжигая мосты, всё летаем один к другому.
А не сжечь ли солому?..

ВМЕСТО РОМАНА

Путешествия разгоняют кровь.
Вот замена любви, а может, сама любовь –
к мирозданию, к шару земному, к белому свету.
Торопись разглядеть родную планету!

Время нам изменяет – это факт.
Тело нам изменяет – это факт.
Путешествия нам пока что верны
и своих чудес не прячут в штаны.

Пусть от этой любви рождаются дети –
фотографии, видеофильмы, рассказы.
Никакой заразы – одни экстазы!

Милых стран гораздо больше на этом свете,
чем поклонников нынче у меня на примете...

ДОМАШНИЕ ДЕЛА

Сегодня утром оглядела дом –
на сердце навалилась тяжесть:
растущий беспорядок – как вода,
что к горлу подступает.

Ума не приложу, за что хвататься,
с чего начать спастись.
Охватывает паника меня
в начале дня.

За грязную посуду я взялась.
Постепенно
в себя я прихожу.
И вот я говорю почти спокойно:

– Дела не переделаешь, так что ж!
Их нужно просто делать, делать, делать!
И радоваться, радоваться, радоваться
бесчисленным победам промежуточным,
поскольку окончательной победы
над ними не бывает,
при жизни-то – уж точно.
Одна лишь смерть от них освобождает.
И то не факт, не видно мне отсюда...

Какое счастье – грязная посуда!
Какое счастье – чистая посуда!

Давид Маркин

*ПУБЛИШЕР**

6. ЛОДКА БЕЗ ГРЕБЦА

В маслянистом лунном свете Валя ступала уверенно. Каменистая тропинка, попетляв, обогнула забор санатория и, как ручей в озеро, влилась в широкий отлогий склон, очерченный вдалеке горным лесом. Цикады глухо трещали, их варварская музыка стлалась над ночным миром.

Высокая луна плоско высвечивала поляну, куда Валю и Влада Гордина вывела тропинка и по которой они теперь шагали. Поляна была коротко острижена, с проплешинами. В светлое время здесь пасли скот, золотистые кругляки заскорузлых коровьих лепёшек были разбросаны по коричневой земле. Поспевая за Валею, Влад немного досадовал, что луна светит так ярко и нигде от неё укрыться: ни куста, ни камня. Шли молча. Посреди поляны Валя остановилась.

– Давай посидим, – сказала Валя. – Здесь хорошо.

– Светло как... – пробормотал Влад, опускаясь на колючую землю.

– Все спят давно, – сказала Валя и улыбнулась безмятежно. – Или по кустам прячутся, кто не спит. – И круглым жарким плечом к Владу Гордину прислонилась.

И стало Владу Гордину не до света, не до жизни и не до смерти.

И Валя была нежна и деятельна, ладони её скользили по плечам Влада, голова его наполнилась медовым светом, медовым и яблочным.

И небожно покалывали спину сухие ости травы.

И плыла лёгкая лодка где-то выше земли, по тихой воде.

Лодка без гребца.

Страшней всего болезнь ударяет человека в час своего прихода: «Вот я!». Грозное имя болезни нагоняет на душу ужас и тоску; поражённый ударом больше не чувствует себя ни венцом творения, ни царём природы – а только случайной частицей плоти, захваченной болезнью, огромной и безграничной, как смерть.

А потом, если не уходит жизнь и время не превращается в Ничто, рана затягивается плёнкой новой реальности – и раненый существует в ней по своим правилам и по своим понятиям. Он тянется к таким, как он сам, и в этом замкнутом кругу, в этом тайном братстве с общим языком и общим знанием находит истинный родной дом.

«Самшитовая Роща» и была таким братством и таким домом для трёх сотен людей – молодых и постарше.

Болезнь сделалась как бы средой обитания, к ней привыкли – как человек привыкает к воздуху, рыба к воде. Всё здесь было так или иначе связано с болезнью: утреннее кормление таблетками, обход

* Главы из нового романа.

врачей, процедуры, послеобеденный «мёртвый час», даже банный день раз в неделю в качестве обязательного гигиенического мероприятия. Всякое правило, само собою, вызывает противодействие и протест; больные упрямо уклонялись от обязанностей и нарушали санаторный режим. И шла жизнь, не оставляя следов – как Иисус по водам.

Были больные, были врачи. Врачи были как-никак начальниками, больные – подчинёнными. Врачи знали, что положено, о больных и их беде: по историям болезни, по конвейерным встречам на обходах, в рентгеновских кабинетах и ординаторских. Болезнь была и для врачей не менее страшной и сокрушительной, чем для последнего тубика, выкашливающего вместе с кровью ошмётки собственных лёгких – но другая болезнь: рак, например, или инфаркт. А ТБЦ был как бы «своим»: прирученным и относительно безопасным.

Между врачами и больными пролежала заградительная стена, забор, к которому и сами обитатели санатория «Самшитовая Роща» не приближались без крайней нужды. Горсточка врачей никак не вписывалась в равноправное братство больных, а лишь примыкала к его опушке: глядела на ближние деревья, не видя леса. Старожилы и завсегдатаи санатория не помнили случая, чтобы врач позвал больного к себе домой на чашку чая, или, пробегая в своём форменном белом халате по парку, подсел к знакомым чахоточным на лавочку – поболтать о том, о сём под звон цикад.

Можно было понять и врачей, если б это кому-нибудь захотелось. Сидеть безвылазно в дыре, месяц за месяцем, год за годом в этой «Самшитовой роще» на виду у осточертевших коллег, по соседству с тремя сотнями больных – не с кем приятно провести вечер, некуда пойти. Среди больных встречались изредка яркие люди и привлекательные, и вспыхивала светлячком сердечная приязнь – но по неписанному правилу романы между врачебным персоналом и пациентами исключались категорически, санаторный партком во главе с Ревазом Бубуевым глядел по сторонам недреманным дурным оком. Случались, случались всё же лирические происшествия, но заканчивались они однозначно: экстренной выпиской больного без объяснения причин. И, глядя на разлив страстей в разогретом болезнью сообществе, врачи испытывали зависть: им можно, нам нельзя. Это ещё почему? Уместней было бы спросить: а почему они заболели, а мы – нет? Но на такой общий вопрос вряд ли можно было подыскать вразумительный ответ. Что же до романов, то с этим было всё ясно: нельзя, и всё! Мало ли чего ещё нельзя на белом свете: переходить улицу на красный свет, слушать по радио «Голос Америки», играть в азартные игры на деньги. Нельзя сомневаться во всеисильности учения Маркса, потому что оно верно. Нельзя верить в Бога, потому что Бога нет – это доказано наукой, а кто всё-таки верит, тот находится в плену пережитков старины, и за это могут уволить с работы.

Галина Викторовна, лечащий врач Влада Гордина, считала, что жизнь должна строиться на разрешениях, а не на запретах, – но мнение своё держала при себе. В свои двадцать шесть она твёрдо усвоила, что возражать против общепринятых правил и спорить с начальством – дело не только бесполезное, но и опасное. Усвоила она это не с чужой подачи, а на собственном кислом опыте. Ещё

студенткой пятигорского мединститута Галя Старостина написала в стенгазету статью о том, что американская джазовая музыка происходит от чернокожих рабов и поэтому близка душе раскрепощённого советского человека, устремлённого в будущее. Такой пассаж заставил призадуматься факультетское начальство, Галя была заподозрена в моральной неустойчивости и низкопоклонстве перед Западом; шутками тут и не пахло. На общем собрании студентов встал вопрос об исключении её из института, и то, что она отделалась строгим выговором с предупреждением, стало делом чистой удачи: представитель райкома комсомола был настроен непримиримо, проштрафившуюся Галю спасло её безупречное социальное происхождение и, в меньшей степени, успехи в учёбе – она была отличницей. Урок, надо сказать, пошёл впрок: с тех пор Галя предпочитала помалкивать и статьи в газету больше не писала никогда. Стихи – да, те писала, но их только ленивый не сочиняет в нежные годы, в ожидании большого чувства, которое нежданно нагрянет, когда его никто не ждёт. Галя Старостина, таким образом, была начинающим советским человеком, обтекаемым в меру. Годам к тридцати она, оттянув положенный кандидатский стаж, незаметно влилась бы в ряды полноправных членов КПСС и уже в этом качестве дожидалась без потрясений выхода на пенсию и на заслуженный предсмертный отдых.

Интерес к Владу Гордину появился у Гали Старостиной в день его приезда: кого это ещё подселили к негру? Простого человека, это понятно, не поселят в двухместную палату, да к тому же в женский корпус. Водворение Влада, таким образом, стало событием, маленьким, но событием в жизни санатория «Самшитовая Роща»; здесь редко случалось что-либо, заслуживающее внимания. И вот Влад Гордин появился, и это было отмечено врачами, медсёстрами, нянечками и, в меньшей степени, хозяйственной службой, озабоченной житейскими насущными проблемами: приехал новенький, то ли сын какой-нибудь столичной шишки, то ли сам из начальства. Откликнулись на событие и больные: женщины с суетливым любопытством, а мужики угрюмо и не без зависти. Всяк согласился бы вот так, за здорово живёшь, переехать в женский корпус, к негру. А Галя Старостина в своём кабинете, в корпусе достала из белого железного шкафчика папку с историей болезни новенького и внимательно её прочитала. Значит, журналист, как интересно... Диагноз, поставленный московским специалистом, ничуть её не обескуражил: встречались у неё такие больные, Гордин не первый. Полгода он тут пробудет обязательно, наберётся сил, окрепнет, а потом уже в больницу, для продолжения лечения.

Влад Гордин ничего не знал о том, что написано в истории его болезни – это был почему-то секрет, секрет страшный.

Самым главным хранителем секретов в санатории «Самшитовая Роща» был директор Реваз Бубуев. Такая осведомлённость полагалась Бубуеву по должности: с медицинским директорством он сочетал председательство в парткоме и являлся бессменным членом бюро райкома партии – как нацкадр и преданный коммунист. Его побаивались и больные, и врачи, он знал всё или почти всё обо всех: кто что сказал, кто с кем спит, кто какие письма пишет

и получает. Реваз организовал в санатории образцовую стукаческую службу, к нему шли с отчётом, для доверительной беседы, как к куму на зоне. Сведения же о самом Ревазе Бубуеве были расплывчаты: дубина и дубина...

В лечебный процесс доктор Бубуев не вмешивался; у него были другие заботы, поважней – например, удержать переходящее Красное знамя от переноса на турбазу или в местный колхоз. Бархатное это знамя с профилем вождя, лентами и кистями стояло в углу директорского кабинета, и вынести его оттуда можно было, только переступив через труп хозяина. А умирать Бубуев не собирался.

Жил директор в двухэтажном коттедже, холостяком, в отдалённой части парка. Сильные и красивые заросли примыкали к забору, в котором были устроены ворота для прямого проезда к бубуевскому дому. С кем он там жил и как – об этом ходили лишь слухи, обильно плодившиеся на плодородной санаторной почве: врачей туда не звали, а больные держались от греха подальше – предпочитали романтическое общенье в густых кустах или на коровьей поляне. Специальные же ворота отпирал перед машинами частых гостей молчаливый лезгин-привратник: ехало райкомовское начальство, а иногда и областное – с ночёвкой. Доподлинно было известно, что вместе с лезгином проживает в коттедже усатая повариха, она трижды в неделю являлась на санаторную кухню, на продуктовый склад, и тащила оттуда парное мясо, овощи, консервы – всё, что было ей надо, то она и тащила. Поговаривали, что по спецприглашению наведывалась в коттедж троечка-четвёрочка молодых больных весёлого пола, но кто об этом знал безошибочно, тот молчал, включая и самих визитёров.

С подчинёнными и подведомственными держался Реваз Бубуев свысока, как небесный громовержец, как Карл Маркс; это получалось у него вполне естественно. Он был высшая власть – директор, партийный начальник и народный депутат со значком на лацкане; всё в одном лице. К нему никто тесно не приближался, вопросами не докучал – что надо, он сам сделает и скажет, без понуканий. Словом, Реваз и его дымчатое окружение, включая усатую повариху, можно было смело числить небожителями, в то время как больные и их врачи являли собою низовую народную толпу, чёрную косточку туберкулёзного мира.

7. БАННЫЙ ДЕНЬ

Для русского человека банный день – не просто число календаря, а событие возвышенное, почти праздничное. Речь идёт, разумеется, не о ленивом барахтанье в ванне с тёплой водицей, а о коллективном походе в баню: о приготовлениях, приятельских разговорах в предбаннике, общении с пространщиком, тщательном мытье в мыльной пене, окачиванье из шаек, напряжённом сидении и лежании на полках парной и, наконец, о заключительном распитии пива и водки за дружеским столом. По мере укрепления империи – вначале царской, затем советской социалистической – банные страсти распространились на пристяжные народы и благотворно ими овладели: парились и нахлёстывали себя берёзовыми вениками татары и мордва, казахи и

жмудь; не отставал и друг степей калмык. Чукчи в своём ледяном отдаленье остались неохваченными по причине отсутствия бань и решительного неприятия водных процедур; над горячим мытьём возобладала древняя привычка смазки телес моржовым жиром.

Если всмотреться попристальней, в этой тяге к воде, хотя бы и к кипятку, угадывается историческая память, обращённая к крестильным действиям Иоанна в еврейской Иордан-реке, и более близкая, генетическая, связанная крепкими льняными нитями с драматическим днепровским купанием киевлян под управлением Владимира Красное Солнышко. Да и древние бродячие иудеи окунались с головкой в свои бассейны не только того ради, чтобы смыть трудовой пот, но и очиститься от скверны и, выйдя из воды, почувствовать себя обновлёнными и дышать чистой счастливой грудью... По нынешним временам скверна остаётся, а дыхание обновляется, – если, конечно, перегрев и перепой не доводят купальщика до летального исхода. Но на миру ведь и смерть красна, особенно в праздник.

А солдаты! Как они маршируют, с бодрою песней на устах и с бязевыми узелками подмышкой, в баню из своих казарм! Как топают потом, после мойки, прямым ходом в консерваторию для проведения культурного досуга, чтобы праздничная атмосфера не сразу рассеялась и растаяла вместе с клубами пара! Ангелам, добрым небесным ангелам подобны голые люди в банном пару, в то время как едкий дым – обиталище чертей.

В банном корпусе или, вернее, бараке санатория «Самшитовая Роща» не было ни пространщика с бутербродами, ни мраморных скамей, ни лежанок «под мрамор». Оцинкованные шайки, те – да, были, несколько погнутые и битые. Был и пар, парок, плывущий от вкрученных в потолочную трубу круглых, как на лейке, насадок, из которых бежала, а временами даже и била горячая вода. Барак не был разделён на кабинки, это было ни к чему. Моющиеся стояли тесно друг к другу, намыливаясь или, напротив, смывая мыльную пену. То было коллективное действие, оставлявшее, однако, место для индивидуальных ощущений.

Банный день был назначен кем-то, в отдалённые времена, на пятницу, и так оно и шло. С утра мылись мужчины, а после обеда – женщины. В другие дни недели банный барак был заперт на замок. Почему мылись раз в неделю, а не дважды или даже через день, никто не знал. Надо сказать, что такой вопрос никому не приходил в голову.

Влад пришёл мыться с утра, до завтрака. Впускали группами, на лавочках перед входом в барак дожидались своей очереди человек пятнадцать. У ожидающих белели подмышками полотенца с завернутым в них бельём и брусочками мыла. Сидя посреди народа, Влад Гордин оглядывался с любопытством: новые лица, молодые и постарше, настроение благодушное, как будто за подарком пришли сюда, а не на гигиеническую процедуру. Ещё человек пять подойдут, и будут запускать.

Рядом с Владом дожидался своей очереди парень лет двадцати с небольшим, худощавый, с коротко стриженными ржаными волосами.

– Я тебя в столовой видал, – сказал парень и добавил без перехода, без зависти: – Как там у вас, в Женском?

– Да нормально, – сказал Влад. – А ты – в каком?

– Второй корпус, – сказал парень и руку протянул – знакомиться. – Женя.

– Сам откуда? – спросил любопытный Влад Гордин. О чём тут ещё можно спрашивать – какое лёгкое дырявое, правое или левое?

– Из Одессы, – сказал Женя, и Влад отметил удовлетворённо: новый знакомец говорит «из Одессы», а не «с Одессы». Наверно, студент.

– Был я у вас там, – сказал Влад. – На Приморском бульваре ночевал, на лавочке. – И, поймав недоверчивый взгляд Жени, охотно объяснил: – Денег не было ни копейки. Я из Сухуми на «Адмирале Нахимове» без билета приплыл и на бульваре с одним стариком познакомился. У него, у старика этого, были весы, белые такие, и он людей взвешивал, если кто хотел. Недорого брал, по пятаку, что ли, за взвес.

– Ну, знаю, – подтвердил Женя. – Весы, а к верхней планочке привязан ручной эспандер, проверять силу кисти.

– Точно! – обрадовался собственным воспоминаниям Влад Гордин. – Эспандер! Так я с этим стариком договорился, водил к нему клиентов. Подхожу к какой-нибудь парочке, говорю: «Не хотите ли померяться силой на экспандере? Вот тут, рядом». Парень перед девкой выступает, он ведь не знает, что я одной правой доста килограммов жму. Ну, и шёл, конечно. Парень жмёт шестьдесят, а я – семьдесят. Он кипит, жмёт уже семьдесят, а я – восемьдесят. И так далее, в том же духе. И за каждый жим дополнительный пятачок... Старик мне половину навару отдавал, набегал, примерно, рубль.

– И долго ты там ночевал? – спросил Женя, увлечённый, как и Влад, воспоминаниями из той, прошлой жизни.

– Дней пять, – сказал Влад. – Потом швейные машинки таскал по всему городу, и мне хозяин за это купил билет на поезд, до Львова. Короче, путешествовал я.

– Да, Одесса... – сказал Женя, и непонятно было, то ли он снисходительно прощает свою родину, украшенную лукавым стариком на бульваре, то ли тоскует по ней и желает как можно быстрее там снова оказаться. – Машинки, что ли, ворованные? У нас там швейную машинку ни за какие деньги не достать, я имею в виду, в магазине.

– Может, конечно, и ворованные, – рассудил Влад Гордин, – на них ведь не написано. Меня один дядька нанял таскать, у него все зубы золотые – от и до.

Женя уже заканчивал свой санаторный срок, через неделю он должен был ехать домой.

– И долго ты тут просидел? – спросил Влад.

– Три месяца, – сказал Женя. – Теперь до будущего года.

Ну вот, рассуждал Влад Гордин, сидя на лавочке рядом со своим новым знакомцем. Три месяца. Вполне нормальный человек: просидел три месяца и едет домой. Не умер, и в больницу его не забрали. В конце концов, некоторым везёт. Некоторые после выписки даже идут своим ходом в Сухуми через перевал. А то, что через год придётся сюда возвращаться – так ведь хроники они и есть хроники: у одних астма, у других туберкулёз, а третьи вообще

съехали с катушек и не вылезают из дурдома. Не так всё темно, если взглянуть получше. И Валя...

Очередь сидела смирно, никто не нервничал и не возмущался: спешить было некуда, да ведь и не пиво же наливали за дощатыми дверями моечного отделения. Утро выдалось ясное, словно бы тонкого золотистого стекла. В прозрачной тени деревьев ожидающие терпеливо переговаривались перед входом в барак. Наконец, дверь отворилась. На пороге стоял босой дядька в мокром клеёнчатом фартуке поверх трусов.

— Давай, заходи! — пригласил дядька. В проёме за его спиной темнело чрево барака, располосованное неровным пунктиром тусклых электрических лампочек. Казалось, что не душевая там помещалась, а бездна ночного неба, расцвеченного редкими звёздами; и тянуло тревогой неизвестности. Владу вспомнились почему-то описания немецких газовых камер: сумрак, теснота, шипит отравы в круглых насадках над головой... Он покривил лицо и, прогнав страшную картину, ступил за порог.

Больные, приплясывая на одной ноге, поспешно сбрасывали одежду и складывали её кучками на низкую длинную скамью. Шелест нетерпенья стоял в предбаннике. И вот дядька в переднике повернул какую-то рукоятку на железной трубе, и душевой зал, не разделённый на кабинки, вмиг наполнился живым шумом падающей воды. Голые ринулись вперёд. Стоя под кручёными струями горячей воды, они блаженно жмурились и взмахивали руками. Некоторые уже деловито намыливались с головы до ног. Хлопья пены неслись с водою по полу и исчезали у дальней стены, в круглых зарешёченных стоках.

— Сейчас-то хорошо, — услышал Влад Гордин голос Жени. — Раньше решёток не было на дырках, а скользко. Один тут поскользнулся, ну, и в дырку по колено. Ногу сломал в двух местах... Мочалку хочешь?

Женя стоял совсем рядом, мыльная пена покрывала его, как доспехи. Вот он сделал шаг, вода обрушилась на него, обнажая распаренную розовую кожу. Влад взглянул, заморгал. Шнурок шрама опоясывал туловище Жени, тянулся от соска до лопатки — в мизинец толщиной багровый рубец, оставленный ножом хирурга. Стало быть, человека вот так разрезали, как банан, развалили на две части, а потом снова свели воедино: живи дальше! И он послушно живёт: вспоминает Одессу, ходит в баню. На улице, на лавочке, невозможно было догадаться, что творится у Жени под рубашкой: человек как человек. А рука-то правая висит, ну, если и не висит, то, всё же, отличается от левой; плечи скособочены. А что там внутри, в груди — об этом лучше не думать. Этот одессит, Женя, калека на всю оставшуюся жизнь. Что там у него нашли, в лёгких, чтоб так его расчекрыжить? Рак? Мину? Чем вот так, лучше совсем не жить, прикрыть лавочку...

Влад оторвал взгляд от рубца, огляделся. Озираясь, он вглядывался с пристрастием. Вон ещё один со шрамом, и ещё. И этот, плешивый, намыливается с ног до головы левой рукой, а правую для удобства прижал к груди — не работает у него, как видно, правая. И ведь всех не разглядишь, не сходя с места.

— Вот куда бы я поехал, — услышал он Женю сквозь воду и пар, — так это в Китай.

– Куда-куда? – переспросил Влад Гордин.

– В Китай, – повторил Женя. – Там знаешь, сколько китайцев живёт? Миллиард!

– Ну и что? – сказал Влад. – Хоть два. Тебе-то что? – Он вдруг стал испытывать настороженность к этому Жене, как будто тот со своим рубцом был существом немного иной породы, чем он сам.

– Ну и вот, – жёстко и неоспоримо продолжал Женя. – Из них три процента – богатые люди, считай, богачи... Сколько это получается?

Влад, дивясь, попытался прикинуть. Сначала один процент, а потом помножить на три. Сколько там нулей-то, в миллиарде? Без бумажки не обойтись.

– Получается, – опередил Женя, – тридцать миллионов. Тридцать миллионов богачей! И все китайцы, один к одному.

– Да, – согласился Влад Гордин. – Много, конечно...

– В том-то и дело, – сказал Женя. – Очень много. И если к ним ключик правильный найти, можно заработать кучу денег. Вагон и ещё маленькую тележку. Поэтому я так хочу в Китай.

– Так ты, – предположил Влад Гордин, – хочешь этих китайцев взять за вымя? Они ведь тоже не дураки.

– Были б дураки – не разбогатели бы, – уверенно подвёл черту Женя. – Дурак – он и в Китае дурак; это понимать надо. – Он говорил о Китае и его обитателях требовательно, почти сердито – как будто это была его поднадзорная территория, и вдруг, неожиданно-негаданно, там обнаружили какие-то недочёты.

Меж тем банщик в клеёнчатом переднике начал проявлять нетерпение. Он пошлёпывал рукою по крану, покрикивал:

– Давай, давай! Веселей, орёлики! Вона ещё подгресли! Тут вам не Сочи!

Нет, не Сочи, и орёлики битые-резаные. А так, вроде, всё в ажуре: кругом красивый Кавказ, советские люди моются в душе, коллектив санатория «Самшитовая Роща» под руководством товарища Бубуева полным ходом топают к вершинам коммунизма.

Пусть себе топают, куда дорога лежит. У него, у Влада, рука не висит, и в Китай его не тянет. Он, Влад Гордин, хочет лишь одного: выбраться отсюда, из этого дикого зверинца, вернуться к нормальным людям – без хирургических рубцов, без плёвок и без тайного позора проклятой болезни.

Он вышел из душевой в зелёную тень парка, щелчком выбил сигарету из оранжевой пачки и закурил. Огибая рослые деревья, Влад шагал не спеша, бесцельно и бездумно – куда глаза глядят. Серый дымок плёлся за ним по пятам. Влад уселся в траву под деревом, обхватил тесно согнутые в коленях ноги и прислонился спиной к тёплому стволу, к его дружелюбной коре. Случайные отрывочные голоса долетали издалека – с главной аллеи и от столового корпуса.

Надо отсюда сматываться, – раздумывал и рассуждал Влад Гордин. – Тут если не зараза, то такие вот картинки со шрамами окончательно приделают нормального человека. Горы красивые, это – да, не то что какая-то степь или даже море. А что море? Та же степь, плоская, как стол, только из воды. «Умный в горы не пойдёт, умный гору обойдёт» – лажа, чепуха. Как раз дурак не

пойдёт, будет сидеть на лавочке. И дело тут ни в каком ни в уме, а в характере: в горах за каждым поворотом новый мир и вообще ближе к Богу. Сидишь себе в седле, едешь по ущелью, в одной руке у тебя повод, в другой – плёточка. Вершины подо льдом, на отрогах облака, как овечьи отары. Кто это написал: «...высок пред пешим конный, и с лошади прискорбно слезть...» Сказка. И здесь тоже сказка, в «Роще», только тубики портят вид, как та самая ложка дёгтя. Жуткие ребята, если прищуриться получше! Все без исключения, и я, Владик, в их числе. Единственное, что остаётся – плюнуть на всё, уйти в горы повыше, а там уж как получится...

Вблизи затрещал кустарник, как будто кабан проридрался сквозь сухие заросли. Влад, не поднимаясь с земли, всмотрелся: мужичок лет сорока сосредоточенно волок за руку простоволосую задастую тётку, послушно ступавшую. Они остановились на прогалинке, дядька опустил женщину в траву, стёр рукавом с лица паутину и степенно вытянул из кармана бутылку портвейна. Пристроившись рядом с тёткой, сидевшей, как тряпичная кукла, он наискось стукнул доньшом о землю и вышиб пробку из бутылки. Потом, отхлебнув из горлышка, протянул бутылку своей простоволосой спутнице.

Наши, – не спеша рассуждал и раздумывал Влад Гордин, – санаторские. Ну, конечно. А кто ещё сюда пойдёт, в самый эпицентр? Если тут микроб в воздухе летает, как ворона? Клюнет – и конец тебе: и разрежут, и зашьют. Наши, сразу видно! Сейчас они допьют, и он её завалит. И это тут называется – кустотерапия; мы, тубики, на этот счёт очень проворные. Где он её только нарыл, эту курдючную тётку! А ноги-то, ноги: какие-то сиволапые, и в вертлюги засажены наискось. И все здесь такие, все. Одна кривоногая, другая вообще хромая. А Валя? Ну, Валя... Бывают же исключения из правил, иногда попадают для полноты картины.

Дядька дохлебал вино и бутылку забросил. Потом налёг на свою спутницу, и их почти не стало видно в сочной кавказской траве. Влад Гордин вслушался. Из травы доносилось глухое сопенье и урчанье, полное тёплого секретного смысла, как будто делалось там всемирно важное дело, от которого зависит ход жизни и смерти. И Владу вдруг до колотья под грудью захотелось оказаться на месте этого дядьки, на плоско раскидавшейся курдючной, в траве, вместе с жуками и личинками.

И время сбилось с шага – то ли окаменело, то ли вовсе исчезло без следа с той полянки. Глядя перед собой, Влад не чувствовал его уверенного движения; он словно бы оказался вдруг среди звёзд, вровень с ними, а санаторий «Самшитовая Роща» остался в другом мире.

Высокий, отчаянный писк послышался на прогалине – одинокий вскрик рождения или бесповоротной смерти. Время вернулось в своё земное русло и пошло. Влад Гордин вслушивался.

– Мышонка задавила, – шаря под собой, сообщила женщина. – Говорила тебе – лучше в беседку идти, там хоть доски.

Мужик сполз со своей подруги и хмыкнул.

– Надо ж! – сказал мужик. – А чего он туда залез?

Они поднялись и засобирались, оглядывались по сторонам перед уходом, как будто могли что-нибудь позабыть здесь, на пропешинке, в этот свой короткий привал.

Поплёлся, не разбирая пути, и Влад Гордин, пока не вынесло его на центральную аллею. У входа в административный корпус сидели на лавочке и расхаживали взад-вперёд туберкулёзники, явившиеся сюда каждый по своей надобности: оформить выписку, получить посылку из дома или пожаловаться на соседа по палате. Административный корпус служил как бы средоточием всех властей «Рощи»: исполнительной, законодательной и судебной. Администрация надёжно отгораживала верховного правителя Реваза Бубуева, небожителя, от его клеймённых доктором Кохом подданных. Никому из них и в голову бы не пришло не то что обратиться к нему с просьбой или жалобой, но и подойти близко. Да он редко и показывался.

Среди отиравшихся у дверей мелькала, как красногрудый снегирь среди жухлых листьев, разбитная стройная бабёнка лет тридцати, не больше, то ли возбуждённая чем-то, то ли немного пьяная. С оттопыренными локтями, чертя восьмёрки, она и пританцовывала, и припевала на ходу. Молчаливые ходатаи, среди которых она вертелась, глядели на неё без интереса, но и без особого раздражения, как на муху или жука. Широкая шёлковая юбка бабёнки вилась вокруг её ног и вспыхивала алыми маками.

– Шалава, – услышал Влад голос Семёна Быковского за своей спиной. – Наша туберкулёзная шалава. Дочка председателя райпотребсоюза, кстати, из Краснодара. И что позволено Европе, то не позволено быку.

Бабёнка тем временем поставила ногу на пенёк, откинула подол юбки с коленки и запела приятным голосом, прихлопывая в ладошки в такт частушечной мелодии:

Эта девка хороша,
Эта тоже хороша,
А третья требует врача –
У ней не держится моча!

– Хорошо поёт, – заметил Семён Быковский. – Главное, душевно очень... У тебя голова мокрая. С лёгким паром, что ли?

– Точно, с лёгким, – кивнул Влад. – И с правым, и с левым... Я парня одного в душе видал, у него шрам от соска до лопатки, хоть в кунсткамере его выставляй. Как пилой пилили. И таких пилёных человек пять или шесть.

– Резекция лёгкого, – определил Семён. – Не обязательно целиком, может, только долю дырявую сняли. Это бывает. А что?

– Да ничего, – сказал Влад Гордин. – Ничего особенного... Жил был человек, потом его вспороли и отпустили. И рука висит.

– Ну и что? – рассудил Семён. – Тело как пальто: можно его протереть, прожечь, разорвать. Дёрни за рукав, он и повиснет. Или пуговицу оторви, подпори подкладку. А? Не так разве? А потом пальтецо твоё зашивают иголочкой, приводят в порядок, и оно служит и служит... Шрам! Ну, шрам. У кого от скальпеля, у кого от финки. Или вообще осколком зацепило на войне.

– Ну нет, – зло прищурился Влад Гордин. – Спасибо, не хочу... Чем так, лучше околеть. Чем убогим оставаться.

– Это ты по запарке так говоришь, – тихонько укорил Семён. – «Рука висит»! А тебе что – по деревьям лазать? Ты ведь не обезьяна. И резекция тебе не грозит, у тебя другое.

– Да, другое, – принял Влад. – Сегодня – другое, а завтра неизвестно, что будет. Ты сам, что ли, не знаешь? Просто я говорю, что не соглашусь, и всё. Не хочу, это моё право.

– Тебя силой никто и не потащит, – сказал Семён. – Подпись твоя нужна на операцию, без этого не берут.

– Откажусь, и всё, – с мрачной радостью продолжал Влад Гордин. – Уйду вон в горы, купаться буду, загорать с утра до ночи – всё, что нельзя. Пить буду. И умру.

– Пойдём вместе, – то ли пошутил, то ли всерьёз сказал Семён Быковский. – Чтоб тебе скучно не было.

11. В КРУГУ ЛИРЫ ПЕТУХОВОЙ

Сергей Дмитриевич Игнатьев был непростой типус. К нему никак нельзя было прицепить инвентарный жетон с выбитой на нём надписью «Простой советский человек», сокращённо ПСЧ. А ведь из таких ПСЧ в 60-е годы прошлого века состоял, за редкими исключениями, великий и могучий советский народ – эта «новая общность людей», невиданная ни в какие времена популяция, обитавшая от Владивостока до Бреста и от Кушки до Амдермы.

Специалист по ганзейской торговле Сергей Игнатьев являлся именно таким исключением, так же, как и его однокашники – дюжина писателей и учёных из кружка поэтессы Лиры Петуховой, проживавшей с молодым мужем Микой Угличем в коммуналке на одной из старинных арбатских улочек, в комнате с разноцветными стенами – двумя белыми, бордовой и зелёной.

Лира не всю жизнь, не от рождения была Лирой: когда-то, лет за сорок до описываемых времён, знакомясь с миром в деревеньке Шустрики, на берегу речки Серебрянки, она охотно откликалась на другое имя: то ли Грунька, то ли Фроська. Таких Серебрянок в России сотни, а вот Шустрики, вроде бы, одни на весь край; когда-то водились там, ещё до Анны Иоанновны, шустрые люди, а потом помаленьку все перевелись от трудностей хозяйственной жизни – и превратились в дремучих угрюмцев на зелёной земле. И не стать бы Фроське Лирой, не подайся её отец, земляной человек Василий Петухов, в близлежащий городишко Крюков, в большевики – от тяжкой бескормицы и безвыходного положения вещей.

Крюковские большевики встретили социально близкого им Петухова вполне радушно: отправили его на борьбу с чуждым сытым элементом, он там и воевал, как мог. По прошествии времени Петухов в ударном порядке одолел курс ликбеза и был укоренён в местной ЧК. Подробные, с поучительными деталями рассказы о ловле раков в реке Серебрянке выслушивались чекистами с пониманием и сочувствием. Петухов, влезши в воду и бродя вдоль бережка, добывал полезных зверков на завтрак, обед и ужин на всю семью, ловил вот этими самыми руками – совал лапу под корягу, шебаршил там пятернёй и терпеливо ждал, пока рак цапнет его за усердный палец. Скучно ему в воде не было: вся деревня Шустрики промышляла таким ловом с утра и до поздней ночи.

Служебное усердие и литературный талант рассказчика способствовали карьерному росту. Безукоризненного Петухова с семейством

проводили из Крюкова в райцентр Глухов, оттуда – в область. Журчали годы. На излёте убойных чисток 37-го Петухов был переведён в Москву, для укрепления поредевших рядов. Там, в кабинете со шторами, он и дождался начала Великой войны. Работы у него не убывало с началом военных действий: он ведал паникёрами. Рутинное занятие не приносило, однако, заслуженного покоя – так окончательно и не приспособившись обстоятельной крестьянской душой к мучительству человек, Петухов помер от запоя незадолго до Победы. Я видел его могилку на Ваганькове: «Следователь В. И. Петухов, чл. партии с 1921 года». Вот и всё.

Лира никогда не останавливалась на раннем, рассветном периоде своей жизни; да её и не расспрашивали. Казалось, аист её когда-то принёс в арбатскую комнату с картинами Вейсберга и Тышлера, с круглым массивным столом под вышитой скатертью, подходящим и для писания стихов, и для приятельских посиделок. Принёс в клюве аист крохотную Лиру во фланелевом чепчике и оставил в комнате с разноцветными стенами – двумя белыми, бордовой и зелёной.

С той нежной поры прошло немало времени, и Лира Петухова превратилась в женщину средних лет. Трудно чистосердечно и без лукавства обнести колышками годов и измерить этот довольно-таки размытый участок; тут и жизненные обстоятельства субъекта – в нашем случае Лиры Петуховой – играют свою роль, и эмоциональные устремления землемера с его колышками. Как бы то ни было, само это зыбкое и вязкое понятие – «женщина средних лет» – скрывает в себе, как в добротном плотном мешке, целую уйму событий, составляющих содержание жизни; там и страницы проставлены. Эта нумерация едва ли была открыта Мике Угличу – молодому мужу, сочинявшему на краешке круглого стола свободные стихи не вполне доступного содержания. Этот Мика был, что называется, «видный мужчина» и добродушный; единственное, что в нём настораживало, так это его рыбий судачий взгляд. Глядя ему в глаза, всякий человек как бы погружался с головою в водную пучину, населённую холоднокровными тварями, которые, может быть, и не хуже нас с вами, но совершенно другого рода. Впрочем, к Мике Угличу в кругу Лиры Петуховой все уже привыкли и не обращали на него внимания. Он был частью целого – как тот же круглый стол, пончо с ламой на плечах Лиры или сиамская кошка, гнездившаяся на книжном шкафу и наблюдавшая за происходящим в комнате подобно безымянному мальчику, залегшему на печи во время решающего кутузовского совета в Филях.

А в тесный круг Лиры входили, помимо ганзейца Сергея Дмитриевича Игнатьева, поэты и учёные: математики, физики-теоретики, один микробиолог; всего человек десять. Находился среди них, разумеется, и стукач, а то и целых два – в этом не было никакого сомнения, но пальцем друг на друга никто не указывал по причине совершенного неведения: каждый, строго говоря, мог здесь оказаться сексотом, не исключая и Мику Углича. Да и с самой хозяйки, Лиры Петуховой, никак нельзя было безоговорочно сдёрнуть кисею мрачного подозрения – хотя бы ради справедливости.

В неделю раз, по субботам, ближе к вечеру, у Лиры Петуховой собирались друзья и сидели за круглым столом, за разговорами и коньяком до поздней ночи. В других домах вот так, по заведённому

порядку, собираются близкие знакомцы для того чтобы расписать пульку в преферанс, а у Лиры вдумчиво обсуждали обстоятельства нашей жизни, помногу говорили о литературе и немного о политике. В нынешние времена такое приятное сидение называли бы «петуховская тусовка». Состав Лириных гостей не изменялся от раза к разу, появление новичка – а это всё же изредка случалось – было событием экстраординарным, подобным явлению Колумба на американском берегу. С самого порога и микробиолог, и поэты с физиками-теоретиками, все эти её постоянные мужчины – а женщины к ней никогда не приходили – входя в комнату Лиры, чувствовали себя раскованно и немного приподнято, в своём кругу, как иные единомышленники в час традиционной еженедельной встречи в русской бане.

Соседи по коммунальной квартире, набор из пяти семей широкого социального охвата, были неизбежным злом. Вовсе не общаться с ними не получалось никак – на кухне приходилось, худо-бедно, готовить и греть еду плечом к плечу с жильцами, да и то место, куда царь пешком ходит, не могло долго оставаться обойдённым. Лучшую комнату коммуналки занимал школьный учитель физкультуры с женой, двумя малыми детьми и старухой-тёщей, худшую – одинокий партизанский инвалид, глубоко пьющий человек, пропивший всё, что умещалось в поле его зрения, включая старинный паркет с пола его берлоги.

– Таким радикальным образом Терентий раз и навсегда решил половой вопрос, – посмеивалась Лира Петухова, и это было правдой: партизан ставил бутылку куда выше прочих удовольствий жизни.

Между партизанским инвалидом и физкультурником умещались еврей Яша пенсионного возраста с парализованной на одну сторону женой, татарин-дворник, пускавший к себе ночевать приезжих сородичей из Казани и весело проводивший с ними время, и большая семья айсоров, чистившая ботинки в будке на углу и торговавшая авоськами и гуталином собственного производства. Наибольшие неприятности причинял Лире и Мике татарин, ежевечерне топивший со своими гостями на кухне, в чугунном казанке, какой-то подозрительный жир и провонявший всю квартиру неистребимым то ли бараньим, то ли козлиным смрадом.

Лира с соседями не общалась, по мере возможностей. Зато Мика, никуда не деться, хаживал в кухню, где можно было обнаружить во всякое время суток сидевшего на табурете посреди помещения партизанского инвалида в голубой майке. Ближе к вечеру появлялся и татарин со своим казанком и кем-нибудь из казанских постояльцев впридачу. Трижды в неделю, с наступлением темноты и до полуночи, клевала носом за персональным столиком учительская теща – неугомонный физкультурник высылал её в кухню, а сам, разложив жену на раскладном диване, сосредоточенно над нею пыхтел и скрежетал крепкими зубами.

Мика Углич в контакты с народом не вступал, а народ тянулся душою к интеллигенции. Все попытки завязать доверительный с ним разговор Мика пресекал, погружая в глаза говорящего оловянное лезвие своего рыбьего взгляда; никто такое испытание не мог выдержать, за исключением партизана Терентия, на которого гляди

что акула, что хоть удав – всё ему было по плечу. Да и беседовал он, как правило, сам с собой, это его вполне устраивало.

Вечер, о котором пойдёт речь, ничем не отличался от других вечеров в арбатском общежитии. Подогрев купленные в Елисеевском гастрономе готовые котлеты, Мика выбрался из народной гущи и с подносом в руках проследовал по коридору к своей двери. Гости и хозяйка встретили его появление приветственными одобрительными возгласами, как будто он благополучно прибыл не из коммунальной кухни, а из густого леса, населённого волками и медведями. Дверь затворилась, все сели к столу и придвинули к себе тарелки и рюмки. Физкультурная теща, партизан в майке и татары с казанком остались в другом, далёком измерении. А вокруг стола возник разговор из отборных слов, лёгкий и праздничный, как деликатес.

– Все так хорошо и славно, – поглаживая салфетку ладошкой, сказала Лира Петухова. – Мы будем пить вино, а бедный Серёжа сидит на этой жуткой горе с красивым названием.

– А какое название? – спросил микробиолог. – Надо обязательно ему написать...

– Мика, как это называется? – Лира провела пальцем по плечу мужа.

– «Самшитовая Роща», – сообщил Мика. – Санаторий. Эпчинский район.

– Да, район какой-то неприятный, – Лира досадливо покачала головой. – Что это ещё за Епчинск! Это город, Мика?

– Не Епчинск, а Эпчик, – поправил Мика Углич. – Районный центр. Я нашёл по карте.

– Вот молодец! – похвалила Лира. – Вот хороший мальчик! А где письмо?

– У меня, – сказал Мика. – Прочитать?

– Ну, конечно, – сказала Лира Петухова. – Эпчик... – И снова головой повела в сомнениях.

«Дорогие мои, – начал Мика, – нет русской культуры без эпистолярного жанра, не так ли? И вот – я вам пишу... Здесь тихо и зелено, и в ближнем лесу, сразу за забором, растут на воле грецкие орехи и белые грибы. Забор – вот ведь в чём тут дело! Ведь мы, строго говоря, отгорожены этой гнусной стеной от грибов и орехов, изолированы от мира, заключены внутри огорожки, – мы должны бы её ненавидеть всеми фибрами души! Ничего подобного: внешний мир представляется нам отсюда чужим и враждебным, и стена защищает нас от него. В этом загоне, все вместе, мы – племя, сплочённое одной заботой и общими интересами выживания. За стеной обитают другие племена, враждебные и чуждые нам. Там мы должны маскироваться, скрываться, молчать о своём отличии от других людей – как будто это позор, а не беда. Здесь, среди своих, мы свободны вести себя как нам вздумается, и это облегчает душу.

– Это пока он там, – задумчиво покачивая коньяк в рюмке, сказал физик-теоретик. – Он вернётся, и всё это пройдёт.

...Не один я так чувствую и думаю, – продолжал читать Мика Углич. – Это общее для всех нас – молодых, старых, независимо мыслящих и бесповоротно тёмных. Никто никого здесь этому не учил – противопоставленность внешнему здоровому миру так же естественна, как человеческое дыхание по обе стороны стены. Мы – соци-

ум, сбитый в союз не на профессиональной почве, а на основе медицинского приговора, не подлежащего пересмотру. Наше политическое устройство – тирания, во главе «Самшитовой Рощи» стоит директор – сатрап Бубуев, над ним – секретарь райкома в Эпчике. Бубуев исправно платит налоги райкомовцам – бараниной, битой птицей и овощами из продуктового склада и милыми девушками из нашей народной среды.

– Как интересно... – в совершенной тишине заметил микробиолог. – Речь идёт, несомненно, о больных с закрытой формой заболевания.

– ...Для украшения жизни, – держа письмо на отлёте, продолжал Мика Углич, – мои товарищи по несчастью создали здесь нечто вроде тайного сообщества – Орден Тубплиеров. Тубплиеры! Я и сам, когда услышал это слово, не сразу сообразил, что здесь и тамплиеры-храмовники, и госпитальеры-туберкулёзники в одном лице. Туберкулёзные больные, строящие свой Храм в «Самшитовой Роще». Ничего общего с масонами, Боже упаси! Скорее, нечто родственное КВН.

– Вот это уже напрасно, – подал голос физик-теоретик. – Тайное сообщество – за это и в морге по головке не погладят. Остаётся только надеяться, что наш Серёжа в этот Орден не вступит.

– Верно, – обведя круг гостей своим судачьим взглядом, согласился Мика Углич. – А то ведь и всех нас начнут таскать, какие уж тут шутки... – И продолжал читать:

– ...Мне предложен пост летописца Ордена с правом решающего голоса. Это, заметьте, немалая честь; мои познания в истории наконец-то сослужили мне хорошую службу. Религиозная составляющая рыцарства оставляет моих товарищей по несчастью совершенно равнодушными. Поиски Грааля возбуждают их интерес, они видят в них увлекательное приключение тамплиеров, погоню за сокровищем – и спрашивают, была ли Чаша изготовлена из золота и сколько она стоит на сегодняшние деньги. Они и сами с радостью направили бы свою энергию на поиски чего-нибудь стоящего, но в окрестностях «Самшитовой Рощи» нет ничего, что могло бы послужить хоть какой-либо приманкой для кладоискателя. Великий Магистр, тем не менее, задался целью увлечь своих рыцарей каким-нибудь полезным трудом и поручил им составить подробную географическую карту района, наподобие старинных рисованных карт, и особо обозначить на ней все медицинские учреждения, связанные с лечением туберкулёза. Впоследствии он намеревается расширить свою карту до границ Союза, подсчитать количество туберкулёзных лечебных центров и вывести общее число больных с шестью, по его убеждению, нулями. Такая объединённая армия тубплиеров добьётся для всех нас чудодейственного американского стрептомицина, доступного сегодня лишь горстке привилегированных больных из лечсанупра Кремля.

– Диверсия через намерение... – пробормотал микробиолог, отсидевший при Сталине семь лет в лагерях. – Ох-хо-хо!..

– ...Народ здесь вполне приятный, – взглянув на микробиолога без всякого выражения, продолжал Мика Углич, – своего рода скол общества – от люмпенов до среднего чиновничества; болезнь метит всех подряд. А у высокого начальства своя компания, они и

лечатся отдельно: «полы паркетные, врачи анкетные». Ну, да это, друзья мои, вы знаете и без моих подсказок. Во всяком случае, мои новые знакомцы люди весьма общительные и, что особенно приятно, не склонные заострять внимание ни на собственных, ни на чужих тяготах. Совсем наоборот. Реально ощущая кувалду болезни над своей головой, они привольно живут, как птицы на ветке, не жалуясь и не комплексуя, по известному принципу «день да ночь – сутки прочь». Возможно, именно такой подход к жизни оберегает их от саморазрушения. С одним из них, московским книжным графиком и творцом идеи сообщества тубплиеров, я очутился в одной палате. Он предложил мне написать статью о рыцарях-тамплиерах в газету нашего Ордена, первый номер которой выйдет под девизом «Тубплиеры всех стран, объединяйтесь!». Этим я и займусь сегодня же вечером».

Мика Углич отложил письмо и потянулся за рюмкой. Гости молчали, взвешивая услышанное.

– Кто бы мог подумать, что Серёжа такой рискач, – сказала, наконец, Лира Петухова. – И этот девиз...

– Эту тему я не стал бы обсуждать в письмах, – заметил микробиолог. – Нет, не стал бы...

– На той неделе я написал обстоятельное письмо моим московским друзьям, – сказал Сергей Игнатьев. – О нас, – он легко кивнул Семёну с его Эммой, потом Владу Гордину, – об Ордене... Знаете, здесь, в Роще, очертания реальной действительности смещаются: забор, подобно Великой китайской стене, защищает нас от опасностей внешнего мира. Забор и палочка Коха.

– Волшебная палочка, – пробормотал Влад Гордин. – Наше секретное оружие.

– Ни один из моих друзей, – продолжал Сергей Игнатьев, – находясь в здравом уме, не стал бы даже упоминать в письмах само существование тайного сообщества Тубплиеров. А я здесь всего несколько дней, и уже почти свободен: пишу и говорю, во всяком случае, что вздумается.

– Свобода слова во владениях Ордена не подвергается сомнению, – сказал Семён Быковский. – На всей территории – от стены до стены, от центральных ворот до особняка Бубуева.

– И никакой вам цензуры, – добавила рыжая Эмма. – Цензура – это у них, там... – Она повела тонкой, голубоватой в предвечернем свете рукой в сторону забора, как в направлении границы сопредельного сердитого государства.

Они сидели в круглой беседке, початая бутылка коньяка на фанерном ящике из-под макарон отсвечивала чайным янтарём. Кругом, в потемневших уже кустах, по-домашнему привычно трещали цикады.

– Даже не верится, – сказал Влад Гордин. – И забор-то – раз плюнуть: ни Карацупы, ни собачки его.

– Два мира, – подвёл черту Сергей Игнатьев. – Вот и весь сказ...

– Два мира – два Шапиро, – пробормотал Влад. Сергей Игнатьев расслышал и, коротко взглянув на Влада Гордина, ухмыльнулся: он знал эту московскую шутку об американском корреспонденте Шапиро и его советском однофамильце.

– А помните, – сказала Эмма и дотронулась острым пальцем до колена Сергея Игнатъева, – вы, когда только приехали, сказали, что Бог – есть?

– Не совсем так, – любезно откликнулся Сергей. – Это я у вас спросил, есть ли Бог, и вы ответили, что, в общем-то, нет.

– Так вот, – твёрдо объявила рыжая Эмма. – Бог всё же есть.

– Я тоже так думаю, – сказал Сергей Игнатъев. – Всё же есть.

– Должен быть, – уточнила Эмма.

– Должен? – переспросил Сергей. – А почему?

Семён и Влад прислушивались внимательно.

– Ну, вот всё это... – Эмма, ведя рукой, указала на беседку, круглый купол над беседкой и небо над круглым куполом. – Кто-то же должен был это всё сделать.

– Всё это... – повторил Сергей Игнатъев. – Значит, всё это – и есть Бог?

– Ну, примерно, – сказала рыжая Эмма. – Можно и так сказать. Всё – и мы тоже.

– А как же Дарвин с его обезьянами на дереве? – с усмешкой спросил Семён Быковский. – Ты же Дарвина проходила в школе?

– Ну, проходила! – сердито сказала Эмма. – Я в это не верю, и всё. Ни на каком дереве я не сидела. Никогда. И в Адама с Евой я тоже не верю.

– «Разруби дерево – я там, – немного нараспев произнёс Сергей Игнатъев; – подними камень, и ты найдёшь меня там».

– Здорово как! – сказал Влад. – Что это?

– Евангелие от Фомы, – сказал Сергей.

– Его вроде в Библии нет? – спросил Семён.

– Древняя цензура не пропустила, – сказал Сергей Игнатъев.

– А ты читал Библию? – удивилась Эмма.

– Листал, – сказал Семён Быковский. – У бабушки покойной была, потом пропала куда-то.

– Я бы тоже почитала, – сказала Эмма. – Но её ж не достать! А будешь искать, спросят: «Зачем?»

Кто именно спросит, и что за этим последует, не стали уточнять – это и так было ясно как день.

– Я в прошлом году летал в Новосибирск, – сказал Влад, – очерк писал об Академгородке. Вечером собрались посидеть, ребята все молодые, институтские учёные, они хотят литературное кафе там открыть, название даже придумали: «Под интегралом». Сидим, выпиваем. И вот один парень, биолог, начинает говорить о Боге – но как! Как о своём, допустим, профессоре, с которым он каждый день задачки какие-то решает на доске. И все слушают, никто не удивляется. У меня просто глаза на лоб полезли. И никто, главное, не боялся, что донесут! Что стукнут и прикроют всю эту лавочку!

– Может, им разрешают, – предположила рыжая Эмма, – поэтому они и не боятся. И читают, что хотят: хоть Фому, хоть Ерёму.

– Читают наверняка, – сказал Сергей. – «Если слепой ведёт слепого, оба падают в яму». Это тоже из Фомы.

– А если зрячий ведёт слепого, – продолжил Влад Гордин, – то оба обойдут яму.

– Ловчую, – уточнил Сергей, – ловчую яму.

– Ну да, – сказал Влад. – Вы наш поводырь, вот и ведите.

– Замка у нас пока нет, поэтому давайте соберёмся в «стекляшке» сразу после ужина, – предложил Семён Быковский. – Место проверенное. Надо же, в конце концов, понять, что у нас общего с тамплиерами.

– С рыцарями военно-монашеского ордена Тамплиеров у нас нет ничего общего, – дружелюбно оглядев сидевших на речном берегу, за столиками чебуречной, начал Сергей Игнатьев. – Ровным счётом ни-че-го! С чем я всех нас и спешу поздравить: жизнь крестоносцев была трудна, а конец Ордена, не про нас будь сказано – трагичен. Не хочу вас расстраивать, но последний Великий магистр, его звали Жак де Моле, был осуждён инквизицией и погиб на костре. – Начало было захватывающим. В густой тишине Сергей взглянул на Семёна Быковского, и тот ответил ему кривой улыбкой. – Кстати, а как нам друг друга называть? Соратниками? Но мы не рать, а наш магистр, – он снова взглянул на Семёна, – не генерал и не маршал. Кроме того, само это слово – «соратники» – свидетельствует о дурном вкусе: от него несёт тленом и дешёвым популизмом. Сотрапезники? Но не трапезная же нас объединяет, не столовый корпус, да и хлеб уже давным-давно не преломляют в торжественном молчании, а кромсают в хлеборезке. Собутыльники! Вот кто мы такие! К тому же и тамплиеры, говорят, не чужды были вина в своём кругу, а то и «святой травки» для поднятия настроения. За травку по нынешним временам можно отправиться в места не столь отдалённые года на три, а вино у нас не под запретом, и рюмка-другая укрепляет наш дух хоть перед инквизиторами, хоть перед общим собранием трудового коллектива... Итак, собутыльники, мы отличаемся от прочих сами знаете чем, и это тайное отличие объединяет нас в касту неприкасаемых. Были кастой и рыцари храма Соломона, гордой кастой людей, владевших тайной. А чем важней и совершенней тайна, тем сильнее хотят проникнуть в неё непосвящённые. Нищий поначалу орден, чьи рыцари демонстративно разъезжали по двое на одной лошади, стал вдруг богатеть на глазах, начальство ездило уже одвуконь, и это возбуждало зависть и раздувало любопытство: что такое знают тамплиеры, что за тайну они хранят от широкой публики? Перешёптывались и о Граале – кубке со стола Тайной вечери, и об окрашенному кровью Христа копье Лонгина, и даже о высушенной голове Иоанна Крестителя. Все эти святые предметы, по разумению обывателя, могли принести владельцу успех во всех начинаниях, удачу в делах и большие деньги.

На этом интересном месте рассказ Сергея Игнатьева был прерван рёвом и грохотом, прилетевшими с неба. Слушатели и рассказчик недоумённо вертели головами. Миша Лобов с охотой дал объяснение происшествию:

– Самолёты репетируют, – перекрикивая шум, сказал Миша Лобов. – По радио передавали: завтра Ленина будут скидывать на перевале.

– Как скидывать? – выкатила свои голубые шарики Валя Чижова. – Ленина?

– Ну да, – подтвердил осведомлённый Миша Лобов. – Комсомольцы спустят его на парашюте и установят на перевале. Подарок ко Дню парашютиста.

Теперь картина прояснилась, всё встало на свои места. И грохот небесный укатил от Самшитовой Рощи дальше в горы.

– Король крестоносцев Болдуин Второй, – продолжал, покачивая головой, Сергей Игнатьев, – отвёл тамплиерам помещение в одном из крыльев разрушенного римлянами Храма, на Холме Соломона, в самом центре Иерусалима. Храмовники там обустроились и взялись за раскопки – надо сказать, что Холм был изрыт древними тоннелями, как муравейник. Никто не знает доподлинно, на что они там наткнулись, под землёй, на какой клад. Но дела их, действительно, пошли лучше некуда. Они, с одной стороны, были прекрасными воинами и охраняли христианских паломников, хлынувших в Святую землю, с другой – основали международную банковскую систему: путешественники теперь не зашивали золотые монеты в полу, а сдавали свои деньги в отделение Ордена в Европе и получали их, за вычетом, разумеется, комиссионных, в Иерусалиме, неподалёку от того места, где Иисус разогнал менял и торговцев. Зато не надо было теперь дрожать, что разбойники с большой дороги нападут на путника и выпотрошат его, отнимут всё до последнего гроша. Сбережения тамплиеров росли, как опара на дрожжах, к ним уже и короли обращались за ссудами. А кредит, как известно, портит доверие: берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда...

С этим нельзя было не согласиться; древние заботы представлялись обитателям Самшитовой Рощи тёплыми и близкими, как будто не века отделяли тубплиеров от их предприимчивых предшественников, а вытянутая в темноте рука с растопыренными пальцами... Тем временем небесный рёв снова накрыл Рощу: комсомольские самолёты зашли на второй круг на бреющем полёте, Ульянова следовало доставить завтра на скалу без неприятных случайностей и накладок. Вжав головы в плечи, собутыльники терпеливо переживали тревожное рычанье небес, а горцы в своих саклях яростными взглядами сверлили трясущийся потолок; от горящего взора абрека Мусы почти дымились ветви лесного шалаша. По разумению Мусы, русскому вождю мирового пролетариата уместней было бы стоять на пригорке где-нибудь в тамбовской губернии, а не на кавказском кряже.

– Забегая вперёд, – продолжал меж тем Сергей Игнатьев, – скажу, что именно деньги – как раз то, что нам с вами никак не грозит – довели орден до беды. Французский король Филипп Красивый потянулся к деньгам тамплиеров. Папа Климент Пятый не выдержал нажима и поддержал короля. Инквизиторы взялись за дело: за один день, оставшийся в истории под названием «чёрная пятница», могущественных ещё накануне рыцарей-храмовников переловили и отправили в тюрьму. Процесс был задуман Филиппом Красивым с большим размахом. Следователи инквизиции действовали по безошибочному методу: «Был бы человек, а статья найдётся». Под пытками на дыбе рыцари признались в страшном обвинении – ереси и поклонении дьяволу. «Признание – царица доказательств»; истерзанных подсудимых ждал костёр. Корчась в огне, Великий магистр де Моле отрёкся от своих показаний, проклял и короля, и Папу со всем их потомством на вечные времена и предрёк им скорую гибель. Чудеса, хоть и редко, но случаются на нашем свете: через две недели после казни магистра умирает от кровавого поно-

са, в диких корчах Климент Пятый. Ещё через четыре месяца, перевернув с ног на голову замки и штаб-квартиры тамплиеров и не найдя ни гроша из их баснословных капиталов, здоровяк Филипп Красивый сражён апоплексическим ударом; смерть его мучительна. На протяжении четырнадцати лет вслед за отцом-королём следуют, погибая один за другим при загадочных обстоятельствах и не оставляя потомства, три его сына, прозванные в народе «проклятыми королями». Со смертью последнего из них, Карла Четвёртого, династия Капетингов прервалась. А за сокровищами тамплиеров искатели приключений охотятся по сей день.

Игнатъев умолк и отхлебнул коньяку из рюмки.

— А что там было? — спросила впечатлительная Валя Чижова. — Золото?

Этот вопрос, впрочем, не давал покоя никому из слушателей, как увлекающихся, так и настроенных скептически. Как всё же так?! Было золото, целые сундуки. И вдруг всё пропало без следа. Найти, видите ли, ничего не смогли. Значит, плохо искали! Или другие украли и перепрытали... Так или иначе, тубплиеры готовы были без промедления, не откладывая дела в долгий ящик, скакать из «Самшитовой Рощи» на поиски не разграбленного покамест имущества тамплиеров хоть во Францию, хоть на финиковые берега библейской реки Иордан.

— Может, золото, — помолчав, сказал Сергей Игнатъев и плечами пожал. — А, может, что и подороже. Рукописи, например...

Сновидения никогда не преследовали Влада Гордина — он спал без снов и сердечно сочувствовал сновидцам, озабоченным ночными картинками и гадающим, что та или иная из них означает. Сон приснился Владу лишь однажды, с перепоя; случилось это года два назад, в Сибири, на молочной ферме. Как видно, смешавшись в желудке с местным ужасным сучком, молоко образовало дурную среду, и сон по этой причине тоже проклюнулся дурной и дурацкий: неведомая холодная сила разогнала Влада Гордина и понесла его на провода электропередачи, которые бы и распластали его на части, не проснись он в самый последний момент. И на том спасибо...

Так сложилось, что отношение читающего человека Влада Гордина к русской литературе определилось в изрядной степени под влиянием снов героев и героинь замечательных, кто бы спорил, произведений. «И снится чудный сон Татьяне». Достоевский с его сонным дядюшкой и бредовыми видениями Раскольникова. Граф Лев Толстой, патриарх мысли и зеркало революции, не избежал соблазна нагрузить снами свою Анну. Ещё в школе продираясь сквозь классические литературные заросли, Влад Гордин спотыкался о сны, как о чугунные рельсы в траве. Четыре сна Веры Павловны в её сползших чулках вначале неприятно насторожили Влада, а затем сделали его решительным неприятелем революции вообще и Николая Гавриловича Чернышевского в особенности. Едва уцелев в полёте над сибирским коровником и уклонившись от губительного удара о провода, Влад вскоре отошёл и успокоился: сны его больше не навещали, и он был почти уверен, что это уже навсегда. Он даже немного гордился своим умением спать без снов, объясняя эту особенность организма твёрдостью нервной системы.

После рассказа Сергея Игнатьева о горькой судьбе тамплиеров, затянувшегося допоздна, тубплиеры разошлись по своим палатам растревоженными и задумчивыми. Людская несправедливость беспокоила их сердца: благородных рыцарей оболгали, предали и добавок сожгли на костре – и всё ради того, чтобы дотянуться до их денег. Это было подло, это было гнусно. Но с тех далёких времён мало что изменилось, и, будь у тубплиеров карманы набиты золотом, их бы тоже ждал грабёж и, скорее всего, смерть в расстрельном подвале или сибирских лагерях. Выходило так, что советская народная нищета и полное безденежье служило им надёжным защитным щитом; а туберкулёзное единство никого, кроме самих тубплиеров, не привлекало и никому не кололо глаза. И тут было над чем призадуматься...

Переваривая услышанное и усваивая выпитое, тубплиеры в своих казённых коечках придирчиво рассматривали ночные картины. Семён Быковский видел, как, следуя мимо него на костёр, Великой магистр подаёт ему прощальный знак рукою – и вот уже его самого, Семёна, палачи в шляпах с синей тульей тащат, волоча по земле, на соседний костёр и поджигают хворост. Кутаясь в одеяло, прерывисто дышала рыжая Эмма: плавно перебирая руками горсти красивых рыцарских монет в коричневом кожаном сундуке, она даже слышала музыкальный звон золота – но не было ни одного кармана на её одежде, Эмма не знала, как унести богатство и очень от этого страдала. Стукач Миша Лобов, напротив, спал вполне спокойно и составлял во сне подробное донесение своему куратору о тайном, на берегу ручья, антисоветском сборище заговорщиков под прикрытием рыцарской сходки. Ганзейцу Сергею Игнатьеву снился дом в тихом арбатском переулке, Лира Петухова в кругу друзей и Мика Углич с судачьими глазами. А Вале Чижовой, как и рыжей Эмме, снились россыпи золотых монет и перстней. Засучив рукава и согнувшись над сундуком, Валя шуровала там голыми по локоть руками и, за неимением карманов, сыпала содержимое в собранный в кошель подол широкой юбки. С этим богатством она собиралась бежать к Владу и уже с ним вместе решать, как быть дальше.

А Влад, в своём женском корпусе улегшись на коечке против профсоюзного кубинца, закрыл глаза – и вдруг, к тревожному удивлению, почувствовал бесшумное приближение из темноты целой вереницы ночных картин.

Владу Гордину снился Иешуа из Назарета. Сын Иосифа спулся по тёплому склону горы к озеру, отливавшему в рассветный час розовым перламутром. Путник шёл не спеша, выбирая, куда ставить ногу. Низовой ветерок загибал траву склона в восьмёрки. На берегу, словно бы только-только выйдя из воды и обсыхая в первых лучах солнца, топорщились рыбацкие хижинки деревеньки Мигдал. Белая длинная рубаха свободно свисала с плеч галилеянина, скрадывая контуры его сухощавого, ловкого тела. Поверх рубахи коричневел аккуратно наброшенный грубого рядна плащ, на который, разложив его, можно было прилечь бесприютной ночью либо укрыться им.

Высоко выставив зады и пятясь подобно поломоям, два рыбака выкладывали ночной улов на прибрежных камнях. Горстка покупателей из соседней Тибериады – охотников за дешевизной – терпеливо

переговаривалась, наблюдая за работой рыбаков. Покрытые прохладной чешуёй рыбы бока влажно блестели. Иешуа, приблизившись, оглядел рыбаков в их диковинных позах и, не обнаружив среди них того, которого искал, приставил ладонь дощечкой ко лбу. Поворачивая голову от плеча к плечу, он обвёл глазами озеро и удовлетворённо опустил руку к земле и её камням: два челна, низко проसेв, направлялись к берегу, а в третьем рыболов, свесившись через борт, тащил сеть из воды.

Между тем тибериадцы принялись разгуливать от камня к камню, разглядывать товар и справляться о цене. Рыбаки отвечали без подъёма, как бы через силу – они хотели поскорей сбыть улов и не склонны были к торговой суете, в то время как пришедшие сюда ни свет ни заря горожане настроились по пути торговаться от всей души и сбивать цену, и без того невысокую.

– Это почём? – расслышал Иешуа кривого мужичка с плетёной корзинкой в руке. – Вот это?

Иешуа поглядел и увидел длинную тёмно-серую рыбину с закатными глазами на широкой усатой голове.

– Это не «это», – сказал Иешуа. – Это сом.

– Что это меняет, кроме цены? – охотно откликнулся Кривой. – Вот окунь, вот сардина, – со знанием дела он указывал на рыб, разложенных на камнях. – А это, – Кривой вернулся к сому, безучастно дожидавшемуся своей участи, – совсем не то. Можно его назвать, в самом крайнем случае, «другая рыба».

– Вот как... – сказал Иешуа. – Не проще ли обозначить его по имени – сом?

– Нет-нет-нет! – закричал Кривой и, бросив плетёную корзинку наземь, поспешно заткнул уши пальцами. – Кто тебя тянет за язык! Сразу видно, что ты спустился с гор, а не живёшь у воды!

– Я утверждаю очевидное, – пожал плечами Иешуа. – А ты, как говорят варвары, наводишь тень на плетень и морочишь голову честным людям.

– Ничего я не морочу! – возразил Кривой и приступил к разъяснениям. – Рыбу, без пробелов обтянутую чешуёй от головы до хвоста, можно есть в своё удовольствие в любое время и в любом виде. А это, – он повёл головою в сторону злосчастного сома, лежащего на камне особняком от своих собратьев по несчастью, как гой за забором еврейского кладбища, – вообще не покрыто чешуёй, ни одной чешуйки там нет – оно всё голое. И его нельзя есть, вот в чём дело.

– Зачем тогда прицениваешься? – строго спросил Иешуа.

– Так ведь эта рыба вполовину дешевле окуня, а то и в три раза, – сказал Кривой.

– Значит, ты, – продолжал расспрашивать Иешуа, – собираешься показывать её тибериадцам и брать с них деньги за погляд? Или хочешь с выгодой продать римлянам, которым, в отличие от нас, всё равно, голая она или покрыта чешуёй, как легионер?

– Не то и не то, – теребя сома веточкой, ответил Кривой. – Можно купить его по дешёвке и съесть – но только не называть по имени! «Другая рыба» – а какая другая? Или «это» – а что ещё за это?

– Мошенничество! – определил Иешуа намерения Кривого. – Грех!

– Ничего подобного, – отвёл обвинения Кривой. – Голодные утолят голод, даже не подозревая, чем они набивают кишки – и благословят меня. А я один буду знать, что «это» – это сом, – слово «сом» Кривой произнёс шёпотом, – и к нему даже не притронусь.

Спор с жестоковымым мошенником огорчил Иешуа. Он взглянул на озеро – третий чёлн уже загрузился добычей и теперь скользил к берегу Микдала следом за первыми двумя. За вёслами третьего челна сидел чернобородый рыбак, коренастый и крепкий, как камень.

– Голодные тут ни при чём, – сказал Иешуа, с неохотой отводя взгляд от чернобородого. – Сом нельзя есть не потому, что он голый, а потому, что это запрещено. Вся жизнь состоит из запретов и разрешений, и если их смешать в кучу, то в мире воцарится хаос и тоу-вавоу. Окуня есть можно, а сом – нет, нельзя. Обходя запрет, ты нарушаешь общий порядок вещей и подталкиваешь мир к хаосу.

– Кто, я? – улыбаясь недоверчиво, переспросил Кривой. – Да кто я такой, чтоб подталкивать? Царь, что ли? У меня даже второй пары сандалий нет.

– А зачем она тебе, – вдруг улыбнулся и сын Иосифа, – если та, которая на ногах, вполне ещё годится для ходьбы? А царю – зачем? Разве у царя четыре ноги, как у зверя лесного?

Чернобородый рыбак подвёл свой чёлн к берегу и выпрыгнул на камни, и Иешуа, улыбаясь открыто и широко, шагнул ему навстречу.

В горах рассвет короток: ночь расторопно сменяется днём, как по военной команде. Но минуты пересменки хороши и прекрасны, и небо в раме из горных вершин на глазах меняет цвета – вот оно чёрно-золотое, потом розовое с серым, багровое по краю и, наконец, упругая густая синева властно заливают всё небесное пространство, не оставляя и следа от рассветных подвижек.

Влада Гордина разбудил свист и цокот птиц за окном. В полутьме палаты кубинец Хуан на своей койке у противоположной стены сопел и скрежетал зубами. Лёжа с закрытыми глазами, Влад пожалел о том, что так ему и не удалось узнать, что же такое нашли тамплиеры в подземелье Соломонова храма – а ведь совсем близко очутился он к раскрытию тайны! Повернувшись лицом к стене, он вызывал в памяти и разглядывал последнюю ночную картинку: на каменистой площадке пред озером галилеянин улыбается чернобородому рыбаку, кривой тибериадец задумчиво скребёт в затылке, а уса́тый сом валяется на земле, в стороне от других рыб улова. Пролистав альбом олеографических картинок ветхозаветной старины, Влад остался удивлён: тот мир оказался торговым миром, миром торга, где базарят меж собою цари, рыбаки и плетельщики корзин. И уже вокруг центрального всеобщего базара вспыхивают, как светляки в тумане, иные интересы и пристрастия.

А Казбек вольготно выспался в своей сакле и поднялся до света. День ему предстоял хлопотный, с плотной программой. К восьми утра он был уже высоко в горах, далеко от Самшитовой Рощи – на границе льда и камня. Там, в подходящей для ночёвки пещерке, ждали его двое молодых людей – чабан Мурад и бакинский студент Джабраил. Из пещеры Казбек с молодыми людьми, оставаясь незамеченными, наблюдали за перевалом Струганная Доска – вид на

него открывался просто замечательный, как на освещённую сцену из ложи партера.

Не сводил глаз с перевала и абрек Муса из своей каменной времянки на плече горы, под самой снежной кромкой. Муса гневался: явление Ленина народам Кавказа вызывало в душе абрека сильное отвращение.

Самолёты появились в небе близко к полудню. Рыча моторами, они сделали круг над перевалом и поползли вверх, готовясь расстаться со своим грузом – обтянутой революционным кумачом корзиной с торчащим из неё серебряным Ульяновым в народной кепке и передовыми отборными комсомольцами, сопровождающими вождя в его полёте. Добравшись до намеченной высотной точки, самолёты сбросили, что надо, и улетели восвояси. Целый букет парашютов распустился над серебряной скульптурой и не давал ей, вступая в противодействие с законами природы, рухнуть на камни перевала. Дюжина комсомольских парашютистов, образовав неровный защитный круг вокруг корзины с вождём, спускалась вместе с ним.

А горный ветер, вопреки всем расчётам, вольно дул и сносил красную корзину с Ульяновым в сторону от перевала Струганная Доска. Чем ближе к земле, тем сильнее свистел и наддувал ветер, нарушая запланированную стройность полёта революционной корзины и комсомольских активистов, летевших теперь врассыпную.

Сила всемирного тяготения помаленьку преобладала, мать-земля с её камнями неотвратимо надвигалась на парящих в праздничном воздухе комсомольских активистов. Над перевалом Струганная Доска вольный ветер выл и гудел, как в печной трубе. Ульянов в своей корзине угодил в ветроток, был закручен-заверчен, словно восьмиклассница в вальсе на школьном балу, прижат к неровной поверхности и приземлился без видимого ущерба недалеко – рукой подать – от точки перевала. Отважные же комсомольцы оказались бессильны перед ходами судьбы: часть из них, двое или трое (точная цифра удерживалась в строжайшей тайне вышестоящими компетентными органами) были захвачены ветродуем, оторваны от коллектива, отнесены к скальной гряде и там расплющены. Вечная им память. Безумству храбрых поём мы песню: безумцы украшают наш мир, хотя можно было бы смело обойтись и без этих украшений.

Уцелевшие и оставшиеся в живых комсомольские парашютисты, приземлившись и отряхнувшись, огляделись окрест и принялись вслушиваться в шум дикой природы. Дело в том, что Ульянов перед прыжком был снабжён секретным военным клаксоном, который в момент приземления автоматически включался и начинал страшно квакать, привлекая тем самым внимание тех, кого надо. В нашем случае это были комсомольцы сопровождения. Заслышав условный зов, они тотчас направились к вождю, потрясённо выглядывавшему из своей корзины.

Сидевший совершенно неподвижно абрек Муса с интересом наблюдал за происходящим из своего укрытия. Глядя, как тройку молодых людей под куполами парашютов потащило сквозным ветром вдоль ущелья и влепило в скальную стенку, Муса оживился, заклекотал и зацокал языком. Абрек клекотал и цокал без всякой радости, но и сожаления по поводу разбитых о камень комсомольских жизней

в том орлином цоканье не содержалось никакого. Да и какой орёл – хоть горный, хоть низинный или даже двуглавый византийский – повёл бы себя иначе, зорко следя за опасным приключением комсомольцев!

А оставшиеся в живых парашютисты ловко подхватили Ульянова вместе с его корзинкой и, отключив опознавательный клаксон, потащили вождя пролетариата к скромному бетонному постаменту с торчащим железным штырём, неделю уже назад установленному на перевале Струганная Доска пешею бригадой. Добравшись до цели, комсомольцы перевели дыхание, снова напряглись и на счёт «три» дружно оторвали вождя от земли. Надёжно насаженный на крепёжный штырь, Ульянов утвердился, как влитой, на бетонном подножье, над пропастью. Залить соединительный шов специальным американским клеем, способным склеивать воедино железо и камень, не заняло много времени. Дело было сделано. Умей памятник размахивать кепкой и говорить слова, он, не мешкая, воскликнул бы в восторге победного порыва: «Кавказ подо мною!»

Но торжествовать победу было рановато. Дождавшись, когда комсомольцы, вытянувшись цепочкой, с чувством выполненного долга покинули Струганную Доску, двое молодых людей – студент-историк и бараний чабан – распрощались с Казбеком в его пещерке и, уверенно держась на пружинных ногах, поспешили вниз, в аул Хиндатль. Там, в ауле, гонцов нетерпеливо дожидались шестеро крепких горцев допризывного возраста, готовых к пешему переходу по высокогорью. Обманувшийся в своих предположениях Казбек – он был уверен, что вслед за комсомольцами на перевале появятся альпинисты-спасатели, чтобы отскрести от скальной стенки то, что осталось от тройки разбившихся парашютистов, – с наступлением ранних сумерек выбрался из своей пещеры, спустился на перевал и теперь критически разглядывал Ульянова с расстояния вытянутой руки. Подоспели к темноте и двое давешних молодых людей в сопровождении своей вполне боеспособной шестёрки допризывников.

А куда подевался абрек Муса, не знал никто: ни Казбек, ни орёл, ни советская власть.

Молодые люди, меж тем, не теряли времени даром. Вместе со своей шестёркой они расколотили, пользуясь долотами и зубилами, не схватившийся ещё намертво дорогой импортный клей. Затем, поплевав в шершавые ладони, взялись трясти и раскачивать Ульянова на его штыре. И, расшатав фигуру, одним согласованным тычком спихнули её с обрыва в пропасть.

Алёна КАРИМОВА *ТОЛЬКО ОБНЯТЬ...*

* * *

Я не могу писать никому,
читать никому,
а потому
подойди, я тебя обниму –
ни у кого
не сумею тебя отнять,
только обнять,
понимаешь,
только обнять...
Откочевать к зимовью, упасть в меха –
в шкуру зарыться волчью лицом сухим,
пусть от людей подальше, как от греха,
пусть ...

* * *

Печален день. И ночь еще печальней.
Когда-нибудь, за двадцать лет отсюда,
я вдруг пойму, что жизнь и вправду – чудо,
и будет, и была им изначально.
Но вот сейчас перехватило горло.
Темно, и в темноту ушли предметы,
как будто ночь предметы эти стёрла,
и скалится из темноты при этом.
А мне – изображать, что мне не страшно.
Пойду сейчас, зажгу себе светильник.
Совсем не жалко этот день вчерашний.
Течет река, и страшно пахнет тиной.
А нам пока не надо этой лодки.
Мы здесь живём. По берегу гуляем.
В аул соседний бегаем за водкой.
Друг друга с днем рожденья поздравляем.
Не надо нам. Наступит утро снова –
крыла свои подарит солнцу беркут.
И нам не надо ничего иного.

* * *

Бормотание за спиной.
Кто тебя срифмовал со мной?
Отчего допускает слух
Сердца не одного, а двух
Возвышающее биенье?
Не сравниваю с тобой мгновеньем –
Мы – чужих – и миров и тем,
Но становишься нынче всем:
Ты – мой кров и моя стезя,
Ты – мой сон, без тебя нельзя
Просыпаться в дождливый свет,
Без тебя и дождя-то нет.
Ветка-ветка, окно-окно,
Я и знаю теперь одно –
Бормотание за спиной
Для меня, для меня одной.
Осыпается век, скользя –
Поднимайся из бездны лет.
Оступиться нельзя, нельзя.
Потому и идём след в след.

* * *

Стройплощадки, знаешь ли – стройка идёт везде
И высотками рифы стоят меж глинистых рвов.
Надвигается ночь, и рыбы грустят в воде,
И подводные лодки ходят меж островов.
А ботинки грязные – разве они вещдок? –
Виноват, кто такую лоцию начертил!
Я иду на маяк, ну а там светофор продрог,
И целуются люди, и пьют себе свой этил.
Впрочем, я же не химик, откуда мне это знать,
Но целуются, знаешь...
И хочется плакать мне.
Потому что хочется жить, и хочется спать,
И цветочки, знаешь, весёлые на окне.
Так что, мой капитан, не сердись и налей вина...
Вавилон, Зурбаган... – вообще я люблю туризм!
Ну и что темнота, ну и что, что вокруг шпана –
Я же здесь,
Несмотря на топографический кретинизм.

* * *

Как хорошо, что нельзя ничего исправить.
Голое горло саднит от живой воды –
жизнь возвратится,
и пусть, что сотрётся память,
я не люблю тебя, всё позабудь и ты...

Волки фабричные мягкие лапы тычут
в пыльные стёкла летние на Тверской,
минус всё, ты не отличим от тысяч,
в общей витрине не мне загорать с тобой.

Город во мне остается фантомной болью –
вряд ли Париж, и тем более не Москва...
Некуда, вправду, деваться с любой любовью,
Если не верить логике волшебства.

* * *

Засияет тонкая тишина –
так скорей её изгонять идут:
телевизор брешет, орёт шпана,
за окном застрявших машин редут.
И сигналият, сволочи, от тоски,
что дороги нету, и нет пути –
а зато друг другу теперь близки
«в этой пробке сраной»,
как ни крути.
И бабай с обочины:
«Поделом!
Наплодились лишку!» –
и перейдёт
в запрещённом месте,
а тот, о ком, –
лишь погромче радио повернёт,
проницая снег ветровым стеклом,
ни о чем не думая вообще,
потому что думать –
смешно и влом,
день за днём,
и жизнь проскользнёт вотще.
Но любезны мне тишина и тень –
не спугни их,
ласковый мой народ, –
возвожу забор и плету плетень –
не входи в мой маленькой огород.

АНДРЕЙ АНТИЛОВ
ОДНИМ РОСЧЕРКОМ СВЕТА

* * *

Под землёй рукотворной Рембрандта,
Под завалом теней насыпным
Бьют вполголоса света куранты
По тебе, по себе, по родным.

Проступают любви крупницы
Из-под рубища жаркой тоски -
То перо окровавленной птицы,
То ресниц золотые пески.

Как талант, неглубоко зарытый,
Словно клад не у всех на виду,
Так разбойник распятый, убитый
Слышит музыку рая в аду.

Ломит время огромную цену,
Чтоб сказать – благодарствуй, отец, –
Хоть за пуговицу офицеру,
Хоть за матушкин старый чепец,

Хоть за лучик, на сердце оттёртый,
Хоть за нищий страдания мёд.
Скажет батюшка – вижу, остёр ты –
И слепыми руками прижмёт.

* * *

Утро, всё чудится что-то не то –
Шорох, с каким надеваешь пальто,
Что-то иначе немного, едва,
Словно пришиты не так рукава.
В сумерках синих на улице, сер,
Снег ноздреватою пенкой подсел.
С воздуха, кажется, сняли налёт.
Сердце догадка кольнёт.
Жизнь прожита, что-то будет – бог весть.
Вещи становятся как они есть.

* * *

Темнота, я стою посреди снегопада,
Словно в кроне деревьев огромного сада,
Он растёт на меня, оплетая корнями
Тишину над землёй в снегодышащей яме,
Расширяется вверх снегопада убранство,
Опускается стерх темноты и пространства,
И, вздыхая, стоит в белоснежной неволе
Белый конь, тишиной осыпаемый в поле,
Раздаётся тоски лошадиное ржанье,
Просто песня без музыки, слов, содержанья,
То ли вечность скрипит, как заржавленный терем,
То ли в поле храпит жеребёнок, потерян,
То ли просто вот так посреди снегопада
Можно долго стоять, возвращаться не надо,
Различая ничьи очертания смутно
И теряясь в ночи, находить поминутно

Тебя.

* * *

Март идёт по Москве ледоколом
И не портит собой борозды.
По рукам молодым полуголым
Серебришко гуляет, хрусты.

Едет купчик путёвый с рублёвкой,
Рассекает пейзаж кораблём,
Белозубой улыбкой неловкой
Вынет душу, подарит рублём.

На волне куража и азарта
Развернулись Кремля газыря.
Никакого прекрасного завтра,
Все сегодня на стол козыря.

Ты, Москва, не вмещаешься в карты,
Черноводье, медвежий умёт,
С юга нарды, на севере нарты,
В середине разлившийся мёд.

Под ногами галдят чертенята,
На Арбате поёт муравей,
Ну, а я-то что рад, ну а я-то,
Захудалых ничейных кровей?

Так... трамвай дребезжит толстосумом...
Есть четыре коротких строки
О разбойнике благоразумном
Из Евангелия от Луки.

ВИД ИЗ ОКНА

Смысл жизни, – сказал нам Тонино Гуэрра, –
Он в том, что увидишь в окне,
Проснувшись. А деньги, семья и карьера,
Здоровье, друзья, и талант, даже вера -
Всё прахом истлеет в огне.

Свой серенький двор, т.е. смысл неутешный,
Представил, вздохнул, усмехнулся:
Ну, думаю, дед в Адриатике нежной
Заелся, забылся от жизни успешной,
Чего не бывает? – свихнулся...

...Вихляет Градиска, навывкате бёдра,
Горят ветхой мебели тучи,
Пылит Нино Рота в окне Амаркорда,
И солнце, и юность, и дуче.

Как век, проплывает полуночный лайнер,
Он всех подберёт ещё на борт,
Редееет теней хоровод на экране,
Цыганский сгорающий табор.

Огонь язычком, как лисичка Алиса,
Оближет мальчишек на пляжах.
– Лизни нас, лисичка! – кричат. – Ввек обяжешь
Старик угадал относительно смысла,
Проснёшься – и вспыхнет кулиса.

Но что там, в окне, за ответы и числа -
Уже никому не расскажешь.

СТАРИК

Не притерпеться к боли, ни к какой.
Всем кажется, что в этом лабиринте
Все входы, выходы он зрячею рукой
На ощупь знает. А ему – не выйти.

Ну что там, старый хрен? – Пока кряхтишь?
Недолго уж!.. Он в коридоре белом
Трясётся, как подопытная мышь,
Марая простыни и сам мараясь мелом.

Ночная лампочка таращит мёртвый зрак.
Проход, окно... вчера было окно ведь...
Тоску неразделённую никак,
Как водку, ни сглотнуть и ни раздвоить.

Он призван на войну как рядовой,
Он – нашей армии. Но ныне, среди ночи,
К своим идти вперёд с передовой
Ему из окружения – короче.

* * *

*...Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен...*

В.Ходасевич

Обостряются духа черты.
И душа с изумлением видит,
Как под кровом её теплоты
К свету свет прорастающий идет.

Сквозь ржаной перегной доброты,
Задумчивости мягкую внешность
Прорезает асфальта пласты
Стебелька раскалённая нежность.

Вытесняя птенцов из гнезда,
Распахнёт воспалённые вежды,
И уж как себя дальше ни тешь ты –
Тот зелёный клювик листа
Развернёт тебя деревом надежды,
Длиннопалым растением креста.

РИСУНОК

Как зимнее солнышко в северной дымке,
Морозных ресниц раскалённые льдинки,
Подснежник, улыбки росток,
Вот-вот он распустится в воздухе слепо,
Задумчивый взгляд, словно капелька неба,
И детской руки лепесток.

Расплывчатых красок жемчужное млеко,
Младенческий абрис предплечья и века,
Причёски речной ветерок –
Одним нарисована росчерком света,
Ты вся словно сердцем вполголоса спета
У жизни моей между строк.

Уступчивый север, неяркая внешность,
Ты только душа и подробная нежность,
Мерцанье лампадки внутри.
Когда-то мы были с тобою моложе,
Тебе обещал я рисунок, ну что же...
Ну что ж, дорогая, – смотри.

* * *

Я, Боже, твой плетёный короб,
Сосуд скудельный,
Забыт во тьме. Снаружи город
Шумит, отдельный.

Мелькает свет, снежинки, люди,
Ларьки, торговки,
А я оставлен в ветхой груди
Вещей в кладовке.

Ты всем позволил быть, покуда
Гулять по свету,
Но если мной не явишь чудо –
Меня как нету.

Я лишь стареющие прутья,
Подобье склепа,
Худые рёбра, то есть грудь я
Без сердца, света.

Но помнит клеть свободы жженье
Во мгле утробной,
И райский ужас умноженья
Пшеницы сдобной,

И как волной на берег плещет
Народ в смятенье,
И как лозы живой трепещет
Переплетенье.

Светлана Марковская

ВДОЛЬ РУЧЬЯ

ГУЛЯТЬ ПО ПАРКУ

гулять по парку, закутанному в январскую пелену, пешком от инфаркта, покашливая слегка...

он тысячу лет назад все понял про эту страну, да и она всё знает про этого старика...

ей, в сущности, дела нет до его подагр, она – сама по себе, а он – раз в месяц в собес, она в «десятке» по детской шкале Апгар, а он – безнадёжно стар, почти не жилец...

а было ж время, всего полвека назад – держись, геолог! держись, степной малахит!.. и на вокзале на пыльный его рюкзак глядит столица, и Люба его – глядит...

...ах, Люба-Люба, чего б не пожить ещё, ждала б с прогулки, как с поля его ждала, допустим, гуляет он, она пироги печёт, а так – пять лет Любы нет, она умерла...

...а дети – Колька в 68-м попал под поезд, а больше Господь не дал... ах, Люба-Любушка, хоть бы часок вдвоём, ах, как бы плакал я, как же бы я рыдал...

...гулять по парку – последняя из забав... а дома – тихо, всех радостей – валидол, и телевизор, уставший бесстыдно врать, давно настроился на европейский футбол...

...да хоть бы пса мне, бежал бы сейчас вот тут пятнистый сеттер, назвал бы его Мухтар, но я ведь много раньше его умру, и пёс подохнет с тоски...

...я безбожно стар...

...весь парк исхожен, как тундра-моя-тайга...

...пора б к обеду сварить какой-нибудь суп...

...эх, жаль, давно отказался от табака...

...нет, если б сеттер, лохматый миляга-плут...

...прийти домой, а дом до гулкости пуст...

...уснуть...

...и никогда уже не вставать...

...и пусть собес похоронит, пусть...

...гулять по парку – последняя из забав...

...скорей инфаркт бы... а то январь да январь...

...пока ты молод, ты по умолчанию прав...

...я стар, Любаша, я так безнадёжно стар...

...гулять по парку, пока не настиг инфаркт...

СУКАВОЙНА

что ты скулишь, моя память, словно зачумленный пёс,
сон отбираешь, путаешь правду и ложь,
будут еще крест и камень, помост и погост,
будет луна в небесах, в кармане шиш или нож,
будет калина цвести, а потом – пламенеть огнём,
звон колокольный будет по всей руси,
будут молчать старики, будут скорбеть о нём,
взвоят вдовица «господь, иже еси...»,
будут лететь над ним птицы – курлы-курлы,
будет сквозь сердце его прорасти трава-мурава,
горькая, как печаль, или как полынь,
будут ещё молва, хвала и хула,
будут ещё друзья, не чокаясь, пить,
внук на блошином рынке продаст ордена,
будет ещё моя память меня будить...
сукавойнасукавойнасукавойна.....

МАТЬ

он придёт с войны ли, с футбола, или так, по пути зашёл, а у неё чай горячий, поёт радиола, и суп с лапшой... он незрячий зайдёт, больной или всё хорошо, а у неё наготове мёд или йод, или что ещё... а потом провожает свою половину под все дожди, так отпускают мужчину, сына – иди один, он уйдёт, она ему в спину глядит, молчит, и он возвращается ближе к зимам в привычный быт... и когда на дворе трава, на траве толпа, и толпа права, и кричит толпа: «откажись, распни, или нам отдай!»,.. то она говорит-баюкает: «спи-усни», и приносит чай... закрывает окно, гладит: «сыночка, заюшка... садовая ты моя голова... всё устроится, засыпай уже, засыпай...»

ЛИЯ УЛЕТЕЛА

что ты, скажи мне, делаешь, медноволосая Лия?..
Лия смеётся опять над моим вопросом.
«лилии выращиваю, клещей травлю купоросом,
вещей не коплю, сына люблю, да отращиваю себе крылья...»
как у бабочки, говорю, или стрекозы они, слюдяные?
или, как у колибри – мелкие? или, как у орла – нараспашку?
«как у самолёта они, не горюй!»... опять хохочет смешливая Лия,
мальчишку тащит подмышкой, мальчишка в светлой рубашке.
а что, говорю, дорогая Лия, как отрастут твои самолетные крылья,

куда рванешь? к каким невозможным далям?..
Лия сосредоточена на поливе лилий,
мне кивает, ещё не знает, каким полет этот будет длинным.
Икара мне поминает, и папу его, Дедала...
Лия нынче летит, закутана в ветер Иерусалима.
долго летит, полёт её будет вечен.
сын её постарел, считается, что он циник,
эгоистичен якобы, якобы бессердечен.
отращивала, говорят, крылья, а вырастила сына такого!
а он на песке палочкой пишет: «Лия...»
правда, когда один, когда не видят другие...
пишет, затем стирает, и пишет и пишет снова.

ДОРМИЦИОН

Лие

Ни пса на небе, ни звёздочки, ни луны. Вспорото, взорвано
небо насквозь крестом. Посередине горячей чужой страны –
воздух-земля – распирает пространство Дорм.
Тайна его острее любых вечерь. Камни его дневное тепло
стерегут. Ящерки-саламандры выглядывают из пещер: что
ты, чужая дочка, делаешь тут?..
Шаркает башмаками старик-аббат, с ним караулить солнце у
этих стен. Лягу на мостовую и стану ждать Руфь и Мирьям,
Еву, Юдифь, Эстер.
Сестрам моим, пожалуй, не до меня. Гордым еврейским де-
вам нужен покой. И только Лия приходит ко мне впотьмах.
Гладит по голове лёгкой своей рукой.

ВДОЛЬ РУЧЬЯ

Да никаким там особенным не был. Обыкновенный ничей.
А ведь выкрал ключи от неба, да и забросил в ручей.

Небу этот поступок пофиг, висит, не хуже кулис.
Но мне неуютно и одиноко, и некуда глянуть ввысь.

А этот куст, над которым небо плескалось еще на днях,
Сделался пуст, и всё время слепо пялится на меня.

Это очень обидно на деле, поскольку среди весны
В нём жили скворцы, и они галдели, все как один влюблены.

А в доме моём, над которым звезды торчали каждую ночь,
Мыши повывелись, кошки и гости, сметана прокисла и борщ.

Оно и понятно – кому приятно, когда над тобой ничто?
И ни рассвета тебе, ни заката, ни звёздного шапито?..

А я, как обычно, глупа и нелепа, и в сердце моем печаль.
Зачем тебе были ключи от неба, ходи теперь вдоль ручья...

47-ОЙ. БЕЗ ЗАПЯТЫХ

а я пойду по улочке в фартовой восьмиклиночке походоч-
кой-сутулочкой по лапушке-неглиночке
по заюшке-остоженке по любушке-воздвиженке в руке течёт
мороженко пломбир стаканчик вишенка
чечёткой расчётливой процокаю-прокоцаю приглажу чуб
расчёскою парнишечка не бросовый
а ты куда чернявая пойдём со мной до синема не хочет не-
наглядная стесняется красивая
а липы шепчут ласково а лето на пригорочке москва такая
красная плывет дымок махорочный
из чёрного из виллиса глядит мурло чекистское а вдоль за-
бора жимолость безликая безлистая
а я замру как вкопанный пускай себе к лубяночке и вновь
потом затопаю парнишечка-поганочка...

СЫНОЧЕК

Сыночек, чего ты, мальчик? Заплачешь, потом запрячешь
слёзы свои, словно потерянный мячик, потому, что вырос, а
взрослые плачут ночью.

Ночью, когда замедляется время. И слёзы текут как-то осо-
бенно горько. И тут бы матери подойти, да поцеловать тебя
в темя, но мать давно на своих пригорках, она не придёт,
короче.

Она не придёт, короче, оттуда назад нет тропок, они с отцом
там гуляют, где яблоки слаще сласти, а то, что ночи твои
одинокы, так это твои отныне, сыночек, ночи, твоя забота,
твои ночные напасти.

Твои напасти, твои сомненья и страсти. А ты не знал, что
мама не будет вечной?.. Что всё хорошее кончается в одно-
часье, а всё ночное в мышце живет сердечной.

А всё ночное меняется на дневное. И мама смотрит с порт-
рета, веселая, молодая. И всё становится как-то ясней и
спокойней. И росы ночные и слёзы испаряются, высыхая...

ВПАСТЬ В ДЕТСТВО

неба не встретишь, если смотреть под ноги
в смысле звезду, луну не увидишь, птицу.
мимо тебя в колесницах промчатся боги,
ангелы улетят, облако растворится.
это еще пустяк – мотыльки-акриды.
это хвосты комет и титов-гагарин,
это же нимфы, эльфы, феи, сильфиды,
это же комары на воздушном шаре.
это же мэри поппис летит за ветром.
это же питер пен и старик хоттабыч
ступа с ягой, змей-горыныч, кощей бессмертный,
это же гиперболоид и дирижабль.
это икар на последнем своем пределе,
утки, несущие в клювах дуру-лягушку.
это же вертолет и ури геллер.
это же группа «спейс» и барон из пушки.
в общем, смотреть предпочтительней все же в воздух.
там происходит движение тел небесных.
...ну, на худой конец, можно глянуть в речную воду.
мельче гораздо, но все равно интересно.

МОЁ

ладно, коль неизбежное – выбирать,
выберу то, что нашарит в мешке рука –
финики, фиги, оливки и виноград,
зёрнышки, пуговицы, блёстки со дна мешка.
«да» предпочту любому угрюмому «нет»,
выберу только такое, что всё – моё.
«выбери лучшее» – самый ходульный тренд,
мне же подай, что созреет и прорастёт.
тёплый агат предпочтительней, чем алмаз.
зимним дождям подстелю утомленную твердь.
выберу только эти из сотен глаз.
выберу только эту из сотен вер.
всем эверестам я предпочту кармель,
выберу дёготь, если предложат мёд.
выберу самую странную из земель,
ту, где проходит всё, да никак не пройдёт.

Марк Азов

ДВА РАССКАЗА

МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА

– Ну, вот, ты и проиграл свою войну, – сказал он.

– Какую войну? Где война? – я с трудом расклеил глаза.

Ничего, кроме коробочек с лекарствами на столике.

– Ты их выстроил двумя колоннами, – усмехнулся он. – Это твои боевые порядки?

– Кто вы такой, и где вы прячетесь?

– А я и не прячусь. Взгляни на календарь.

– А-а... Тогда понятно.

– Давай побеседуем.

– А что, еще есть время?

– Немного. Но на этот раз тебе не увильнуть. Где та твоя шапка-невидимка?

– Это вы о чем?

– О той самой, с малиновым околышем.

– Ах, вот ты кто. Тот самый снайпер.

– Тот снайпер, ты знаешь, где. Оттуда не возвращаются. Теперь я за него.

– Откуда ты знаешь про фуражку?

– Я знаю все. Мы смотрели сквозь один и тот же прицел, и я, и снайпер, одновременно.

– Выходит, я и тебя провел.

– Меня не проведешь...

– Да уж...

Рывкнул телефон.... Я схватил трубку.

– С днем рождения тебя. До ста двадцати!

Разогнались.

Я без всякого энтузиазма прошелся по боевым порядкам своих лекарств. Сглотнул пару таблеток, запил из стакана.

А и правда, где та фуражка? Наверно, бросил тогда в кювете, там ее и затоптали... А какая была фуражка, ну, не фуражка, а мечта! Тогда еще даже генералы таких не носили.

В офицерских фуражках, с гордой высокой тульей и лихим закругленным маленьким козырьком, нам, детям Страны Советов, изображали белопогонников (они же золотопогонники) – царских сатрапов и белогвардейскую сволочь. У командиров Рабоче-крестьянской Красной Армии фуражки были куда скромнее: лепешка с козырьком. Зато из хорошего сукна ярких цветов. У пограничников верх и околыш цвета первой весенней зелени, у войск НКВД – верх ядовито-сиреневый, кавалеристы щеголяли в синих, летчики в фиалковых цветах, артиллеристы ограничивались пугающе черным, а у пехоты был скромный «защитный» верх, зато малиновый околыш...

Война все эти цвета стерла.

Даже лаковый козырек, типа штыковой лопаты, позеленел... А нам, наскоро сделанным лейтенантам, выпускникам училища в Ашхабаде, вообще выдали пилотки, и будь здоров.

Но наш выпуск совпал по времени с событием выдающимся: советский паровоз, который «летел вперед», рассчитывая на «в коммуне остановку», внезапно резко подавал назад и стал откатываться ко временам «православия, самодержавия и народности». Потому что партия – наш рулевой (в одном усатом лице) решила, что под российским имперским флагом советскому колхознику будет сподручнее массово помирать на полях сражений, – и армии вернули погоны. Таким образом, мы, первые из выпускников злосчастного училища смертников, получили не петлицы с кубарями, а погоны со звездочками. И ощутили себя, представьте, не белогвардейской сволочью – золотопогонниками, а белой костью, голубых кровей господами юнкерами, произведенными в офицеры. Нам, «бабочкам-однодневкам», только фуражек с высокой тульей не хватало для дурацкого счастья.

И надо же, что в то самое время, в том же азиатском Ашхабаде помирал полуголодной смертью эвакуированный еврей-шапочник, который сподобился еще в царские времена шить фуражки и господам приставу, и приезжему штабс-капитану, да мало ли еще кому.

И новоявленные господа-юнкера, не все, конечно, а самые книжные из нас, тайком потянулись к каморке шапочника... Мы подарили ему большой кусок счастья на старости лет, а он построил воздушные замки для наших лопоухих голов.

– Может, в моих фуражках вы припомните фашистам, товарищи военные, что у меня пол-Мелитополя было родичей?

На последнем построении мы стояли еще в пилотках. Начальство так и не узнало, что из ворот, опутанных колючей проволокой, оно выпустило не очередную серую скотинку, а храбрых подпор-рютчиков из старого кино.

Научный факт, еще сэр Ньютон доказал: фуражка давит на голову, а не голова – на фуражку. Когда поезд, набрав ход, оставил вокзал позади и почухал степью, мой друг Ося, с глазами счастливого барана, первый вытащил свою фуражку из «сидора», надел набекрень и высунул голову в окно, – знай наших. Думаю, каракумские скорпионы были первыми и последними свидетелями его триумфа. Ветер шутя-играючи сдул этот курносый парусник с его стриженной головы, фуражка еще некоторое время пыталась лететь, ныряя, наперегонки с поездом, пока не отстала безнадежно. Но ветер не на того напал. Ося сорвал стоп-кран. Поезд тормозил невыносимо нудно. Ося выскочил, как был, в кальсонах, на подножку... Но ничего, кроме хвоста поезда, уже не увидел. А сопровождающий, командир роты так матерился, что даже грохот двинувшегося состава не заглушил потока русской речи. Так была потеряна первая из фуражек. А головы? Пока их еще только кружило...

За три дня в Москве, в резерве, я настолько привык носить фуражку не в вещмешке, а на голове, что и думать о ней забыл, когда очутился в прифронтовой полосе на дороге, ведущей в Ад, там так и было написано «Дорога ВАД» (Военно-административная дорога), то есть по пути к месту службы, которое предстояло еще найти. Место это на условном языке называлось «Хозяйство Ушакова». И даже столбики попадались с такой надписью. Но я-то знал, что никакое это

не «хозяйство», а особая отдельная гвардейская ордена Суворова и еще кого-то бригада резерва главного командования, на минутку.

И вот, в поисках «Хозяйства Ушакова» я набрел на какого-то дядю в кожаном пальто без погон. Дяденька оказался весьма осведомленным, любезно показал мне кратчайший путь, но на прощанье посоветовал снять фуражку и заткнуть ее себе поглубже.

— Это почему же?

— Потому что комбриг, тот самый Ушаков, — тиран, сатрап и самодур. Все его офицеры, до начштаба и до замполита включительно, должны ходить в пилотках, а фуражка на всю бригаду одна, вот такая, как на мне, с брезентовым козырьком и «цвета каки», — на дяде был такой же головной убор, как на всех довоенных портретах Сталина. — Только сам Ушаков щеголяет в такой вот сраной шапке, которую он называет короной. Если этот сатрап увидит тебя с малиновым околышем, просто представить не могу, что он с тобой сделает.

— А что он может сделать? Дальше фронта не пошлет.

Я был молодой, свободолюбивый, в училище во время проверок при звуке моей фамилии правофланговые автоматически кричали: «На гауптвахте». Так неужто теперь, в офицерском звании, я буду шапку ломать перед каким-то сатрапом, коронованным полувоенным картузом?

Резиденция комбрига помещалась в автофургоне. Там пили спирт старшие офицеры, от майора и выше, с засунутыми за ремни пилоткам. В центре восседал полковник, Герой Советского Союза.

Матерчатая фуражка лежала перед ним на столе.

Я, конечно, сразу узнал того добродушного дядю в кожане, который любезно послужил мне проводником по дороге в Ад. Но что мне оставалось делать, не прикладывать же руку к непокрытой голове. Вскинул к малиновому околышу:

— Для прохождения службы прибыл...

— А слушать советы старших не привык. За то, что одет не по форме, пять суток ареста.

— Есть пять суток!

Устав я знал назубок. Офицеров на губу не сажают, мне теперь положен домашний арест.

— Прикажете ехать домой, товарищ гвардии полковник?

— Кр-р-ругом! После войны отсидишь... Умный? Посмотрим, какой ты умный.

А я, как только вышел из фургона, сразу понял, какой я дурак, да еще в колпаке. Ведь даже тыловые крысы сменили «повседневную» форму на полевую. И я спрятал фуражку в мешок поглубже, а на свою повинную балду напялил пилотку...

Поди знай тогда, что фуражка спасет мне жизнь.

С «хозяйством Ушакова», я не ужился и в пилотке, пришлось пахать животом пол-Европы в составе других, не столь элитных подразделений. Но под конец войны довелось свести *шапочное* (подчеркиваю) знакомство с воинской частью, куда более отборной, привилегированной, я бы сказал, изысканной... но со стороны противника.

На нас была брошена последняя надежда рейха — дивизия «Великая Германия», и один из полков ее, полк сопровождения ставки фюрера, атаковал нас в лесу, где в прежние времена прусские юнкеры благородных кровей охотились на оленей. Сейчас от их заповедного

леса остались лишь изуродованные культы деревьев, торчащие из песка, усыпанного хвоей и гильзами. Ко мне подошел чудом уцелевший немец в шляпе с пером и убитым зайцем в руках, егерь, попросил подписать бумагу, что его подопечного-зайца не браконьер подстрелил, а советская артиллерия. Но нам было не до зайцев, мы сами поджали уши, потому что фрицы устроили нам своеобразную психическую атаку. Где-то справа, потом слева, показалось, даже позади нас, заиграли тирольские рожки...Тата-тата...Тата-тата...Печально замирающая и вновь оживающая музыка пилила наши души. Как потом оказалось, они катались по окрестным дорогам на пожарных машинах с прерывистыми сиренами, каких у нас еще не было. У многих подвело животы. Мы лежали у ящиков трофейных гранат с длинными ручками и ждали неминуемого.... Но в котле оказались не мы все-таки, и мы увидели их вживую, с поднятыми руками и растерянными лицами. Великаны-блондины в куртках голубоватого оттенка, опущенных легчайшим белым мехом. В высоких несокрушимых ботинках, огромных, как пароходы, бриджах и гетрах. Наши косопузые «славяне» нагрузили одного такого верзилу связками мин для миномета, он нес, не сгибаясь. а они плясали вокруг, чумазые и весьма довольные. Фриц тоже улыбался, он как будто участвовал в игре, и на его белых холеных щеках высоко над толпой цвел пятипалый румянец, будто крепкая нордическая девушка приложилась...

И надо же, навстречу попался генерал, в расстегнутой бекеше, смушковой папахе, со свитой из штабных офицеров и упоенный победой. Он, не долго думая, приказал «славянам» разгрузить пленного великана и выпустить из первой линии траншей прямо на нейтральную полосу.

– Пушай бежит, а мы постреляем.

Все штабные, сопровождавшие генерала, вынули свои пукалки и принялись пулять в убежавшего фрица. Они никогда не учили солдат по-настоящему уходить от пуль, солдат должен густо бежать и громко кричать....А то, что проделал с ними дрессированный немец, ничем, кроме цирка, не назовешь. Он уходил зигзагами: падал в одном месте, вставал в другом, совершенно неожиданным... Так и ушел к своим.

«Славяне», лишённые тягловой силы, сплюнули, матернулись, закинули мины на загравки и пошли, утопая в песке.

Но если бы все так и закончилось плевками в сторону генерала... В полях, на холмах, на шоссейной дороге наш порыв неожиданно захлебнулся – мы получили бой, в котором от нашего полка осталось одиннадцать – не шучу, одиннадцать «активных штыков».

Но это потом. А пока, срочно латая оборону, по батальонам разбрасали полковую разведку, связь и всех, кто попадет под руку. Мне было приказано бежать в батальон, где из офицеров уже не было никого, кроме самого комбата.

Туда вела прекрасная дорога, какие умели строить и беречь только немцы. Темно-синяя лента непорочного асфальта на кремневой «подушке» и длинные канавы-кюветы с двух сторон. По кювету я бежал, почти не пригибаясь...Но то, что я уже видел впереди, не внушало оптимизма. Впереди был всего-навсего перекресток. Эта дорога пересекалась другой такой же, и там уж с этим кюветом придется попрощаться. Надо будет выскочить наверх и пробежать

совсем немного по асфальту, чтобы нырнуть в другой кювет... Но легко сказать – пробежать. Мимо смерти не пробежишь. Там, на кресте дорог, я уже видел лежащих, раскинув ноги в пыльной кирзе или даже в обмотках, наших «славян», а еще целый взвод, в горбатых гимнастерках, залег в кювете, и командир, чуть не плача, тыкал наганом в спины, пытаюсь выгнать на лобное место, открытое всем ветрам... Никто не хотел умирать...

А у меня было время подумать, меня в спину наганом не тыкали. Я скоро понял, в чем дело. Снайпер пристрелял это место. И снайпер не простой. Он бил иногда очередями, очень короткими, но... Солдаты Великой Германии уже бросали такое оружие. Я видел. Легкая, изящная, как музыкальный инструмент, самозарядная винтовка с широким диском и оптическим прицелом. У этого инструмента безотказного убийства были две откидные ножки, «подсошники» – так это у нас называлось. Нетрудно было догадаться, что сейчас фриц упер «подсошники», может, даже вонзил в землю, установил прицел намертво в одной точке и там ожидает нас, перебегающих насыпь. Дождлся – нажал на крючок. На ловца и зверь бежит...А умирать не хочется...

И «мозга» в этих случаях работает на предельных оборотах. Как бы заставить фрица оторвать от земли «подсошники», чтобы хоть на мгновение сбить ему прицел? Для этого он должен начать нервничать...А с чего ему нервничать? Не в него же целятся...А что, если... Если перед ним замаячит такая цель, какую нельзя упустить, потому что нельзя упустить ни за что!

Я достал из противогазной сумки, в которой все свое носил с собой... Да, ту самую фуражку. Мелитопольский шапочник, наверно, икнул в это время в гробу или в койке. Его кустарное изделие вступало в поединок с оптикой самого Цейса. Я надел фуражку, помаячил над краем кювета и побежал... Я еще оставался дичью, но уже видел глазами охотника и думал его головой.

Когда над кюветом мелькнул, пропал и снова показался малиновый околыш, немец подумал – не мог он так не подумать, когда все вокруг зеленые – что это, по меньшей мере, генерал... Важная птица вот-вот взмахнет малиновыми крылышками в кружке прицела. Сердце охотника, должно быть, задрожало, и сладкое ожидание залило патокой мозги. И он ждал, уже с нетерпением, не сдвигая с «подсошников» свое оружие, когда, наконец, начальственная фуражка обозначится в кольце прицела. О том, что я могу передумать, повернуть и не выскочить на дорогу, ему не приходило в голову. Война не променад перед завтраком: туда-сюда. Идешь – иди.

А я повернул...Фуражка метнулась в обратную сторону. И он вырвал «подсошники» из земли, разворачиваясь мне вдогонку. И, когда я, крутнувшись, взлетел на асфальт, ствол клюнул в его руках, очередь прошла на уровне ног, две пули стесали кожу с гармошки сапога. Я этого не успел заметить, прыгивая в кювет уже по ту сторону ока смерти...

Зря он меня упустил. Пшеничное поле, на краю которого он лежал, сразу за перекрестком расширилось, доходя до шоссе, и перекрывало ему обзор. Он не увидел и не услышал, стреляя, кто подползал уже так близко, что видел белые детские волоски елочкой на шее атлета.

Любители жестокой прозы могут дальше не читать.

- Я отсчитал тридцать капель, долил воды в рюмочку
- Но почему ты говоришь, что я проиграл войну?
 - Потому что эту войну выиграть невозможно.
 - Все-то ты знаешь. Ты кто, Бог?
 - Всего-навсего ангел смерти. Вспомни, сколько лет протекло?
 - Столько не живут.
 - Это ты сам сказал, учти.
 - Но я живой, между прочим.
 - Потому что я еще не решил, куда прицелиться. Снайпер, примитивное существо, целит в лоб, промеж глаз, в висок, в крайнем случае. А мне приходится выбирать: печень, легкие, селезенка, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа...? Может, простата? Ну-ка, повернись.
 - Смешно, право: тогда снайпер вообразил себя ангелом смерти, теперь ангел смерти работает снайпером.
 - Смеется тот, кто смеется последним, – ангел был явно не склонен шутить. – Снайпер не воображал, а был мною... Работал за меня. Короче: он из моей команды!.. И сейчас пришло время посчитаться с тобой.
 - Вот и давай подсчитаем. Сколько еще человек он бы лишил жизни, твой волшебный стрелок?
 - Еще пятнадцать, минимум, успел бы до конца войны.
 - Но не успел. Значит, счет все равно в мою пользу.
 - Матрас подо мной вздохнул и распрямился – должно быть, мой невидимый собеседник наладился уходить.
 - Ты знаешь, я вернусь непременно, – пообещал он. – Есть война, с которой нельзя придти живым, хотя она называется жизнью.
 - Ты прав, – согласился я. – Но ведь можно выиграть по очкам.

ОНА И ОН

Размеры Вселенной были в десять раз меньше нынешних, и вещество прозябало в полной темноте – первые галактики только-только разгорались. Именно они положили конец продолжавшейся полмиллиарда лет тьме и стали началом знакомого нам мира, пронизанного светом со всех концов небесной сферы.

Из научных гипотез

ОНА. Неправда, что у него нет лица. Просто его никто не видел. Я никогда не забуду эти фиалковые глаза, которые смотрели на меня, а жили отдельно. Его пальцы лепили меня из кости. При каждом прикосновении кость становилась податливой и пластичной, наполнялась прозрачностью, пронизанной сетью пугливых прожилок. Пальцы уже ваяли мою шею, а глаза смотрели мимо уха, которое стало невыносимо горячим от его дыхания. Неужели он не чувствует, что происходит со мной, когда под его пальцами набрякли груди и пробудились соски. Они побежали дальше... погоди! дай мне опять улететь в сладкую пропасть!.. Неужели ты не видишь, что творишь?

ОН. Я думал, прекраснее Первого уже не получится. Но эта, Вторая, превзошла мои ожидания. Стоит прикоснуться, и она рас-

цветает под руками. Нет, не расцветает, а обжигает...Ну, зачем ты так дышишь, милая? Если твое дыхание еще раз прервется, я захочу умереть с тобой вместе.

ОНА. Ты бог.

ОН. Как ты сказала?

ОНА. Ты мой бог!

ОН. А ты думала, хирург?...Ну не падай, пожалуйста.

ОНА. Ноги не держат.

ОН. Такие крепкие ноги? Точеные ляжки. Железные икры. Арка стопы – сон архитектора будущих времен.

ОНА. Обними меня. Я хочу жить у тебя подмышкой.

ОН. Что я делаю?! Я обнимаю ее, а необъятная Вселенная так и осталась не объята. Да и черт с ней! Мы вдвоем падаем в бездну среди черных звезд, и нам нет до них дела.

ОНА. Вот так, крепче, еще крепче, раздави меня.

ОН. Я так и сделаю, я раздавлю тебя!

ОНА. А-а-а!.. Ты раздавил меня, и вот, я, наконец, живая. Где мы?..

ОН. В раю.

ОНА. А почему темно?

ОН. Разве ты меня не видишь?

ОНА. Только тебя. Твои фиалковые глаза.

ОН. А я твои яростные зрачки, расширенные до взрыва сверхновой. Но мне нельзя было это видеть так..

ОНА. Почему? Ну почему?

ОН. Сказать ей? Нет, невозможно. Она этого не вынесет, и я ее потеряю.

ОНА. Унеси меня, потихоньку, не зажигая света. Я чувствую – тут кто-то есть.

ОН. Как она может это чувствовать?

ОНА. Я не чувствую, я терзаюсь! Ты был здесь до меня неизмеримо долго... За тобой тянется целая жизнь, а я только что вырисовалась из ничего. Не я первая.

ОН. Ты единственная! Я способен сотворить женщину совершеннее тебя: с жемчужной головкой на возвышенной шее, с мраморными храмами груди, с идеально выпуклым щитом живота и свободным разлетом бедер, с ногами, бесконечно ниспадающими с высот, и кожей, подобной бледно-розовому рассвету, либо цвету луны, а можно – черного дерева... Но я не стану этого делать, чтоб не потерять тебя, потому что ты и раба моя, и царица!

ОНА. Да я, наверно, не лучше, но я родилась при свете твоих фиалковых глаз, заснула у тебя подмышкой и боюсь просыпаться. А вдруг все размоется, станет серым, как жизнь.

ОН. Откуда ты знаешь про жизнь?

ОНА. Я знаю все, что ты думаешь. Ведь ты во мне. Унеси меня отсюда. Мы должны остаться одни, иначе все кончится.

ОН. Какая ты легкая!

ОНА. Это я взлетаю.

ОН. А что щекочет мне грудь?

ОНА. Мои ресницы.

ОН. Люди! Если на кого-то из вас обрушится такая любовь, берите на руки и несите куда глаза глядят, пока не упадете вместе. Второго раза не будет!..

* * *

ОНА. Что это?! Я не хочу этого видеть! Оно ужасно!

ОН. Ну что ты, милая? Это всего лишь свет. Вселенная должна была зажечься когда-то. Видишь, сколько звезд? Выпали звездные ливни.

ОНА. Но почему сейчас? Я не хочу сейчас!.

ОН. Но ты сама виновата. Вернее, мы оба. Какая тьма может выдержать такую любовь?!...

ОНА. Ну почему я не любила его чуть меньше?! Мы бы не высекли огонь из тьмы. И наш сладкий обман продолжался бы. А так... Открылось, что мы не одни. Рядом лежал человек, то ли еще не до конца сотворенный, то ли убитый. В боку была рана, стянутая и зашитая.

Кто это?

ОН. Твой муж. Он пока под наркозом.

ОНА. Муж?... А разве не ты мой муж?

ОН. Я твой бог. Ты же сама сказала. Я сделал тебя из его ребра, ты плоть от плоти его, и кость от его кости. И сказал, что оставит он отца и мать своих и прилепится к жене своей, и станете вы вновь единой плотью... И в муках ты будешь рожать детей ему, и будет к нему влечение твое, и будет он властвовать над тобою.

ОНА. Не хочу!

ОН. А тоже уже не хочу. Все во мне кричит: «не хочу!» И звезды сбиваются со своих путей от этого моего крика... Но я все-таки Творец, а не подлец. Я искренне хотел добра своему творению Я сказал: «Нехорошо человеку быть одному», – и он согласился на операцию, и я навел на него глубокий сон, и взял из его тела тебя... А выходит, пока он спал, я его обманул, и из окровавленной кости его сотворил женщину для себя...

ОНА. Я люблю только тебя.

ОН. А я люблю не только тебя, но и свою работу. Этого ты не поймешь, потому что ты женщина. Но вообрази, жизнь моя, что у тебя уже есть дети. Разве ты предашь своих детей ради самой сладкой, отчаянной, безумной любви? Ты их оставишь не рожденными?

ОНА. Не знаю.

ОН. Но я-то знаю. Я сам сделал так, что детей твоих и детей от детей твоих, и внуков от внуков станет, как звезд в пространстве. Созвездиями станут города, а страны галактиками. На то, чтобы только толкнуть, запустить этот механизм, мне понадобилась вечность.

ОНА. И она легла между нами, твоя проклятая вечность.

ОН. Но тебя не было, я был один и, согласись, я не мог оставаться один навечно. Это невыносимо.

ОНА. Бедный, мой бедный бог!.. Ты уже не один, я рядом. Вот она я, смотри же, открой свои фиалковые глаза!

ОН. Какие глаза? Ты их выдумала. У меня нет облика.

ОНА. Ладно. Не надо. Лишь бы ты любил меня.

ОН. А разве я тебя не люблю? Я даже плачу впервые в вечности, отдавая тебя чужому человеку. Но я уже не могу, не имею права, остановить жизнь, обещанную твоим детям. Я сам нашел тебе мужа, сам назначил тебя матерью. Как от меня разбегаются звездные миры в радужном шаре вселенной, так от тебя будет разливаться по планете род человеческий.

ОНА. Когда твой радужный шар раздуется до невозможности и лопнет вместе с моим родом человеческим, ты пожалеешь.

ОН. Уже пожалел...

Лион Нагель
АЗАРТ ПАЗА

* * *

– МИД? – Бдим!

* * *

Я отсижу уж и стоя.

* * *

Давил авторов у ворот? Вали в ад.

* * *

О моде Венере неведомо.

* * *

Несун гнусен.

* * *

Ада рада,
Бабуин ни у баб,
Ни у руин.

* * *

То идиш, идиот!

* * *

Не жене – денежен!

* * *

Хил я, он – иной, он, и ноя, лих!

* * *

Коня! Тропу! Портянок!

* * *

Я уж рубала буржуя,
Я уж умру, хурму жуя.

* * *

Киске – сексик.

* * *

О! Накакано!*

* * *

Азарт раза.

* * *

Искать такси?
А в руки ноги и гони, курва!

* * *

Не догнал панну гунн, а план годен.

* * *

– Отчалил? – А что?

* * *

Обмерен. Не Рембо.

* * *

Шику – кукиш!

* * *

Ищи в супере репу, свищи!

* * *

Мочи, прикончи лично кирпичом!

* Посвящение собачке Гуци моего двоюродного дяди Ицхака Орена (Наделя) – писателя, учёного (1918 – 2007).

* * *

Инок сир искони.

* * *

Утоп в поту.

* * *

Око (азы!) за око!

* * *

Окорок? О!

* * *

Я и ты, Босх, события!

* * *

Ценим, сэр, эсминец!

* * *

Нахапал, а, пахан?

* * *

И претит, и терпи.

* * *

Чти китч!

* * *

И леденец в цене. Дели!

* * *

Сартр – ас!

* * *

Дарконокрад.

* * *

Кто видел леди в ОТК?

* * *

Иду, не нуди!

* * *

Унежь жену. Унежь же, ну!

* * *

Усама! Хана Хамасу!

* * *

Циники, ниц!

* * *

Рикша, Бунин, араб и Ленин ели баранину башкир.

* * *

Худо, Отче! В резерве что? О, дух!

* * *

Молод – и море химер, греми хером-идолом!

* * *

Лёша на току кота нашёл

* * *

Жар – и манит Сион и вино... Истина? Мираж?

* * *

Ешь не меньше! Вот!... Кур, фруктов ешь не меньше!

* * *

Море, лето. Введи дев: в отеле ром.

* * *

Я сливался, нежен, я славился.

* * *

Ищите? Не те щи?

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Зубра тень? Не то робот? Еж? О, мама, может, оборотень? Нет! Арбуз.

* * *

Не гни мамин, и дядин, и папин ген!

СЛАВА ЯЗЯМ!

Ужи в тенетах, ах, Изя, и киты – нытики. Язи , ха-ха, те – нет.

* * *

Нам реб уготован – велик аки лев! На вот: о, Губерман!

* * *

Я учён: гоню, ног не чуя.

* * *

Цени рёв, зверинец!

ЛУЧШИЙ ДРУГ ЕВРЕЕВ

Сталина маца манила? Тс...

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Мила, опал «Апоалим»!

ИЗ ДРЕВНЕРИМСКОГО

Тит, а к акведуку девка катит!

ИЗ НОВОИЗРАИЛЬСКОГО

Хата бед в дебатах.

Турам Батиашвили

СИНАГОГА

Памяти моего друга Бадри Чохонелидзе

Деревня у подножья горы утопала в густой зелени. Она издавна считалась оторванной от всего света, поэтому трудно угадать, что могло привести сюда евреев. Для пропитания местным жителям приходилось непрестанно трудиться, орошая землю потом. Но несмотря на это усердие, с продовольствием всегда были трудности. Соседний аул располагался за перевалом, на противоположном склоне крутой горы, и целого дня не хватало дойти до него. Хорошо, что у двух-трех жителей деревни были лошади, иначе отсюда было бы вообще никуда не выбраться. Опираясь на эти факты, исследователи предположили, что евреи с незапамятных времен были умелыми земледельцами, ибо кроме как земледелием прокормиться в деревне было нечем.

Но вот цивилизация достигла и этих мест. У одного русского генерала, проездом оказавшегося в наших краях, зародилась мысль проложить в горах большую дорогу, которая значительно сократила бы путь между Кутаиси и Тифлисом и обеспечила казне большую экономию по части переброски провианта и прочего довольствия.

Генерал – вечная ему память – оказался человеком дела: за каких-нибудь два года русские солдаты соорудили такую дорогу, что вся деревня молилась за здоровье своего благодетеля и его семьи. Край ожил: наладилась торговля, люди принялись ездить – кто в Кутаиси, кто в Тбилиси, а кто и еще дальше. Деревня разрослась, вокруг появились новые поселки. Кутаиси был большой город, где что угодно и купишь, и что хочешь продашь, а про Тбилиси и говорить нечего – столица. Через несколько лет деревня наша превратилась в настоящий город. Вместо скромного молельного дома была возведена настоящая синагога – бейт-кнесет. Словно белый лебедь, вознеслась она над прочими постройками.

Благодаря дороге люди познали большой мир, теперь уже и Одесса, и Стамбул не были пределом дерзновений наших евреев. Отец Иосифа Иезикиил доставлял товар из самой Варшавы. Кстати, это именно Иезикиил первым сказал: стыдно нам, евреи, в столь убогой лачуге Всевышнего восхвалять, и нашим священным книгам не подобает здесь ютиться. Видали, какую синагогу кутаисцы отгрохали? Может, и нам последовать примеру умных людей?

Строили синагогу всем миром – и не только евреи, но и грузины трудились над ее возведением. Резчиков, правда, пришлось приглашать из Кутаиси, местные мастера так и не сумели выпилить ни звезду Давида, ни семисвечник. Главный строительный материал – белоснежный камень – доставляли на телегах из соседней деревни. Цветные витражи Иезекиил привез из Варшавы. А в следующий свой приезд он оставил Шломо, который был избран казначеем и собирал пожертвования, сорок золотых монет. Меир прислал из Одессы такие

роскошные ткани на занавеси и футляры для Торы, каких во всей империи не сыщешь. Ну, разве что в двух-трех синагогах – не более.

Немыслимой красоты возвели синагогу. Наверняка она превосходила великолепием и многие другие синагоги, но главное, оказалась в тысячу раз прекраснее кутаисской. Это вынуждены были признать даже сами кутаисцы, так что наши евреи возрадовались до небес, да и окрестные грузины гордились таким приобретением города. Синагога стала главной достопримечательностью края.

После установления в Грузии советской власти городок наш превратился в районный центр. Вскоре провели и железную дорогу. Вместе с железнодорожниками в город хлынул разношерстный люд. Старикам это, конечно, пришлось не по вкусу. «Полюбуйтесь, что ваши большевики натворили!», – ворчали они, сокрушаясь о падении нравов.

Хотя ничего такого уж страшного не произошло. Выяснилось даже, что кутаисцы и тбилисцы высоко ценят наших невест. И не случайно: наши женщины проявили себя с самой положительной стороны – скромные, трудолюбивые, преданные семье, чистоплотные, умели и свекра со свекровью уважить, и детей как следует воспитать.

Правда, лет через десять-пятнадцать после того, как железную дорогу провели, единство общины несколько нарушилось: покойников уже не вся деревня в последний путь провожала – только родные и близкие.

Да и на свадьбах гостей стали отбирать попридирчивее: в первую очередь старались приглашать людей солидных. К примеру, Эхискелашвили никто не спешил включать в список. Нет, семья эта не бедствовала, и одеты были неплохо, но желающих слушать этого глупца не находилось. Разумеется, и Габриелашвили, который шил на базаре чувяки, никто не стал бы сажать во главе стола. У каждого теперь была своя доля: кто одежду шил, кто в райсовете заседал, кто газированной водой торговал. Абрамико, к примеру, хлеб выпекал, Иосиф кожи выделывал. При них кормилась добрая треть города. Поэтому, естественно, их имена в любом списке гостей стояли первыми. А потом к этому списку присоединился и Яков.

Яков оказался одноклассником первого секретаря райкома Дмитрия Луарсабишвили и вскоре сделался председателем райсовета. Решительный был человек. Влияние его в городе росло день ото дня, поговаривали даже, что Абрамико и Иосиф его побаиваются. А все потому, что он пользовался особым доверием у Дмитрия. Так или иначе, но эту троицу приглашали к себе все – и грузины, и евреи. Правда, Абрамико и Иосиф в доме у грузин вежливо отказывались от угощения, ссылаясь на то, что Бог запрещает им прикасаться к некошерной пище. Поздравляли молодых, вручали им подарки и вскоре незаметно удалялись. Грузины знали еврейские обычаи и ничему не удивлялись. Яков же вел себя совсем по-другому – шутил, смеялся, ел и пил что в еврейских домах, что в грузинских. Одним словом, и здесь, и там был своим человеком.

Порог еврейского дома Иосиф и Абрамико переступали гордо и величаво. Поздравляли с бракосочетанием или с обрезанием, вручали подарки, но опять-таки угощением не увлекались («Что вы, что вы, спасибо, у нас минуты свободной нет») и спешили дальше – главное, долг свой перед общиной выполнили.

Правда, вином порой не гнушались. Могли и посоревноваться в выпивке. А если замечали среди гостей членов бюро райкома, не торопились уходить. Вспоминали, что Всевышний велит веселить молодоженов, и, отведав вина, затягивали свадебную песню. А пели они так – по-грузински ли, по-еврейски ли – заслушаешься!

Но самым желанным гостем теперь сделался Яков. Сначала пили за здоровье Якова, а потом уже за Иосифа и Абрамика.

– Он сегодня большими делами ворочает, – качал головой Абрамика и прибавлял вполголоса, – но не знает, что коммунисты ничего никому не прощают!

Иосиф не спешил делиться с приятелем своими мыслями, но про себя утешался: «Верно, сегодня Яков на коне, а завтра они вышвырнут его, как выжатый лимон». Однако авторитет Якова с каждым днем рос, и Иосиф все больше мрачнел.

Однажды, когда в залитой солнцем синагоге община решала вопрос выпечки мацы к Песаху, Менаше спросил:

– Ну, а ты что скажешь, Иосиф, как решим это дело?

– Откуда мне знать, Менаше, я человек маленький...

– Не скромничай, Иосиф, твоих знаний и доблестей на добрый десяток мудрецов хватит, – улыбнулся Менаше, – если не у тебя, то у кого же спрашивать?

– У главного еврея района, – процедил Иосиф.

Никто не стал уточнять, кто же этот «главный еврей». Это еще сильнее задело Иосифа, и с того дня он окончательно умолк. Но не сдался. Если хочешь одолеть противника, позволь ему задирать нос и изображать из себя важную персону. Скоро у него появится столько завистников, что скинуть его с горки, на которую он взобрался, будет совсем не трудно. Как-то раз Иосиф шепнул Вану Гиорхелидзе: «Ты понапрасну тратишь время, бегаешь от одного к другому. Твоя задача – найти подход к Якову, через два дня получишь все, о чем мечтаешь. Ты же знаешь, что Луарсабишвили, наш первый секретарь, без него шагу не делает».

У Иосифа были хорошие отношения с начальником милиции – чтобы цех работал нормально, необходимо ладить с милицией. Наверное, поэтому именно к нему обратился в один прекрасный день Петре: «Помоги, Бога ради! Сын избил кого-то на станции, его собираются упечь в тюрьму. Ничего не пожалею, только выручи!» Иосиф по-дружески посоветовал рассказать обо всем Якову: «В таком деле если кто и поможет, то только он, ты же знаешь, в каких он отношениях с Луарсабишвили – одного его слова будет достаточно».

В общем, Яков и впрямь снискал славу главного еврея в районе, хотя прежде никто и не подозревал, что существует такое звание. Яков только посмеивался: «Да глупости все это! Самый главный у евреев – раввин».

Действительно, имелся у них такой раввин, которого почитали все евреи города – хахам Давид. Красноречивый и внушающий доверие. Приглашали его и в Кутаиси, и в Тбилиси – можно подумать, что там ощущался недостаток в уважаемых раввинах, – но хахам Давид ни за что не соглашался покидать свой район. Именно сюда много лет назад направила его из Иерусалима грузинская еврейская община – опекать далеких братьев. Пусть учат Тору и не поддаются новым поветриям. Хахам Давид предполагал оставаться в Грузии

два года, но жизнь смешала его планы – в столь смутные безбожные времена не решился он покинуть единоверцев. А потом власти как нарочно установили такие короткие сроки выезда, что хахам Давид никак не укладывался в них – то супруга должна родить, то главный заступник Израиля Баазов умолял: «Повремени еще капельку, помоги мне. Ты же видишь, никто тут не думает об общем деле, каждый печется о личном благополучии». Он и оставался – из уважения к Баазову и волнуясь о здоровье жены. Конечно, если бы знал, что власти вскоре вообще запретят репатриацию, пешком отправился бы на родину с беременной женой и всеми детьми на руках.

Про хахама Давида говорили, что он знает столько, сколько другим раввинам и не снилось, а супруга его мудрейшая из женщин. Жена хахама и впрямь была натурой не суетной – из дому почти не выходила, с молитвенником не расставалась – с мужем и детьми говорила только на иврите.

Хахам Давид делил евреев на две категории: ученых и неучей. Учеными признавал тех, кто назубок знал Тору, а всех остальных относил к неучам – неважно, были они бедными или богатыми, молодыми или старыми, с дипломами инженеров или с иглой портняжки. Абрамико, Иосиф и Яков тоже не являлись в этом смысле исключением. Якову он сказал однажды:

– Говорят, что в твоих руках власть и деньги, а мне тебя жалко.

Тот расхохотался.

– Не жалеть тебе меня надо, а мечтать, чтобы дети твои были так же обеспечены, как я.

– Не дай Бог, Якоби! Не дай Бог, чтобы дети мои были такими же нищими, как ты!

– Нищими?! – вытаращил глаза Яков. – По-твоему, я нищий?

– Нищий, Якоби, нищий! И богатство твое, и должность – все суета сует. Человек, не знающий Торы, беднее всякого бедняка.

Эти слова повергли Якова в изумление и некоторую печаль. Тору он отродясь не читал и не учил. Никто не позаботился приобщить к этой мудрости круглого сироту. Появляясь иногда в синагоге, он чувствовал себя здесь лишним и беспомощным. Иосиф и Абрамико солидно нараспев читали молитвы, всем своим видом намекая: конечно, за таким дружкой, как секретарь райкома, ты как за каменной горой, но не это главное для настоящего еврея.

– Тору изучать никогда не поздно, сынок, – увещевал хахам Давид. – Знаешь ли ты, что праотец наш Авраам совершил обрезание в девяносто девять лет? Немедля принимайся за учебу и через год станешь по-настоящему богатым человеком.

Яков задумался: в самом деле, чем он хуже людей? Может, и вправду приняться за Тору? Мысль об этом была приятна, но тут же возникали сомнения – а как Дмитрий, первый секретарь райкома, отнесется к такому решению? Как посмотрит на то, что его друг, председатель райсовета, член партии, каждый вечер просиживает в синагоге с раввином?

«Скрыть ничего не удастся, через три дня все будут все знать. Найдутся доброхоты, которые тотчас донесут: твой Якоби погрузился в опиум для народа и вместо классиков марксизма-ленинизма читает заплесневелые сочинения мракобесов. Кто донесет? Да мой же заместитель Прокопи – первый донесет. Чтобы поближе к

Дмитрию местечко занять. Да и Дмитрия подведу. Он из-за меня партийный выговор может схлопотать».

Мысли о Торе следовало отбросить.

Из Кутаиси и даже из Тифлиса то и дело прибывали высокие гости и важные комиссии. Вот и сейчас на берегу реки, на свежем воздухе, был накрыт богатый стол для областного начальства.

После четвертого стакана Яков затынул «Мравалжамиер»¹, остальные подхватили и спели так славно, что сам Кириле Пачкория мог бы позавидовать. Гости аплодировали, кричали: «Молодцы!». Но Ваню Гиорхелидзе, тот самый Ваню, для которого Яков недавно выпросил у начальства место заведующего продовольственной базой, злобно процедил:

– Вы только поглядите на этого жида, лучше всех грузинские песни поет!

Прошипел будто бы вполголоса, но из десяти гостей услышали все десять, да и не могли не услышать.

Наступила такая тишина, что стал слышен плеск речной воды. Ваню огляделся по сторонам и спросил насмешливо:

– Может, я что-нибудь не так сказал?

Поднялся тамада, Кавтарадзе.

– Ваню Гиорхелидзе должен оставить наш стол! – провозгласил он хмуро.

– Чего-чего? – еще шире оскалил в ухмылке свои белоснежные зубы Ваню.

– За оскорбление грузинского застолья Ваню Гиорхелидзе должен немедленно покинуть наше общество! – не поднимая головы, решительно повторил Кавтарадзе.

Остальные молчали, опустив глаза.

– Вы что, с ума сошли?! Из-за этого жида гоните меня из-за стола?! – искренне недоумевая, воскликнул Гиорхелидзе.

– За оскорбление грузин и грузинского застолья Ваню должен немедленно уйти. Я повторяю это в третий раз и больше повторять не собираюсь, – строго отчеканил тамада.

Якову не раз доводилось слышать то анекдот про евреев, то брезгливое замечание в их адрес, но мало ли что какой-то дурак сболтнет? Может, этот болван и родного брата оскорбляет. А теперь почему-то сделалось трудно дышать, в жар бросило, будто сидел он не за праздничным столом, а в раскаленной печи. Вспомнилось багровое, залитое потом лицо Ваню Гиорхелидзе, когда тот умолял: «Замолви за меня словечко перед секретарем, в печенках у меня эта баня сидит; пусть назначит меня заведующим базой. Как брата, тебя прошу. Не пожалей пары добрых слов для верного друга».

На разные голоса – от глубокого баса до фальцета – все требовали, чтобы Ваню Гиорхелидзе покинул застолье. Но голос Ваню перекрывал общий нестройный хор: «Неужели из-за этого жида?..»

– Да еврей ли я на самом деле? – прохрипел Яков неожиданно для самого себя.

С трудом поднялся на ноги и отстранив пытавшихся удержать его, поплелся в сторону реки. Журчание воды складывалось в тот же вопрос: «Да еврей ли я на самом деле?»

¹ Мравалжамиер (груз.) – застольная песня «Многие лета».

Кто-то нагнал его и принялся в чем-то убеждать, но Яков не слышал. Он сел на песок, снял туфли, брюки и вошел в реку.

– Ты что делаешь, Якоби? В пиджаке в воду лезешь? – изумился подошедший.

Яков скинул пиджак и вместе с сорочкой забросил на берег.

– Да что с тобой, Якоби? Перестань, не лето сейчас! – волновался человек на берегу.

Лежать на спине в ледяной воде было приятно. Яков вдруг ощутил удивительную легкость во всем теле. По небу неспешно плыли белые курчавые облака.

«Не имеет никакого значения, изучу я Тору или нет, – внезапно понял он. – Все равно я был и остаюсь евреем. Партия – это так, нечто временное, а Тора – она вечная».

Вытащив руку из воды, Яков помахал оказавшемуся на берегу Кавтарадзе и поинтересовался:

– Ты что тут делаешь?

Кавтарадзе улыбнулся, хотя и подумал про себя: как будто он не знает!

Яков вылез из реки и отправился домой. Снизу крикнул жене, чтобы Зурико и Дато спустились во двор. Дети радостно скатились с лестницы в ожидании приятной прогулки. Яков обхватил их за плечи и повел в синагогу.

Лучи заходящего солнца причудливо преломлялись в цветных витражах. Яков потянул тяжелую, из орехового дерева, дверь и вошел внутрь. Хахам Давид заметил пришедших и приветливо улыбнулся мальчикам.

– Вот, ребе, я и мои сыновья пришли к тебе изучать Тору, – медленно и со значением произнес Яков, – раз уж я еврей, так буду настоящим евреем.

– Да благословит вас Бог! Только... – замялся хахам, – отец должен приступить к изучению хотя бы на две недели раньше сыновей...

Через две недели они уже читали молитвенник, а через месяц – Тору. Немало повидавший на своем веку раввин поражался, как легко и быстро схватывает все Яков.

Тора стала для Якова главной радостью в жизни. Перед ним раскрылся новый мир, о существовании которого он раньше даже не подозревал.

– В начале сотворил Бог небо и землю, – прочитал Яков первую фразу на святом языке, и сердце затрепетало у него в груди, как у младенца. Потом душа замерла от гордости: ведь он читает Слова, продиктованные Богом пророку Моисею! С помощью хахама Яков перевел первую фразу.

Этот восторг прикосновения к вечному языку и проникновения в древний текст Яков не променял бы ни на что на свете. Он был так счастлив, что перестал замечать происходящее вокруг. То есть он продолжал ходить на работу, но мысли и душа его витали под куполом синагоги. Наргиза, жена, жаловалась, что мужа кто-то сглазил. Люди качали головами:

– Ну и ловкач наш Якоби! Сначала устроился, разбогател, а теперь и к Господу тропу пробивает. А нам что делать? У нас ни денег, ни святости!

Яков разлюбил веселые застолья и свадьбы, появлялся только на похоронах.

Разумеется, Дмитрию Луарсабишвили тут же обо всем доложили. Второй секретарь, Ясон, приготовил проект постановления: из партии отщепенца исключить и освободить от должности председателя райсовета. Но Луарсабишвили великодушно заступился: оставьте, это временное помешательство, пройдет... Скоро не будет ни попов, ни раввинов.

В один прекрасный день перед началом урока хахам Давид сообщил Якову нечто невероятное:

– Уж и не знаю, как нам быть, сын мой Якоби... Власти решили разрушить нашу синагогу.

– Как это – разрушить синагогу?.. – не поверил Яков.

Невозмутимость хахама настолько не соответствовала его словам, что все это выглядело какой-то странной шуткой.

– Вчера меня вызвали в райком и предупредили, что партия и правительство намерены искоренить религиозные заблуждения. Вышло постановление ликвидировать все молитвенные дома. Нашу синагогу предписано разрушить...

– Да кто их спрашивает! – вспыхнул Яков. – Они, что ли, ее строили?

– Да, я попытался втолковать им, что синагога – это общественное имущество, и знаешь, какой ответ получил? Церковь Святой Троицы тоже не большевики строили...

Тут Яков вспомнил: действительно, пару дней назад город был оглушен взрывом...

– Да, но... – он хотел что-то прибавить, но умолк. Верно: те, кто рушит церкви, не пожалеют и синагогу. Внезапно какая-то слабая надежда затеплилась в душе, и он уцепился за нее, как утопающий за соломинку. «Не может быть... Как это? Так вот с плеча все рушить? Кто им позволит? Нужно сообщить в Москву. Завтра поеду в Тбилиси. Отыщу нужных людей. Нашу красавицу защитят».

– Да, завтра, – пробормотал хахам, словно прочитав его мысли..

– Завтра, – подтвердил Яков. – Что – завтра?..

– Завтра будут взрывать...

– Завтра?!

Значит, он не успеет съездить в Тбилиси?.. Яков подошел к телефону, набрал номер и спокойно проговорил:

– Здравствуй, Дмитрий! Да, это я... Здесь, где обычно. Знаешь, что я хотел тебе сказать? Был один царь... в Вавилоне, Навуходоносор. Он разрушил наш храм в Иерусалиме, и с тех пор его имя предано проклятию. Ты что, решил стать вторым? Твоя воля. Но мне не хотелось бы, чтобы моего друга прокляли евреи всего мира.

Яков замолчал. Очевидно, Дмитрий что-то ответил ему, потому что внезапно он покраснел и закричал в трубку:

– Я не позволю вам совершить это преступление! Я, ты слышишь? Я не позволю!..

В трубке раздались короткие гудки. Давид понял, что секретарь райкома не желает продолжать этот разговор.

– Один только Всевышний может помочь нам, – вздохнул раввин.

И все же они сели и стали читать ту главу, где Авраам убеждает Господа не губить Содом.

– Неужто и в нашем городе не найдется десяти праведников, чтобы спасти синагогу? – спросил Яков с надеждой в голосе.

– Десять праведников... – пробормотал раввин.

Тем временем во дворе стали собираться местные евреи.

– Зачем вы пришли сюда? – удивился хахам.

– Люди из райкома обошли все лавки и дома и велели евреям собраться у синагоги, – пояснил Датико по прозвищу Квача.

Яков отвел раввина в сторону и прошептал едва слышно:

– Сейчас сюда заявятся Дмитрий или Ясон. Заставят людей сказать, что им не нужна синагога, и они требуют ее разрушить, потому что она мешает строить светлое будущее. – Ты должен помочь мне.

– Я готов, – сказал хахам. – Научи, как.

– Придумай что-нибудь, скажи, что у нас большой праздник, пусть отложат хотя бы на неделю.

Затем Яков обратился к толпе:

– Братья, нашу синагогу хотят разрушить. Вас для того и пригнали сюда, чтобы вы выразили свое согласие с партией и правительством и потребовали убрать пережиток прошлого.

Люди зароптали. Одни возмущались, другие угрожали властям, но стоило во дворе появиться Ясону, как сразу воцарилась могильная тишина. Яков понимал, что означает это молчание, и, желая хоть как-то подбодрить людей, заговорил сам, опередив Ясона.

– Эту синагогу строили наши предки, чтобы мы могли молиться о мире на земле в своем храме. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать, что не позволим разрушить синагогу.

Ясон от неожиданности чуть язык не проглотил. Но увидев, что все молчат и никто не спешит поддержать бунтаря, он отодвинул Якова в сторону и приступил к делу.

– Товарищи евреи! Партия и правительство приняли постановление вывести народ из мрака суеверия. Поднимите руку, кто из вас против решения партии.

Люди молчали, понурившись и не глядя друг на друга.

– Есть желающие выступить против постановления партии? – повторил свой вопрос Ясон.

Все продолжали молчать. Тогда Ясон приблизился к толпе и совсем по-дружески спросил:

– А теперь скажите мне, как вы расцениваете враждебные выпады некоторых граждан?

Никто не нарушил молчания.

– Вот ты мне ответь! – прямо перед Ясоном стоял Шатулия, поэтому вопрос относился как бы к нему.

Шатулия растерянно оглянулся по сторонам и забормотал невнятно:

– Да не знаю я ничего. Где с моим умишком в таких делах разбираться, вы уж меня простите...

– Ну, а вы что скажете? – Теперь Ясон смотрел прямо на Иосифа.

Яков прекрасно понимал, что ответ Иосифа уже ничего не решит, но ему ужасно хотелось, чтобы Иосиф дал отпор второму секретарю, пусть даже рискуя своим положением.

Иосиф отчеканил, не задумываясь:

– Долг каждого из нас помогать партии и правительству в делах, направленных на рост благосостояния трудящихся.

Ясон, просияв, дружески обнял Иосифа за плечи:

– Я всегда знал, что вы умный народ. Скоро будут выборы в райсовет, вы должны иметь там достойного представителя.

«Не бывает сильных врагов, – подумал Яков с отчаянием, – наша слабость делает их сильными».

– Господин начальник! – Хахам Давид сделал несколько шагов вперед. – Может, вы дадите нам три дня – послезавтра у нас большой праздник, мы помолимся в последний раз все вместе, а дальше – да будет ваша воля!

Ясон устался на здание синагоги. Казалось, он обдумывает услышанное и подыскивает ответ. На самом же деле мысли его были куда проще: «Буржуи проклятые! Умели строить! Настоящая крепость, поди разрушь!»

Хахам Давид решил повторить свою просьбу:

– Закончится праздник, тогда делайте, что хотите.

Ясон поднял правую руку и заговорил тоном опытного оратора:

– К вашему сведению, уважаемый, у советских людей три праздника: день Великой Октябрьской Социалистической революции, День всемирной солидарности трудящихся и День Сталинской конституции. Других праздников у нас нет. Завтра в десять утра чтобы все были здесь – надо будет очистить окрестности от развалин. – В голосе Ясона зазвенел металл. – Вам известно, как обходится советская власть с саботажниками, – он обернулся к Якову. – Все возражения и протесты будут пресечены, как контрреволюционные выпады.

С этими словами он покинул двор синагоги.

Яков возвращался домой, строя различные планы и тут же их отвергая. Как объяснить им, что разрушение храмов не может приблизить светлого будущего, а только губит души людей?

Проходя мимо взорванной церкви, он замедлил шаг. Три стены обвалились полностью, четвертая – северная – еще частично держалась. Одной из скульптур взрывом снесло голову, и теперь пышный хитон свисал с высоты, как обезглавленное тело.

Жители окрестных деревень с кирками, ломami и лопатами крушили остатки развалин.

– Не ленись, Зозия! – Услышал Яков голос Мито Самебашвили.

– Не пожалей они взрывчатки, нам не пришлось бы теперь коряться, – отвечал Зозия.

Кусок стены отлетел и угодил Якову в щиколотку. Он чуть не закричал от боли, нагнулся и увидел каменную голову святого – она валялась среди обломков.

Добравшись до дому, Яков повалился на кровать. Всю ночь он не сомкнул глаз и только под утро ненадолго забылся мучительным сном. Но, очнувшись, быстро обулся и на цыпочках, чтобы не разбудить домашних, вышел на крыльцо.

«Не такой дурак был Бар-Кохба, – думал Яков, шагая к храму, – знал, знал, что много евреев погибнет и что римлян ему все равно не одолеть. Но, сопротивляясь, воодушевил свой народ, спас его честь».

Он уже почти бежал по дороге, люди вот-вот могли явиться в синагогу на утреннюю молитву.

Яков знал, где хранятся ключи, вошел в синагогу и запер за собой дверь. Он сразу успокоился, накинул талит и стал молиться.

Молился и не переставал думать, как понадежнее забаррикадировать дверь. Попытался подтащить к ней шкаф со святыми книгами, отпечатанными в Берлине, Вильно, Иерусалиме. Но такую тяжесть и десять человек не смогли бы сдвинуть с места. Тогда Яков начал бережно выгружать книги из шкафа и раскладывать по скамейкам. Подвинув пустой шкаф к двери, он снова уложил книги на полки.

«Это надежное ограждение, – похвалил он себя. – Если только поджечь прикажут...»

За стеной послышались голоса – люди собирались на утреннюю молитву. Яков узнавал соседей по голосам – все недоумевали, куда девались ключи, кто мог их унести.

Он подтащил скамейку к стене и, подтянувшись, выглянул в окошко:

– Здесь ключи, люди добрые! Не ссорьтесь зря! – Во дворе стало тихо. – Подойдите все сюда.

Люди приблизились к окну.

Яков заметил, как во двор вошли пятеро незнакомцев. Они волокли за собой ящики.

«Подрывники», – догадался он и крикнул погромче:

– Эй вы, подойдите сюда!

– Что здесь происходит, сын мой Якоби? – спокойно поинтересовался хахам Давид.

– Сию минуту, ребе!

– Что ты там делаешь?

– Сейчас все объясню!

Когда подрывники подошли к окну, он сообщил:

– Ключи от синагоги взял я, Яков Левиашвили. Если вы взорвете храм, взорвете и меня с ним вместе... А к тебе, ребе, у меня большая просьба – отправь сейчас же телеграмму великому вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину. Напиши так: Яков Левиашвили заперся в синагоге, чтобы спасти ее. Райком собирается взорвать ее. Вот и все!

– Якоби, сын мой! – раздался голос хахама Давида.

– Слушаю, ребе!

Но раввин молчал. Наконец Яков услышал:

– Наши враги уничтожили Иерусалимский храм. Потом у нас отняли родину и рассеяли по всему свету. Но благодаря милости Всевышнего мы все еще существуем. – Хахам говорил спокойно и внушительно. – Мы живы, потому что две главные святыни заключили в своих сердцах – веру и родину. Главное – это душа. Жизнь человека превыше всего. Поэтому...

Давид замолчал. Во дворе стояла напряженная тишина. Там, внизу, собравшиеся внимали раввину.

– Ребе прав, – произнес Хромой Шломико, – главное, это душа.

– Да что ты такое задумал, Яков! – это был голос Ицхака. – Эту синагогу наши предки построили, а наши внуки новую построят – еще краше будет!

Но не было уверенности в их голосах. Во дворе снова повисло тяжелое молчание.

– Это ты что, самоубийство задумал? – спросил первый подрывник. – Он что, не того?...

– А мы его и подорвем! – радостно закричал второй.

Но на них никто не обратил внимания.

– Я, конечно, отобью телеграмму, сынок, – снова заговорил раввин, – но есть ли в этом смысл?

– Почтенный ребе, – Яков тоже говорил негромко и неторопливо, – если храм покинут все, значит мы пришли сюда просто так, по привычке, а не для того, чтобы молиться Всевышнему. Если бы за тот великий храм царя Соломона в свое время не пролилась кровь, может, мы сегодня не вспоминали бы о нем... – он замолчал.

– Ты прав, Якоби, но все же... – Якову показалось, что голос хахама слился с шелестом деревьев, окружающих синагогу.

– Ты прав, – продолжал раввин, – но нет ничего дороже жизни и души человека. Даже эта синагога...

– Ты с кем связался, парень? С ними?! Да у них сын-большевик отца родного не пощадит, если тот меньшевик! – прикрыв рот рукой, негромко, но внятно проговорил Шломико.

Яков присел на скамейку. Сердце колотилось, как бешеное. До разговора с раввином он чувствовал себя увереннее.

«Не стоило мне вступать с ними в пререкания», – рассердился он на себя.

Народ все прибывал и прибывал, все просили Якова приблизиться к окошку и поговорить с ними. Яков едва успел подумать: «Хорошо, что не явился Дмитрий», как услышал голос второго секретаря.

– Открой сейчас же и выходи во двор! – скомандовал Ясон.

Яков не шелохнулся. Ему так хорошо было в синагоге, и его совершенно не интересовало, кто и о чем там говорит. Потом он услышал голос начальника милиции:

– Обвиняемый Левиашвили! Сейчас же покиньте синагогу!

Яков подумал, что если этот день станет его последним днем, стоит прочитать и вечернюю молитву. «Я Господь, Бог твой!». Ведь это именно к нему, Якову Левиашвили, обращается Всевышний.

– Нет, вы только послушайте, люди добрые! – вскричал Яков, сидя на лавке. – Сам Всевышний называет себя моим Богом, а я на какого-то Ясона молиться должен?!

Повторив несколько раз десять заповедей, Яков с удовлетворением отметил про себя, что вроде бы никогда ни одной заповеди не нарушил. Когда он раздумывал над четвертой заповедью, во двор въехал грузовик и остановился под окном.

«Похоже, что Ясон влез на грузовик, – подумал Яков, – только непонятно, чего он так надрывается?»

Ясон обращался к районному еврейству с требованием осудить антипартийную и антигосударственную выходку Якова. Потом слово взял Бехора Кокуашвили.

– Что ты с нами делаешь, Яков? – завопил Бехора, – Ты что, погубить нас всех вздумал?! Ведь знаешь, какая сила у коммунистов и как они расправляются с непокорными – разом покончат с нами!

Тут у него перехватило дыхание, и Ясон дал слово кандидату в депутаты райсовета, передовому трудящемуся Иосифу.

«Я-то знаю, почему он назвал Иосифа по имени, – усмехнулся Яков, – он просто не знает его фамилии. Ну вот, наконец-то Иосиф и стал главным евреем района».

Иосиф заклеил саботаж Якова по отношению к национальной политике родной Коммунистической партии, а потом добавил:

– Сегодня, товарищи, меня вызывали в райком и назначили главным представителем местного еврейства в райсовете. Это я тебе говорю, Яков, кончилось твое время. Другие времена наступили и, пока не поздно, вылезай оттуда! Никто тебе не поручал охрану культового сооружения. Что нужно, я сам защищать буду. Я и к вам обращаюсь, сыны Израиля! Если впредь задумаете что-то, сначала мне дайте знать, со мной согласуйте. Это во-первых. Во-вторых, – Иосиф заговорил громче, теперь он почти кричал, – мы должны продемонстрировать Коммунистической партии настоящую преданность. Вы меня поняли? Настоящую!

«Бедняга, так ничего и не понял, – подумал Яков, но внезапно спохватился, – а где мои мальчики? Неужели они тоже слушают эти вопли?»

Яков снова выглянул во двор. Столько людей он не видел и на демонстрациях – ни Седьмого ноября, ни Первого мая. И Ваню Гиорхелидзе тут был, и Кавтарадзе. А вот Менаше, Яша. Хута Багдавадзе стоял так, словно стакан с вином по привычке держал в руке. А чего-то это Муртаз-разбойник стоит рядом с Коберидзе? Помирились они, что ли?

Боже всемогущий! И жена хахама Давида пришла! У Якова в груди потеплело, когда он увидел, что Рахель обнимает за плечи его сыновей – Дато и Зурико. Она с таким презрением смотрела на Иосифа, что было ясно, как она относится к его призывам. Глаза мальчиков светились гордостью – это придавало Якову сил: «Сыновья поняли меня», – подумал он. И как раз в этот момент Зурико заметил в окне отца. Он весь зарделся от гордости и незаметно показал брату отца. Дато не удержался и закричал:

– Папа! Папочка!

Услышав крик Дато, все умолкли и уставились на окно. Во дворе наступила такая тишина, что даже Иосиф поспешил захлопнуть рот.

– Выходи сейчас же, открой дверь, сионист несчастный! Контр-революционер! – завопил Ясон.

Яков помахал сыновьям рукой и прыгнул на пол.

– Немедленно открой дверь, слышишь?! – надрывался Ясон.

«Вот и все, они уже взрослые, – подумал Яков. – И Дмитрий хорошо поступил, что не пришел. Интересно, какую причину он придумал?»

Солнце клонилось к закату. Яков приступил к вечерней молитве. Молился он громко, нараспев. Поэтому и не услышал, как чеканя шаг во двор храма вошли солдаты. Не слышал он и приказа командира.

Нет, ничего этого Яков не заметил, он стоял перед ковчегом со свитками Торы, поглощенный молитвой.

Он чувствовал себя сейчас по-настоящему счастливым человеком и потому, наверное, не прислушивался к происходящему. К тому же это его больше не волновало.

Перевела с грузинского Анаида Беставашвили

Михаил Хейфец

*ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ**

* * *

Наш детсад внезапно вывезли с дачи в Сиверской, и ночь мы просидели на вещах в школе на улице Восстания. Утром мама забрала меня и в тот же день усадила в товарный состав – её институт эвакуировался на Урал.

Везли на Урал девять суток. Привезли в Ирбит, город ярмарок в Свердловской области. Запомнилось, как плакала мама, услышав в первый наш уральский день разговоры местных жителей: «Вот придет Гитлер, он покажет...» Что сказать? Урал – регион ссылок, да?

Потом поехали в село, где мама стала работать в аптеке. Нормальная деревенская жизнь – огород, свиньи, куры... Ходил в лес по ягоды (за шиповником, это ж витамины!), учился ловить рыбу. Через два года переехали в Ирбит, мама стала работать в эвакогоспитале. Я по-детски каждый день «болел» за успехи Красной армии, следил по карте за продвижением фронтов. Помню, как в Ирбите поймали меня пацаны на улице, когда шёл из дома в госпиталь к маме, скрутили руки веревкой за спиной и повели куда-то, радостно сообщая встречным-поперечным: «Ведём жида вешать»...

На Урале я прочитал массу книг: старинные романы, часто без начала и конца (встречался даже Поль де Кок!); сочинения погибших в Чистке литераторов – в Ленинграде их изымали, а на Урале книжки остались на руках у бывших покупателей. Другая совсем жила публика! Открыл я в себе особое свойство – физически не мог не дочитать книгу. Должен был обязательно узнать, чем там дело кончилось. Набрёл на подшивку старинного «Мира приключений», где из номера в номер печатались «Грабители морей» Жаколио, а финала в подшивке не было – может, журнал закрыли, пока роман печатали? Почти полвека я помнил недочитанный сюжет и, очутившись в первый раз после распада СССР на бывшей советской территории, на книжном развале в Риге нашёл и купил томик (отдельное издание!), и наконец узнал, какой у романа финал.

Забавный эпизод из военной поры: мальчишка-ровесник в Ирбите, заинтересовавшись моей «нацией», заметил: «Что вы за народ такой, если у вас нет собственного государства?». Запомнилось на всю жизнь – уж очень русским по духу выглядело замечание. Теперь вот есть государство... И мы – нация в русских глазах?

День Победы запомнился серым, дождливым, без демонстраций – это вам не Москва, это Ирбит. А в сентябре 1945 года мы вернулись опять же товарняком в Ленинград.

* Отрывки из автобиографической «Книги счастливого человека», готовящейся к печати в 2010 году в издательстве «Грифон» (Москва).

* * *

Закручивание гаек в послевоенные годы шло вовсе не по одной лишь «еврейской линии». Постоянно, едва ли не каждый год, издавалось очередное постановление ЦК – то о вредных писателях и поэтах (Зощенко, Ахматовой), то о театре (разгром ленинградского театра Комедии под руководством Николая Акимов), то о кино (опять же с разгромом группы ленинградцев: Трауберга, Козинцева, Хейфица и др.), то о философии (книга Александрова «История западноевропейской философии»), то о музыке. Помню врезавшуюся в память фразу из речи секретаря ЦК по идеологии товарища Жданова, что-то примерно такое: «Ну, много ли их вообще, композиторов-формалистов? Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Кабалевский, Шебалин, Мясковский... Кто ещё? (голос с места: Шапорин!). – Вот и всё, товарищи...» Что уж вспоминать биологию! Упорно сплетничали даже про физику: якобы, и статьи уже подготовили антиэйнштейновского толка, но отчего-то отменили. Видать, бомбу без этих гадов не могли придумать...

Станным вспоминается то время – каким-то ненатуральным. В разгар карточной системы, например, удивительные витрины – их украшали... куропатки! С белыми перьями, неошипанные. Почему куропатки? Или светящаяся реклама на Невском проспекте: «Покупайте майонез – вкусно, питательно, жирно». Что это за таинственный «майонез»? – мы в жизни про такой не слыхали.

Никто и нигде не говорил, что в деревнях – натуральный голод, что люди массажируют от недоедания... Мы этого просто не знали! Я впервые услышал о голоде в послевоенных деревнях лишь через десятки лет, когда мой солагерник, бывший капитан Советской армии Кузюкин, сказал: «Зона – она как деревня в моём детстве: всё время хочется есть. Каждую минуту! Голод сосущий, голод постоянный...»

Всякая партийная кампания превращалась в посмешище. Например, борьба с космополитизмом, возможно, имела реальный смысл в России – говорю серьёзно! Она внушала русским людям уверенность в своих силах, в своих талантах, в способности решать встающие перед обществом проблемы самостоятельно, без заимствований и подражания Западу. Русский народ, действительно, от природы талантлив – но не ценит свои таланты вовсе! Имело смысл внушать ему, что он может сам работать, сам развиваться – с этим я могу согласиться... Кстати, саму идею подсказал Сталину умница, академик Капица, – имелся, имелся в ней здравый смысл. Но во что она превратилась стараниями партаппарата?! Французскую булочку переименовали в «городскую», популярное кафе «Норд» стали звать «Севером» – экие русские новшества! Началась борьба за русские приоритеты во всех областях – совершенно идиотская, потому что её инициаторы сами отыскивали мнимые иностранные приоритеты, чтобы потом самим же их и опровергать...

* * *

1958 год – великий год в моей жизни: именно тогда я перестал быть советским человеком, перестал быть марксистом-ленинцем, хотя бы и «неоленинского» пошиба. Идеи справедливости, уважения к труду,

идея власти, подконтрольной народу и зависимой от него, – все эти красоты обладали огромной привлекательностью. Уже многое понимая про Сталина, про реальную советскую власть, про «дорогого Никиту Сергеевича» – я всё ещё оставался «неоленинцем» (или «младомарксистом»), т. е. наивняком, верившим в светлые идеалы, которые якобы оказались искаженными нехорошими властолюбцами в Кремле. Много нас таких выросло – собственно, кроме религиозников и националистов, все советские политзаключённые составляли тогда именно мы, неоленинцы, верившие в светлого Ленина, извращённого чёрными Сталиным и Молотовым.

Владилен Травинский однажды мудро заметил: «Все мы – марксисты, Мишка. Даже когда спорим с властью, то спорим, опираясь на термины Маркса, на его логику и его аксиомы». И он был прав – абсолютно!

Что же конкретно произошло в 1958 году, промывшее мне мозги начисто? «Дело» Бориса Пастернака.

Когда много лет спустя, уже под следствием, мой оппонент, следователь Валерий Карабанов, спрашивал: «Когда и почему вы стали врагом советской власти, Михаил Рувимович?» – я не изображал дурачка, не притворялся невинным мальчиком. Я прямо отвечал: «С 1958 года. С дела Бориса Пастернака».

Всех нас, и меня в общей массе, воспитали прежде всего на истории русской литературы. Мы знали, какова историческая память о любых вельможах, посмевших посягать на великих поэтов. Граф Бенкендорф никак не был худшим из жандармов, а генерал Дубельт, наверное, одним из самых умных. Но теперь эти имена заклеены вечным позором, да и помнят-то их только потому, что их портреты висят в музеях Пушкина. Я, например, вполне мог сомневаться в правоте венгерских повстанцев, потому что понимал: речь идет о политике, в которой возможна иная информация, мне недоступная, а, значит, я не имею возможности судить объективно. Нет знаний!

Но стихи Пастернака, извините, я читал своими глазами и понимал: передо мной – гений русской поэзии, украшающий эпоху, своего рода Пушкин нашего столетия. Знал я и людей, посмевших назвать титана литературы «свиньёй». После этого уважать *эту* власть хотя бы в минимальной степени я уж никак не мог!

Так я превратился из «неоленинца» в антисоветчика.

* * *

Идея провести выставки молодых художников в зале «Звезды» пришла в голову, конечно, Владьке Травинскому с его поразительным чутьём на талантливых людей и умением удерживать их около себя. Владьке и пришло в его инициативную башку – в скучной, официально показушной и верноподданной «Звезде» устраивать выставки молодых питерских художников – тех, кого не пускали в Союз советских художников. Вот с ним и начали мы вместе этих художников выискивать.

Начисто не помню, как именно Владька вышел на Мишу Шемякина. Но помню чётко, как он мне сообщил: «Нашёл. Это настоящий!» И

храню первое впечатление, когда увидел Мишины картины. Я, помоему, лишён тонкости восприятия, особого внимания к деталям талантов. Чтобы почувствовать дарование человека, мне необходимо, чтоб он оказался *очень* большим, сразу бросающимся в глаза талантом, способным пробить мою природную толстокожесть. Например, после первых увиденных у того же Травинского бумажек с рукописными строками никому неизвестного поэта я восчувствовал в авторе великана, истинного выразителя нашего поколения – Иосифа Бродского, а ведь первоклассных поэтов тогда в Питере числилось великое множество, и я многих знал лично. Но только в Бродском ощутил величие. И абсолютно то же впечатление возникло от первых картин Шемякина: художник, который представит нас и наше время всему человечеству. Ради явления таких мастеров мы все, всё поколение, и живём-то на свете. Сразу, как только взглянул, даже вопроса не стояло – устраивать ли ему выставку. Если уж не ему, то кто достоин?

Партия как раз тогда ополчилась на авангардную живопись. Всё, написанное не по канонам Александра Герасимова или Исаака Бродского, считалось подкопом под основы, даже если подрыв оказывался всего лишь пейзажем или натюрмортом. Правда, сила шемякинского таланта оказалась столь мощной, что проломила даже сверхбдительного «комиссара» «Звезды», чекиста в запасе Петра Владимировича Жура. Замглавного буквально влюбился в шемякинский портрет герцога Альбы и после выставки – в виде своеобразного гонорара за разрешение – взял картину в свой кабинет и повесил супротив редакторского стола, чтоб постоянно её наблюдать.

Тем не менее, всегда существовала опасность – причём с двух сторон! Опасались мы консерваторов-доносчиков, что не преминут сообщить о «диверсии» в обком партии, и выставку прикроют, да еще и Травинского выкинут с должности. Но едва ли не больше побаивались «левых радикалов», которые легко и безумно заводились в любом, подходящем и неподходящем месте и обрушивались на традиционную русскую живопись (прежде всего, на передвижников – любимцев партии). Они могли дать обкому отличный повод для запрета выставки и наказания организаторов вместе с художником.

Говоря по правде, в редакции побаивались представлять Мишу публике: он явно виделся фигурой, во всём противоположной тем, кто продавал своё искусство партии. Наверно, поэтому Владька поручил открыть выставку Шемякина мне, недостойному. Я ж был большим и наивным дурачком – и потому ничего никогда не боялся. Я надумал, как выстроить выступление так, чтобы художника представить публике и одновременно не вызвать опасного скандала. Народу пришло уйма: всё-таки первая выставка неофициального искусства за много лет! И сказал я собравшимся примерно вот что: «Шемякина надо воспринимать как лучший образец русского искусства. Потому что главная традиция, оставленная нам великими предшественниками XIX века, заключается в их художественной смелости. Передвижники восставали против оков Академии, внесли новые формы, новые объекты, новое видение мира. Шемякин продолжает традиции Крамского – но уже в наше время».

Представить Шемякина новым Крамским было ловким ходом с моей стороны. С одной стороны, никто не мог придаться! Я хвалил передвижников, а для радикалов – утверждал законное право русского художника восставать против академических трафаретов. С одной стороны, хвалил классиков, с другой – приравнял Мишу к её высочайшим представителям. Словом, выполнил Владькин заказ, а Мише уж никак не повредил.

Помню вечер, когда мы отметили открытие выставки у Миши дома. Его мама накрыла «звездинцам» стол, и мы смотрели картины – те, что оставались в запаснике. Особенно запомнилось «Распятие» – привычное русское поле, на нём три креста с силуэтами. Всё, что изображено, произошло не где-то, а здесь – в России... Первая выставка сделала имя Миши широко известным в Питере, это правда, но она нисколько не улучшила его материального положения. Конечно, кое-что покупали, но тогдашние «любители» живописи пользовались отчаянным положением художника, чтобы платить гроши за удивительные работы! Помню, как было стыдно за них, аж зубами скрипел от злости, когда платили рублей по тридцать за превосходную картину. И не стыдно было предлагать мастеру такую цену...

Миша бедствовал жутко. В то время (начало 1963 года) я уже женился и работал в 503-й школе, и однажды художник, смущаясь, предложил: «Миша, а ты не хочешь заказать мне портрет твоей жены? Это будет стоить восемьдесят рублей» – и, почувствовав моё смущение, добавил: «Я вообще-то похоже рисую». Но моё-то смущение происходило не из опасения за «похожесть» – у меня просто не имелось такой суммы! Как счастлив бы я был, если б мог заказать ему портрет, уж я-то понимал, каким сокровищем смогу обладать, но восемьдесят рэ представляли собой месячную зарплату «чистыми» школьного учителя на полную ставку. А на что жить весь этот месяц? Рассказал жене. Она сказала: «Мишка, я смогу выкроить тридцать рэ, дай ему. Мы полсотней обойдёмся». В следующую встречу я предложил: «Миш, могу одолжить тридцать рублей. Больше нету». Он ответил: «Миш, а ты понимаешь, что я никогда не смогу их отдать»? Конечно, я понимал, и слово «в долг» считалось эвфемизмом пожертвования художнику, но я чувствовал себя счастливым, что хоть чем-то могу ему помочь. До сих пор с юмором рассказываю: «Шемякин мне тридцатник должен»!

* * *

Герман, или ЮП, как звали писателя дома, произвел на меня удивительное впечатление. Герман для меня лично был памятником, чудом уцелевшим из тех, кого нынче никто не знает, да и знать не желает...

Прежде всего от него веяло обаянием таланта. Тот, кто встречал таких людей, меня поймёт, а кто не встречал – того можно пожалеть: он не испытал ценнейшего ощущения в жизни, ценнейшую в ней радость – ощущение удивительного таланта рядом.

Когда мы познакомились, Герман умирал – от лимфогранулематоза, ракового заболевания, которое тогда не умели лечить вовсе. Поэтому общались мы относительно недолго. Ему я благодарен за многие

удивительные рассказы о жизни и об истории, за ценнейшую информацию, которой до сих пор не могу поверить и не могу её проверить. Вот образец: ЮП рассказал, как его подвергли жесточайшему разносу за повесть «Подполковник медицинской службы».

Обвинение, по сути, состояло в одном: главный герой сочинения, военврач, носил фамилию Левин. Набор повести не просто рассыпали, но с автора *взыскали долг* – деньги, потраченные издательством на рассыпанный им же набор. В доме нечего было есть. И тогда в кабинет к писателю пришла редактор издательства – Довлатова, мама Сергея, собрала исписанные Бог знает чем листочки, оформила этот пук бумаги как сданную ей рукопись романа о «Главном туркменском канале» и выплатила автору этой фиктивной «рукописи» 60% гонорара за *сданный* текст! У Сергея в рассказах о родителях нет об этом эпизоде ни слова: видимо, он не знал ничего, мама помалкивала о таких подвигах даже дома. Но Герман сам мне про это рассказал, и я считаю нужным восстановить эпизод литературной жизни в истории – он по-своему характеризует сталинскую эпоху, в неожиданном и никем не описанном повороте.

Благодарен я Герману и за те книжки, которые он давал мне читать из своей библиотеки. В частности, у него я изучал «Историю русской смуты» А. Деникина, эмигрантское, естественно, издание, важное сочинение для понимания истории XX века. И особо, конечно, благодарен за то, что Герман рекомендовал художественному руководителю творческого объединения «Ленфильма» режиссёру Иосифу Хейфицу (как я пошутил – «даже не однофамильцу») включить меня в состав худсовета. Денег за эту работу не платили, хотя работа оказалась вполне реальной, немалой, и сложной, но зато я получил уникальную возможность проникнуть в двери киномира и изучать его на практике.

* * *

У меня был соученик по школе, Боря Коган, который от рождения страдал тугоухостью. Он владел кучей иностранных языков и ужасно радовался, когда нашел работу, где требовалось его знание языков. Таким местом оказался Центральный исторический архив (в здании Сената и Синода, возле Медного всадника) – там Боря возился с иноязычными документами. «Я – единственный в архиве человек, который читает рукописную готику», – говорил он с гордостью.

Однажды посреди рабочего дня Боря появился у меня в «Костре». Редакция работала в большом зале, разделенном по стенкам небольшими перегородками, – за каждой перегородкой сидело по редактору. Боря подходит ко мне и орёт в полный голос:

– Миша, у меня к тебе просьба. Если ты услышишь где-нибудь о месте работы, сразу дай знать!

– А что случилось?

– Меня уволили. И мою начальницу тоже. Из-за дедушки Ленина. Он оказался евреем. Только никому не говори, это большой секрет!

Я будто услышал, как замер «Костёр»! Все, во всех кабинках... А Боря продолжал орать:

– Всё эта сволочь – Маризтта Шагинян. Явилась к нам в архив и попросила дело о крещении Израйля Бланка. У нас этих дел – целые полки, от пола до потолка. Ну, я просмотрел, ничего там интересного не нашёл и выдал ей. Начальница разрешила – я ей, конечно, доложил. А потом приехал человек из Москвы и сделал всем жуткий втык – оказалось, что этот Израиль – дедушка Ленина, отец его матери. Ну, скажи, откуда я мог знать, что Бланк – дедушка Ленина? Или начальница – откуда? А москвич одно твердит: мы, мол, обязаны были все материалы о предках Ленина передать в Москву, в ИМЭЛ. И Маризтта тоже хороша! Явилась к Ильичёву (одному из секретарей ЦК, ведавших идеологией) – мол, сделала историческое открытие. Он наорал на неё, что в ЦК её открытие давно известно и не её собачье дело вмешиваться в такие дела!

Удивительно, но Боря оказался не единственным моим знакомым, пострадавшим из-за дедушки Ленина. Однажды мне довелось получать в архиве справку о работе жены, и там я встретил Людмилу Емельяновну Стрельцову – ту самую заведующую читальным залом архива Ленобласти, которая выдавала мне письма Бунина и материалы издательства «Парус».

– Людмила Емельяновна, а вы-то с чего на справках сидите?

– Меня разжаловали из-за Маризтты Шагинян. Она заказала в архиве дело Израйля Бланка...

Поразительный парадокс, свойственный советской системе секретности: они бдительно и успешно оберегали свой великий «секрет», но наказали питерских сотрудников именно за то, что те вовремя этого секрета не выявили! К счастью, Боря Коган скоро нашёл работу в патентном бюро. А я, естественно, заинтересовался секретной темой – забавно же... И удалось выяснить по-своему любопытную историческую информацию. Оказывается, в ЦК не соврали: там давно знали о еврейском дедушке Ленина, аж с 1924 года. Но сама-то семья Ульяновых и Владимир Ильич о семейной тайне, похоже, не подозревали. Только после смерти вождя, когда его старшая сестра выставила на поминальный стол старинный семейный кубок, кто-то из еврейских друзей семьи спросил:

– Откуда у вас этот сосуд?

– Семейный бокал. От дедушки остался.

– А вы знаете, что это такое? Еврейская субботняя чаша для кидуша!

Естественно, Анна Ильинична заинтересовалась, обратилась в архивы, и уже к осени смогла выяснить, кем на самом деле являлся её дед. Характерно и продолжение пикантной истории. Анна Ильинична обратилась к Сталину с просьбой опубликовать открытие для борьбы с антисемитизмом. В народе, мол, силён антисемитизм и великое почитание Ленина могло бы... Но товарищ Сталин понимал психологию народа много лучше своих соратников и категорически запретил любые разговоры на скользкую тему. А документы приказал спрятать – но, как выяснилось, не все. Дырки обязательно возникают!

– Не понимаю, – говорил мне Боря Коган, – чего они так секретят? Я читал прошение Израйля Бланка в деле. Очень достойно написано.

Этот разговор происходил спустя чуть ли не двадцать с хвостиком лет после смерти Иосифа Виссарионовича.

* * *

В 1970 году случилось в моей жизни событие, которое изменило её самым решительным способом, хотя я долгие годы даже подозрения на эту тему не держал. Началось все со звонка к Боре Стругацкому. Он сказал:

– Мишка, мне один человек, математик по профессии, прислал рукопись. Очень интересную. Но она – по истории, и он спрашивает, где это можно напечатать? Я ответил, что представления не имею, но у меня есть друг-историк, можно ему дать почитать – вдруг получишь совет? И он согласился. Ты возьмёшь читать?

На очередной встрече Боря передал мне рукопись Револьта Пименова, называвшуюся «Как я искал шпиона Рейли». Сама фамилия автора – Пименов – показалась известной. Он проходил по известному делу 50-х гг., когда демонстранты скандировали на Дворцовой площади: «Свободу Эстонии!», «Свободу Литве!», «Свободу Латвии!». Была раскрыта целая организация студентов, кажется, из Библиотечного института, а главой, вроде бы, числился студент-математик – этот самый Револьт Пименов. Он получил по суду десять лет, а после освобождения защитил диссертацию и теперь работал в Ленинградском университете по специальности, математиком. Всё это мне и объяснил Боря Стругацкий.

И я приступил к чтению исторического сочинения. Здесь, наверное, необходимо напомнить современному читателю, кем был главный персонаж Пименова, именовавшийся Сиднеем Рейли. В сознании нашего поколения сей герой числился под кличкой «Король английского шпионажа». Считалось, что в 1918 году Сидней Рейли стоял за кулисами знаменитого «заговора послов», готовил захват и ликвидацию главного органа власти Советов – ВЦИКа, договаривался с Берзиным, начальником охранявших Кремль латышских стрелков, об аресте верхушки советской власти. Но Берзин оказался тайным агентом ВЧК и её главы Феликса Дзержинского, в результате чего заговорщики были арестованы. Английского посла Джона Локкарта (по имени которого эту историю иногда еще именуют «заговором Локкарта») тогда выслали, некоторых заговорщиков расстреляли, а вот сам Рейли скрылся и бесследно исчез. Потом за ним охотилась вся ВЧК, но безуспешно – Рейли продолжал орудовать в тени нескольких важнейших белых заговоров, участвовал в «ярославском мятеже», а затем сумел бежать из РСФСР в Лондон, где продолжал служить всемогущей британской разведке и даже встречался с самим Черчиллем. Это продолжалось до середины 20-х годов, когда чекисты заманили неуловимого Рейли в капкан, якобы для встречи с руководителями антисоветского подполья. При попытке перейти советскую границу с Финляндией он был убит выстрелом пограничника.

Сколько было снято фильмов о Рейли! Начиная со знаменитого роммовского «Ленин в 1918 году», где Рейли, обозначенный как «некто Константинов», намазывает смертоносным ядом пули для пистолета Фанни Каплан (конечно, саму Фанни подослал к Ленину именно Рейли). Потом был фильм «Капитан «Старой черепахи», ещё какие-то легендарные ленты, а в конце 60-х вышел многосерийный телесериал «Операция «Трест», где рассказывалось, как великий советский контр-

разведчик Артузов с компанией сочинили фиктивную антисоветскую организацию «Трест» (исторически она звалась «Синдикатом», о ней в разговоре со мной упоминал Роман Ким) и прислали от её имени приглашение Рейли посетить СССР. Тот клюнул на наживку, пошёл через границу, но, оказывается, был вовсе не застрелен на границе, а арестован, допрошен в подвалах ВЧК и потом уже казнен. А на границу для маскировки подсунули чей-то труп. Интересно, кстати, чей? Специально для такой цели кого-то пристрелили?

Интерес Пименова к теме возник как раз после просмотра фильма. Его заинтересовал вопрос: зачем Рейли расстреляли, тем более, после такой инсценировки и всего через неделю после ареста? Сидит себе в подвале и сидит! Никому ведь неизвестно, что Рейли вообще жив. Отчего же не допросить его как следует, устроить очные ставки с запирающимися сообщниками, держать как важного свидетеля на будущее? Ведь от того, что человек жив и в тюрьме, никакого вреда чекистам быть не может, а пользу, наоборот, сулит, и немалую. Как бывший заключённый, уже проходивший через следствие, Пименов отлично понимал игры начальства. Итак, зачем расстреляли Рейли? Или, как выразился Пименов, «почему чекисты поступили с Рейли так, как я сам никогда бы не поступил»? Никаких допусков в секретные архивы у Пименова не имелось: он вообще не историк, а чистый математик. И он пошёл туда, где не нужны никакие допуски, — к полкам открытого доступа в Публичной библиотеке.

Первым делом раскрыл «Британскую энциклопедию». Увы, никакого Рейли в ней не значилось. Про других разведчиков статьи нашлись, а вот Рейли англичане не вспомнили. Далее, на полках открытого доступа Пименов нашёл мемуары Локкарта на английском языке — возможно, по мнению цензоров, в таком они были абсолютно недоступными простым советским читателям? Пименов рассуждал следующим образом: ну, ладно, советские читатели без доказательств верили, что Рейли — английский агент, но посол-то Великобритании должен был разобраться, кто перед ним — гражданин его страны или местный абориген?

И действительно, у Локкарта Револьт нашёл следующую фразу: «...В это время ко мне явился некто Сидней Рейли, выдававший себя за нашего агента. Но моим людям не стоило большого труда установить, что на самом деле Рейли является уроженцем Одессы и зовут его Зигмундом Розенблумом...» Короче, не стану пересказывать подробности очерка Пименова, и сразу перейду к главным выводам. Король британской разведки оказался неувимым, подобно неувимому Джо из анекдота, — потому что на фиг никому не нужно было его ловить. Пименов доказывал, что на самом деле Рейли являлся агентом ВЧК, лично известным Дзержинскому и выполнявшим его персональные задания. Стоит ли удивляться, что ВЧК не могла его поймать?

По версии Пименова, Дзержинский первоначально нацелил Рейли-Розенблума на внедрение в оккупационные войска Антанты — видимо, в районе Архангельска. Однако собственное положение главы ВЧК виделось ему в тот момент чрезвычайно сложным: наряду с Бухариным он возглавлял антиленинскую фракцию «левых коммунистов» в РСДРП(б), выступавшую против подписанного большевиками Брест-

ского мира. Поэтому само задержание «железного Феликса» эсерами во время июльского мятежа выглядело в глазах Ленина весьма подозрительной акцией. Не сотрудничал ли Дзержинский на практике с левыми эсерами, политическими союзниками «левых коммунистов»? Тем более, что тот не скрывал своих антиленинских настроений: «Если революции понадобится перешагнуть через Ульянова, – цитировал его Пименов, – значит, она через него перешагнёт». Поэтому выстрел Каплан в Ленина и убийство в тот же день Урицкого в Петрограде вызвало сильные подозрения против самого главы ВЧК. И вообще – кому нужна служба безопасности, которая не способна уберечь главу правительства от покушения? По словам, Пименова, реально Дзержинский уже был отстранён от руководства ВЧК и находился осенью 1918 года под следствием. В тот момент он, якобы, и сыграл «в Рейли»!

Его агент вступил в контакт с другим агентом, Берзиным, договорившись об уничтожении всего руководства страны разом! Таким образом Дзержинский спас всех вождей большевизма чохом! Естественно, он оказался полностью реабилитирован и занял место рядом с Лениным. В этом, по версии Пименова, и состояла суть операции «Сидней Рейли». Он никогда не работал на англичан, а потому они и не включили его в свою энциклопедию. После того, как ОГПУ отозвало своего агента обратно в Россию и инсценировало его гибель на границе, Рейли-Розенблум продолжал работать в Петрограде – в той же конторе, но под фамилией, как считал Пименов, Релинский. Закончил Пименов свой текст предложением воздвигнуть памятник «герою незримого фронта Сиднею Рейли».

И он ещё спрашивает меня, где это всё напечатать? В советской периодике, что ли? Помню, я ужасно развеселился, просто пришёл в превосходное настроение. И – начал шутить, на свой, хейфецевский лад. Я сел за письменный стол и написал отзыв – по стандартной схеме внутренней рецензии в издательство, которыми я тогда немало промышлял. Примерно такой набросал текстик:

«В издательство «Самиздат» от рецензента Хейфеца Михаила Рувимовича. Внутренняя рецензия.

Рекомендую Вашему издательству, выпускающему в свет лучшие произведения, выходящие в Советском Союзе, рукопись Р. Пименова «Как я искал шпиона Рейли»... и далее – как положено: похвалы за суть, за стиль и прочее. Ну, а в конце, опять-таки, как положено, указание на недостатки рукописи: «К числу исторических неточностей я бы отнёс такую фразу Пименова: «После огромной неудачи ВЧК, прохлопавшей покушение Каплан на Ленина, перед Дзержинским встали новые задачи...».

«С точки зрения истории, единственной крупной неудачей ВЧК в этой акции, – писал я, – явилось то, что чекистам не удалось убить Ленина».

Я быстро закончил это шуточное письмо и передал его Боре Стругацкому. Через какое-то время он сообщил, что Пименов хочет меня повидать. Мы встретились у меня на Витебском проспекте, проговорили несколько часов, но ни до чего не договорились. Если совсем честно, он мне не понравился: выглядел типичным диссидентом, каковых я в принципе недолюбливал. Прежде всего, потому, что они напоминали

мне своих предшественников – интеллигентов-разночинцев XIX века. Как и те, часто были людьми мужественными, свободолюбивыми, желали осуществления светлых идеалов. Но я-то уже знал уроки истории, знал, что выходит на практике, когда подобные люди с добрыми намерениями добиваются до государственных постов. Государственное строительство, как и политика, не перестают оставаться профессией, делом, которое надо знать и уметь делать, которое управляется не согласно неким идеалам, пусть и вполне честных людей (что тоже не всегда бывает), а по вполне определённым правилам и законам, в которых требуется разбираться. Почему-то не всякий из нас лезет в математику или физику, зато в педагогике или политике каждый считает возможным давать советы и рекомендации специалистам. Вот поэтому я и побаивался революции, когда невежды обязательно вырвутся к власти и напорчат вавсю, пока, наконец, им не снимут головы. Хотя думал, что, увы, другого пути у России нет, ничего не поделаешь, – но очень этого не хотелось. К счастью, на этот раз Россия все-таки обошлась без кровавой революции.

Пименов произвёл на меня впечатление человека честного, но чрезмерно самоуверенного, и чрезмерно решительного. А потом я элементарно забыл об этом эпизоде. Мало ли было у меня случайных встреч и шуток? Но к концу года Боря сообщил мне, что Пименова арестовали и что при аресте у него изъяли моё письмо. И я стал ожидать вызова на допрос свидетелем в ГБ, продумывал даже какие-то объяснения и показания. Но меня не вызвали – тогда. А вскоре дошёл слух, что за арестованного математика вступились светила науки, и вместо зоны он направлен в ссылку – в Сыктывкар. Значит, дело закрыто. И я позабыл о нём начисто – на целых три с лишним года.

* * *

Мы в тот день встретились с Марамзиным в гостиной Союза писателей – сидели вдвоём, больше никого в зале не было. Видимо, обменивались «самиздатом», сейчас не помню точно, зачем встречались. Вдруг он признался: «Сейчас делаю собрание сочинений Бродского. Ты знаешь, Иосиф уехал без единой строчки, ничего написанного рукой через границу не пропускают. И вот мы (я и до сих пор не знаю, кто входил в это марамзинское «мы») решили собрать всё им написанное. Ходим по родным, по бабам, по приятелям... Набрали три тома лирики. Он оказался жутко писучим поэтом! Остаётся добрать ещё два тома: один – переводы, второй – детские сочинения, стишки на случай. Ерунда, конечно, но уж если делать полное собрание, то – полным. Одна осталась закавыка – нет вступительной статьи. Никто не берётся. И не потому, что бояться чего-то, а бояться ответственности».

Далее он говорил о жизни Бродского в Штатах – показал письмо из Америки, где автор писал, что Бродский приехал к ним в университет, но он, автор письма, не сумел подойти к нему, потому что Иосиф сейчас большой человек, и контактировать с ним непросто. Потом Володя снова перевёл разговор на предисловие, которого не хватало. И я сам предложил ему – давай, попробую написать. Так и не знаю, думал ли

Марамзин «вербануть» меня на написание статьи или просто завёл разговор на тему, которая его мучила, а я подвернулся под руку – но, как бы ни было, я впрягся в новую работу.

Вскоре Володя доставил мне три тома лирики Бродского, собранные по всем академическим канонам – с датировками, расшифровки посвящений, особыми обстоятельствами написания в примечаниях, и всем прочим. Отличную проделали работу! Говорят, до сих пор все сборники Бродского «российского периода» основаны на «марамзинском собрании». Я сел читать тома подряд и вскоре убедился, что «самиздат» работал хорошо – неизвестных мне стихов оказалось совсем немного. Но так же быстро я понял, что полноценное вступление к первому собранию сочинений поэта написать не смогу. Не в силах.

Да, я нередко писал рецензии на прозу, на публицистические сборники, на книги мемуаров и умел это делать. Но стихи? Что я понимаю в поэтике, в синтаксисе, в метрике, что могу рассказать интересного читателям Бродского вообще? В то время я представления не имел, что о Бродском уже сочинены статьи, что великий английский поэт Оден написал предисловие к его зарубежному сборнику. Для меня Бродский всё ещё смотрелся обычным «самиздатским» поэтом, о котором я пишу первую в истории статью, хотя теперь, перечитав стихи, я убеждался – да, это сочинения великого мастера. Но вот назвать современника, назвать рыжего Оську великим поэтом... Я испытывал истинный страх – не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Я даже сегодня хорошо помню, как дрожал, *буквально* дрожал, когда впервые вывел в своей статье слово «великий». Может, лучше сразу отказаться от заказа? Но это значило – подвести Марамзина, подвести неизвестных «мы», которые ждали мою статью, чтобы выпустить пятитомник Бродского в свет.

Но в каком качестве Михаил Хейфец может заинтересовать читателей поэзии Бродского? – повторял я снова и снова. И решил писать не анализ поэзии, для которого у меня не хватало ни знаний, ни способностей, но нечто иное – рассказать, почему наше поколение выбрало Иосифа Бродского своим голосом и как в его стихах выразилось ощущение мира нами, поколением ровесников поэта. Когда я закончил, первой читательницей явилась моя жена. Посмотрела и сказала просто: «Посадят тебя, Мишка». И я ответил: «Пусть посадят».

* * *

И вот мой великий день – 1 апреля 1974 года. Утром будит жена: «Мишка, вставай, к тебе пришли». Разлепляю глаза. У кровати крупный мужик суёт мне в нос красную книжицу-удостоверение – старший лейтенант Егерев. «Мы к Вам из КГБ, Михаил Рувимович.» Ну, из КГБ, так из КГБ, я не удивился, уж тем более – не испугался. Только неудобно было – я спал голым. Крикнул жене: «Райка, кинь трусы!» С этого исторического возгласа начался «гэбэшно-тюремный» этап моей жизни.

Их пришло, помнится, человек пять: трое оперов и двое так называемых понятых – явно, конечно, внештатных сотрудников. Возникли

неудобства – Наташку нужно было отвести в первый класс, Ольку в детсадик. Детям эта задержка доставила, конечно, удовольствие. Я оделся, и мы перешли в кабинет, где Егеров сел за стол, чтоб лично писать протокол обыска, а двое других начали перебирать мои книжки и рукописи. Если находили нечто интересное, относили на стол к Егерову, и он аккуратно заносил на бумагу заглавие и первую и последнюю строчку документа. Это заняло несколько часов – примерно, шесть. Запомнилось, как один из гэбистов раскрыл книгу публициста Георгия Александровича «Нацизм в рассрочку», избличавшую «нехорошую ФРГ». На шмуцтителе красовалась надпись от автора-дарителя: «Им в рассрочку, нам – за наличные». Не сдержался и крикнул. Но книжку поставил обратно на место: Жора Александрович их явно не интересовал. За часы обыска ко мне пришли два гостя, обоих задержали: аспирант из Эрмитажа Юра Филатов и мой однокашник по Герценовскому институту и старый друг, Гена Романов. Обоих потом отпустили.

Что делать целых шесть часов? Я нашёл занятие, пока они работали: взял из обыскиваемого «самиздата» экземпляр «Сказки о тройке» Стругацких и с огромным удовольствием перечитывал. Волновался за время обыска один-единственный раз, когда лейтенант Никандров достал из ящика стола моего «Чернышевского». Но предварительный расчёт оказался верным: он раскрыл рукопись, посмотрел начало, потом заглянул в конец – и отложил «как не интересное следствие». А я снова уткнулся в Стругацких.

Действительно, совершенно не боялся – по глупости, конечно. Меня, помню, удивила взволнованная реакция «посетителей», когда они достали из письменного стола «Бродского». Что я там написал? Забыл совсем... Неприятно зацепило только то, что они обнаружили прикрепленную к рукописи рецензию Эткинда: «Вот, невинного человека подставил». Это, и правда, виделось самым неприятным. А так... Я почему-то совершенно не верил в серьёзность намерений начальства. С чего это вдруг «дело» заведут? Кому это нужно? Наконец, ушли, захватив, вместе с моим «самиздатом» (80 с лишком документов!), конфискованную «Электрооптиму», пишущую машинку – «как орудие преступления». Меня оставили дома, из чего я сделал вывод, что арестовывать не собираются – вывод вполне логичный, ведь если брать человека, то лучше после обыска, но, как выяснилось, ошибочный. Я спустился в гости к Лёне Емельянову и сказал: «Ребята, у меня сейчас обыск был!» Всё смотрелось в каком-то романтическом ключе, как сцена из исторического романа, которые я любил писать.

Потом спустился вниз, к телефону-автомату, – он стоял в соседнем доме-общежитии. С трудом дождался очереди и сказал Боре Стругацкому: «Боря, у меня были гости». У меня изъяли некоторые экземпляры из его личной коллекции «самиздата», данные на чтение (помню, например, серию сатирических миниатюр «Позавчера»). Боря мог опасаться, что установят владельца по пишущей машинке, и я должен был его предупредить. Кругом люди стоят, очередь, а он никак не поймет, о чём я говорю. Не понимал, не понимал, а потом вдруг как протянет: «Ах, го-о-ости...». Ну, слава Богу. Предупреждён – значит вооружён!

Потом мы начали обсуждать ситуацию с друзьями и прочие игры. Всё происходившее напоминало эстрадный концерт. Например, слежка за мной проводилась примерно по такой схеме: по Новороссийской улице ехал автомобиль и вдруг ломался. Прямо посреди дороги. Водитель, натурально, останавливался и начинал его чинить – долго-долго. Потом отъезжал... Через минуту появлялся новый автомобиль, который тоже ломался. Я понимаю, что мне не поверят читатели – не верила и собственная жена. Однажды я, утомлённый её скепсисом, не выдержал и позвал на кухню, к окну, выходившему на Новороссийскую. «Вот, видишь ту машину? Сейчас она сломается.» И, действительно, машина остановилась. Водитель стал копать в моторе, потом уехал. «Подожди минуту – сейчас остановится следующая...» Следующая тут же остановилась. Только понаблюдав за зрелищем собственными глазами, Рая уверилась, что всё так и обстоит на деле, как я говорю, что это – не очередная моя фантазия. «Сколько у них людей на тебя задействовано», – ужаснулась она. Иногда я сам хулиганил – выходя за молоком, останавливался у «испорченной» машины и заговаривал с водителем – сочувствовал ему, бедняге, что вот, не везет с техникой. Самое смешное, что все машины выглядели абсолютно однотипными – черные «волги». По гигантским усилиям, по огромному числу задействованной агентуры можно было предположить, что они состояются с опаснейшим и опытейшим выпускником иностранной разведшколы. Это выглядело как шпионская комедия, и она совершенно меня не пугала.

Где-то с 18 апреля черные «волги» перестали ездить возле дома, но теперь непрерывно, день и ночь, стояли у подъезда соседнего дома – наблюдали за нашим подъездом. Видимо, чтоб я не удрал куда-нибудь. Тогда я с юмором относился к подобной возможности, однако напрасно – Володя Марамзин удрал-таки от них и скрывался несколько месяцев. К слову, у Володи проводили обыск одновременно со мной, в те же самые часы, и изъяли, как я понял, кучу «тамиздата». Он потом заехал ко мне на такси (я не сомневался, что такси подали ему от «товарищей»), чтобы показать текст Открытого письма к Андропову. Я был уверен, что нас подслушивают, возможно, из того же самого такси, поэтому сказал ему несколько слов специально для их ушей, например: «Ты давно имел известия от Саши Радовского?». Саша был новым мужем Наташи Магазиной, прежней жены Лёши Адмиральского (Лёшка, страдавший маниакально-депрессивным психозом, покончил самоубийством за два года до этой истории). Наташа с новым мужем в августе 1973 года уезжала в Израиль, и на их отъездной я неожиданно встретил Володю, таким образом узнав, что они с Сашей Радовским знакомы. Теперь, когда Саша жил в Израиле, в Хайфе, он виделся мне очень удобным адресом, чтобы на допросе назвать его источником найденных документов, если придется «сознаваться». Как я узнал позже, встретившись с Марамзиным в Париже через полтора десятка лет, Володя меня понял и мою задумку использовал на своих допросах.

* * *

Часто в те дни я подшучивал по поводу того, что обыск мне устроили 1 апреля – в День всеобщего обмана. Но шутки продолжались –

и 22 апреля, в советский праздник день рождения Ленина, с утрахватило сердце, я лежал, и вдруг явились домой «товарищи» с машиной, с всё той же чёрной «волгой». С вами хотят поговорить! Ну, пожалуйста, я даже обрадовался, что не нужно перетягивать на трамвае в Большой Дом, машину подали. По дороге гэбисты переговаривались между собой, и я понял, что их начальника зовут Валерий Павлович. Интересно, кто такой? Потом довольно долго держали в приёмном здании, потом повели внутрь ГБ и там опять пришлось довольно долго ждать хозяина кабинета. Но я уже немного привык к их порядкам и взял с собой книжку – какой-то из философских томиков Льва Николаевича Толстого. Наконец, вошёл в кабинет неизвестный, явно молодой по возрасту «товарищ», представился: «Валерий Павлович Карабанов» – и начал допрос, снова как «свидетеля». Я отрицал обвинения, он стал убеждать меня «сказать правду, а именно – кто заказал Вам статью» и, наконец, вымолвил: «Вы должны понимать, что я могу вызвать всех Ваших знакомых и от кого-нибудь обязательно это узнаю». Я усмехнулся внутренне: «Он что, не понимает, что после допроса я свяжусь со всеми знакомыми и предупрежу их» – и тут вдруг до меня дошло, что он как раз отлично это понимает, и, значит, предполагает, что домой я уже не вернусь и никого предупредить не смогу. Арест?

Потом я дразнил гэбистов, – что они меня арестовали в день «коммунистического субботника», следовательно, за мой арест платить казне не полагалось. Сэкономили на Хейфеце для государства. Как-то я даже спросил Валерия Павловича, когда наши отношения наладились, почему меня так долго держали за чтением Толстого, и он признался – не могли найти прокурора, чтоб она поставила подпись под постановлением об аресте. И я опять съехидничал – естественно, она же на субботнике была, убирала территорию. Когда в конце допроса он вдруг сообщил, что «принято решение о задержании Вас, Михаил Рувимович», я не выразил никакого удивления, чем, кажется, сильно разочаровал следователя: он явно рассчитывал произвести большее впечатление! И повели меня в Следственный изолятор – место заключения лиц, задержанных или арестованных Ленинградским управлением КГБ.

Между «Большим домом» и находящимся внутри него зданием Следственной тюрьмы (бывшего царского ДПЗ) построен переход, на уровне, кажется, второго этажа. Что-то вроде венецианского «Моста вздохов», как определил Бродский, который тоже проходил тут с охранниками. В первый раз я не понял, куда меня ведут, но, в отличие от Бродского, который, по его словам, думал, что выпускают, – я уже понимал, куда ведут и, как ни странно, вполне успокоился. Валерий Павлович Карабанов, отправляя меня в тюрьму, сказал: «Когда у вас дети, надо о них больше думать». Но, на деле, тюрьма как раз сняла с моих плеч житейские заботы – где взять денег, как отдать долг, куда заплатить... Всё! Теперь я могу больше об этом не думать. Уф, как здорово! Только чувствовал себя неловко, когда в первый раз раздели догола для обыска при входе в тюрьму, не привык к такому, но почувствовал, что и проверяющим тоже неловко (уж больно зло на меня смотрели), и успокоился. Даже интересным виделось – ведь столько раз описывал тюрьму, и вот, наконец, могу её осмотреть изнутри.

Провели в камеру. Она показалась достаточно просторной для одного человека – кровать, тумбочка, «очко», умывальник... Ладно, думаю, можно, наконец, отдохнуть, выспаться. Лампочку не погасили на ночь, но почему-то мне она совершенно не мешала спать, ни тогда, ни позже, – уснул крепко. Я не преувеличиваю степени своего спокойствия в тюрьме – совершенно позабыл о болевшем недавно сердце, не вспоминал о нём почти все четыре года заключения – снова дало оно себя почувствовать уже незадолго до этапа в ссылку. Вообще с заключением мне исключительно везло – всё время. Например, по опыту скажу, что по-настоящему трудное время в зоне – это зима, когда на обычный вечный тюремный голод накладывается зимний холод. Вот тогда на самом деле трудно! Но мне-то дали по приговору всего четыре лагерных зимы, из них первую я провёл в следственной тюрьме КГБ, дожидаясь процесса Марамзина в качестве свидетеля, а ведь в камере тюрьмы относительно тепло и работать не нужно, словом – это не зона, а много-много легче; вторую зиму тоже провёл в тюрьме, уже в Саранском ГБ, – меня дёрнули на так называемую «профилактику», т. е. попытку «перевоспитать», а проще говоря, для возможной вербовки в «стукачи» (это обычно делается с «политиками» по достижении половины срока, у меня как раз в ту зиму исполнилась половина); третью зиму я снова провёл в следственной тюрьме ГБ – уже по новому следствию, и только четвертую отработал в зоне – и вот тогда по-настоящему почувствовал то, чего удавалось до тех пор избежать. Говорю же, чистый везунчик!

* * *

Я уже написал однажды, на какой основе строилась логика моего следователя. Примерно вот такая: «Михаил Рувимович, вы сами видите, я многое знаю. И спрашиваю вас только о тех людях, про которых знаю и без ваших признаний. Я их, конечно, всех вызову и допрошу. Но если у меня не будет ваших показаний, они отопрутся – мол, знать не знаем, ведать не ведаем, и я их отпущу домой. Мне нечего будет предъявить в суде – оперативную информацию представлять в суд я не имею права. Но затем я сообщу, что эти люди солгали следствию, по месту их работы. А как же иначе? Сообщу, что они – недобросовестные свидетели. Мне нечего стыдиться: я не пытаюсь добиться от них ложных показаний, вы сами видите – хочу только подтверждения того, что случалось на самом деле. И у этих людей неизбежно возникнут большие неприятности, особенно в ситуации, когда они работают по договорам (а ведь литераторы работают по договорам, не так ли?). А почему я должен их жалеть? Они мешают мне в моей работе, и я имею право в такой ситуации мешать им в их работе. Подумайте об этом, Михаил Рувимович! Для вас от их показаний ничего, по сути, не изменится – для суда достаточно двух свидетелей, а они у нас есть в любом варианте: Марамзин и Эткинд. Но для Ваших друзей и знакомых Ваше молчание может обернуться очень тяжело – для их литературной судьбы».

Позже, в зоне, мой близкий тамошний друг, украинский поэт Василь Стус, называл такую методику «паразитированием на нашей порядочности». Видимо, Василя «кололи» таким же способом. На самом деле выбиться из тисков казалось невозможным – ибо твоим знакомым, виновным лишь в том, что по твоей просьбе прочитали твоё же сочинение, грозила гибель литературной судьбы. А, с другой стороны, я примерно представлял, как происходит допрос свидетеля, – его вызывают, он запирается, тогда ему показывают выдержку из моих показаний, всё остальное закрыто покрывами – и он вынужден подтвердить мои показания. То есть его показания целиком зависят от того, что скажу я. Это давало мне отличную, как виделось, возможность выгородить всех из-под обстрела ГБ – в конце концов, Карабанов обычно знал лишь про самый факт нашей встречи, про знакомство свидетеля с рукописью, но не подробности обсуждений. И я неизменно показывал в протоколе, какой *отпор* давали мои знакомые, как они советовали мне, несмышлёному антисоветчику, немедленно кончить с этим делом и всё такое прочее. Карабанова, к слову, такие показания вполне устраивали, поэтому он их аккуратно записывал. Они доказывали его начальству именно то, что хотелось бы слышать – какая хорошая советская публика в своей общей массе и какой монстр этот отдельно взятый Хейфец!

Конечно, словесное фехтование не могло идти успешно всегда и только в одну сторону: что-то на допросах выигрывал Карабанов, что-то я. Например, Карабанов однажды расколол меня в том, что мою статью читала писательница Маша Рольникайте, о которой он, оказывается, ничего не знал. Тут проиграл я, признаю. А в другой раз уже он очень крупно проговорился: «Михаил Рувимович, нас интересуют подробности про Эткинда. Про остальных свидетелей не так важно, но про Эткинда и Марамзина мы должны знать всё». Так я осознал, что остальным знакомым ничего серьёзного не грозит, но вот Эткинда и Марамзина, видимо, намечено выделить мне в «подельники», т.е. в подсудимые по тому же делу. Так проявилась для меня главная линия в моих показаниях.

Да, я написал антисоветскую статью, да, я показал её Марамзину и Эткинду. Но они оба её забраковали, Марамзин потребовал переделать, избавив от политики, Эткинд указал на ошибки. Конечно, профессор критиковал меня не так, как это сделали бы в райкоме партии, но, тем не менее, – раскритиковал. Я не сумел исправить указанные им промахи и отложил статью в архив, полностью отказавшись от публикации. То есть, выражаясь юридическим языком, Эткинд и Марамзин *помешали* мне свершить уголовно наказуемое преступление. Оба в этом случае куда как хороши перед законом, но ведь и я неплох – послушался, отказался от совершения преступления – до того, как о нём узнали органы ГБ, следовательно, я тоже с точки зрения закона – невиновен. Самым важным казалось тогда остаться одному – без группы. Кстати, я догадывался, что «группа» отягчает в суде любое деяние.

В камере вдруг пришла в мою голову идея: а почему бы не использовать удивительно благоприятное обстоятельство, что я – еврей? И решил написать заявление на имя Андропова – так, мол, и так,

уважаемый Юрий Владимирович, вижу, что у следователей нет оснований привлекать меня к суду – нет улик. Поэтому прошу разрешить выехать с семьёй на историческую родину, в государство Израиль. Заканчивалось письмо примерно так: «Я всегда хотел быть хорошим гражданином Советского Союза. Видимо, у меня это не получается. Но надеюсь, что смогу стать полезным гражданином Израиля».

К моему изумлению, письмо вызвало панику в Управлении КГБ. Я совершенно не понимал причин их волнений. Ну, выпустит меня Андропов – им-то что? Ну, не выпустит меня Андропов – опять-таки, что им? Не понимал простой истины: любые жалобы в любые инстанции просто подшиваются к моему делу и никуда из ГБ не отправляются. За единственным исключением – заявлений и жалоб в адрес начальства КГБ. Вот их гэбисты *обязаны* отправлять по адресу! Но если б моё письмо ушло по адресу, то решение по делу приняла бы Москва, а Ленинградское управление вовсе не жаждало, чтоб Москва вмешалась в их «дело», за которое они надеялись получить чины и поощрения.

Новое «писательское» дело не слишком манило московское начальство. Хотя, выдворив Солженицына (совсем незадолго до моего ареста, в феврале 74-го), они хотели показать остальным литераторам, что, мол, ту сволочь мы выслали, вынуждены были, но остальные писаки пусть не надеются на такой «щадающий» исход. И активные местные управления первыми ввязались в схватку – в Киеве обыскали Виктора Некрасова, а в Ленинграде главной целью служил вовсе не безвестный Хейфец, и даже не Марамзин. Тогда я не знал, что Эткинд принадлежал к близким друзьям Солженицына, что помогал ему печатать «Архипелаг ГУЛАГ», что машинистка «ГУЛАГа» Вороньянская, арестованная органами, призналась, что один экземпляр рукописи скрывает Эткинд (много лет спустя Маша Эткинд рассказала мне, что «Гулаг» они прятали закопанным на даче!). Да, Солжа вытолкали за пределы, но остались те, кто ему помогал. И Эткинд, я думаю, считался первым из «солженицынцев», на него, главным образом, точили в Питере зубы. Мой «бригадир», майор Рябчук, хвастливо говорил кому-то из моих близких, не то жене, не то Маше Эткинд: «После моих допросов люди вешаются». Солженицынская машинистка Вороньянская, вернувшись домой из ГБ, повесилась, и Рябчук явно гордился этим «успехом»!

С другой стороны, опыт процесса Синявского и Даниэля всё же чему-то научил московское начальство: уж если открывают процесс против писателя, дело должно быть подготовлено добросовестно. Иначе возникает излишний скандал. Поэтому письмо к Андропову с намёком, что у Питера нет доказательств моей виновности, могло привлечь к делу внимание Москвы, по крайней мере, инициировать проверку. Меня вызвал к себе Барков и страстно уговаривал взять письмо к Андропову обратно. Мне и самому не сильно хотелось уезжать – что я буду делать в Израиле? Когда-то уехавшая туда Наташа Магазионер-Радовская в ответ на такой вопрос ответила прямо: «Ты сам, может, действительно, никому там не нужен. Но нужны твои гены!» Спасибо большое за гены – но я себя ценил значительно выше своих генов. Сокамерник Юра Васильев дал мне хороший совет: «Если они хотят от тебя чего-то получить, проси в обмен то, что тебе нуж-

нужно». И я ответил Баркову: «Хорошо, не отправляйте моё письмо Андропову. Но взамен дайте свидание с женой». – «Вы его получите».

Помнится, тянул он со свиданием жутко долго – реально до самого конца следствия. Наконец, Карабанов объявил: «Сегодня у Вас будет свидание». – «Как она, Валерий Павлович?» – «Нормально, но... поседела». И вошла в кабинет Рая. Три месяца назад я оставил дома темноволосую женщину, сейчас увидел абсолютно седую голову!

* * *

Прокурор просил у суда максимум возможного наказания – пять лет лагеря плюс два ссылки. Поясняю, хотя сам узнал об этом позже, в зоне: в ГБ существовали собственные расценки по нашим делам. Если дело групповое, срок обвиняемым полагался от пяти лет до семи. Если судили одиночку, то давали до пяти... Так что мне попросили дать возможный максимум – пять лет зоны и ещё подвесили ссылку. Это была, конечно, максимальная расценка, чтоб потом легче было начинать с неё торговлю. Рая рассказывала, что сидела в коридоре недалеко от совещательной комнаты и выла так, что комендант строго заметил ей: «Не смейте воздействовать на суд». Не знаю, на кого она там воздействовала, но судья Карлов смягчил приговор на год – мне дали четыре зоны и два ссылки, итого – шестерик. По политическим делам – самый минимум. За годы зоны я встретил лишь двух человек, имевших меньший, чем у меня, срок, – литовца, вывесившего национальный флаг, и украинского учителя, написавшего письмо первому секретарю ЦК КПУ Щербицкому с жалобой на дискриминацию национального языка.

Но что меня сильно удовлетворило – судья внёс изменения в текст приговора. Обычные приговоры по политическим делам слово в слово повторяют обвинительное заключение КГБ, только в самом конце вместо «просить суд» стоит – «приговорить к такому-то сроку». Но судья доказал, что услышал мои аргументы. В приговоре значилось «Умысел Хейфеца на подрыв и ослабление советской власти доказывается...», и тут следовала великая, гениальная фраза судьи: «...всеми его действиями». Точка! Я, скажем, ел, ходил в кино, спал с женой, играл с детьми – и все мои действия служили доказательством моего умысла на подрыв и ослабление советской власти! Кажется, судья хотел сказать, что само существование такого типа, как я, является угрозой советской власти – и по совести я не мог с ним не согласиться.

На процессе Марамзина я уже дерзил начальству в полное удовольствие, ибо имел срок за плечами, – как верно сказал Бродский, «когда вы оказываетесь внутри тюрьмы, уже всё неважно... Бояться-то особенно нечего». Конечно, я заявил суду, что «самиздат» у Володи Марамзина я брал сам, без его ведома, когда оказался в его квартире, пока хозяин отлучался. Спокойно врал – сам себе удивлялся. А кончив показания, поднял кулак в ротфронттовском приветствии и обратился к Володе с возгласом: «Но пасаран!» («Они не пройдут!» – приветствие испанских республиканцев). Судья укоризненно крикнула: «Могли бы хоть проститься по-русски» – она, думаю, решила, что мы переклика-

емя на иврите, евреи противные. Самое удивительное, что когда стражники выводили меня из зала, то несколько молодых людей в задних рядах подняли ротфронтовские кулаки, приветствуя уже меня.

Но самое поразительное произошло не тогда, а позже – лет эдак через двадцать с хвостиком. Жена взяла меня с собой на рынок «Маханэ-Йегуда» в качестве тягловой силы – тащить оттуда тяжёлые сетки с покупками. Ну, естественно, стою я на рынке на месте, пока дама ходит по торговым рядам, скучаю себе... Вдруг подходит незнакомый человек и говорит: «Я Вас узнал. Вы – Хейфец?». Ну, да, я Хейфец, меня в Израиле часто узнавали на улицах после телепередач. «А меня зовут Владимир Ханан. Я из Ленинграда. Я Вас видел на процессе Марамзина! Вы тогда крикнули «Но пасаран!», помните?» – «Нет, вас я не помню». – «Ну, как же, как же... Когда вас выводили из суда, мы подняли кулаки, приветствуя вас...» Мать честная, встретиться с *этим* через два десятилетия в центре Иерусалиме! Не чудо ли?

* * *

Сионистов в новой зоне сидело двое: Борис Пэнсон, художник из Риги, участник «самолётного побега» 1970 года, и Михаил Коренблит, питерский зубной врач, член сионистского Координационного комитета. Оба, разумеется, хотели сделать из меня единомышленника, да еще в день, когда я прибыл на зону, обоих освободили от работы, чтоб меня встретили, помогли с устройством, словом, чтоб я естественным порядком вошёл в еврейскую общину.

Что ж, я не был против. Это для меня по-настоящему новым открылось в лагерной зоне – наличие в мире сильных национальных чувств. Я-то был воспитан в совершенно «интернационалистском духе» – ну, как Бродский излагает: «Думаю, что человек должен определять себя более точно, чем по расе, вере или национальности. Сначала нужно понять, труслив ты, честен или нечестен. Идентичность человека не должна зависеть от внешних критериев». Я рассуждал точно так же. Для меня моё еврейство не значило совершенно ничего, кроме того, что я еврей, и меня следует принимать в этом именно качестве. Таким родился. Но более – ничего. Остальное зависит исключительно от личности.

Но в зоне подавляющее большинство политзэков оказались националистами, и, общаясь с ними, я ощутил, что «свой народ» есть неотъемлемое качество индивида, что оно свойственно человеку естественным образом и изначально необходимо, даже если человек сам этого не понимает. Проще говоря, я понял, что уж коли человек произошёл от обезьяны – стадного животного, то ему свойственно жить в стаде – даже если он одинок по натуре и вообще сам по себе. Это не зависит от желаний, а дано природой. Что вовсе не умаляет правоты Бродского, а именно – что главное, всё-таки, какой ты человек. Но сосуществование разных стад есть неотъемлемый закон природного разнообразия, природа не терпит скуки единства, и наличие твоего стада предполагает, что должно быть рядом другое, и его богатства есть такое же богатство природы, без которых и весь мир, включая твой собственный, стано-

вится скудным. Стадо существует, оно – тоже нужно, оно – часть положенной нам жизни. Я передаю ощущение, которое родилось у меня в зоне, и суть коего в том, что место человека должно быть среди своих, но и на своем месте ты, конечно, всё равно должен оставаться честным и порядочным человеком, важным и полезным для всего мира, потому что все мы есть часть общего мира.

Ещё раньше, на 17-й зоне, я столкнулся с преимуществами наличия своего стада. На этой малой зоне не было ни одного еврея, их всех уже перевезли на Урал, в Пермские лагеря. Но по прибытии с этапа ко мне подошёл невысокий плотный парень и, даже не здороваясь, направил вверх, в каптёрку, подвёл к двум чемоданам: «Вот. Это вам. Имущество еврейского народа». Это оказался Валерий Граур, румын, а чемоданы с консервами, весьма и весьма нелишними после этапа, оставил ему на зоне Лассаль Каминский, сказавший товарищу: «Приедет еврей – передашь». Валера и передал.

Иногда спрашивают – не боялся ли я писать, а, главное, печататься, пока сижу в зоне. Всё-таки публикация в Париже формально является несомненным нарушением статьи 70-й УК и влечет обвинение по части второй (как рецидивиста), т. е. до 10 лет зоны и пяти ссылки. Вполне по закону мне этот срок и полагался. Но, во-первых, я точно знал, что закон сам по себе мало значим для начальства. Когда-то следователь Карабанов говорил: «Вы, Михаил Рувимович, не знаете практики», так вот, теперь я её знал очень даже прилично. Осудить меня за изданную на Западе книгу означало сделать ей замечательную рекламу, организовать переводы на десятки языков, привлечь внимание мировых СМИ – а нужны ли были такие последствия моим гражданам-начальникам? Никак нет. Поэтому я понимал: если рукопись напечатают – за неё мне ничего не будет. Вот если найдут раньше...

Кроме того, на меня сильнейшее воздействие оказал разговор с Михаилом Коренблитом. Однажды он сказал мне: «Знаете, Миша, самое важное, что здесь необходимо – это перестать бояться смерти. На самом деле перестать бояться. И тогда они сразу от тебя отстанут». И я каким-то инстинктом понял – вот это и есть здешняя правда. Я размышлял: ну что они могут мне сделать? Самое худшее – убить. Ну и что? Слава Богу, я уже прожил хорошую жизнь, испытал лучшие чувства, данные Богом человеку. Любил прекрасных женщин, близостью которых гордился, и они любили меня. Завел себе отличных детей, лучше которых представить себе не мог. Писал то, что мне самому нравилось и виделось честным. Воспитал отличных учеников и заслужил дружбу превосходных людей. Что нового сулит дальнейшая жизнь? В лучшем случае – повторение того, что уже было и есть. Значит, потеряв жизнь, я, по сути, принципиально ничего не теряю. И я перестал бояться смерти, я смирился с тем, что она может явиться каждую минуту. И Миша Коренблит оказался абсолютно прав: гэбисты каким-то инстинктом мгновенно почуяли это. Всё-таки, на свой лад, они были талантливые люди, особенно их шеф, полковник Дротенко. Они будто забыли обо мне. И мне жилось – хорошо.

Саша Майзель

*КВАРТИРА НА БЛАТОВЕЩЕНСКОМ**

ШКОЛА

Я вошла в незнакомый учебный мир, держась за руку чужого мальчика, с которым меня поставили в пару во дворе школы – большого кирпичного дома с колоннами. Мальчика этого я почему-то никогда больше не встречала, но его ярко-синее пальтишко и черная кожаная ушанка навсегда врезались в память как символ первого учебного дня 1926 года. Школа была близко, через Тверскую, и имела две примечательные черты: прекрасное здание с двусветным большим залом, куда с двух сторон поднимались мраморные марши лестницы, и – зловещего вида директрису, с копной полуседых волос и с сомнительной репутацией «из бывших» в районном отделе народного образования.

Она называлась «заведующей», и мы боялись ее, как огня, так как она имела привычку входить в класс, заглядывать в тетрадки и холодным басистым голосом делать строгие замечания. Меня она сразу же распекла за то, что нажим пера у меня был не ровный, а – «пузыриком». Кстати, непререкаемость ее решений сыграла некую роль в моей судьбе. Поскольку я свободно читала и умела писать, то меня решили перевести сразу во второй класс. Посадили в новом месте на заднюю парту, и на уроке арифметики занялись сложением «в столбик». А я об этом и понятия не имела. Тут в класс вплыла завшколой и, как всегда, пошла по рядам, заглядывая в тетрадки. Дойдя до меня, она увидела, что я по-новому складывать не умею, и, узнав, что меня перевели из первого класса, без расспросов и выяснений приказала вернуть обратно. Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я кончила школу на год раньше; могу только сказать, что уж точно пришлось бы в институт сдавать экзамены, т. к. в 1935 году еще не было закона о праве отличников на поступление в высшую школу без оных.

Почему моя школа была на плохом счету, не знаю, тем более что четыре года первой ступени вспоминаю как самые лучшие и интересные. У нас было две учительницы. Высокая, худая, с круглой гребенкой в седых стриженных волосах, Евгения Карловна вела естественные науки и арифметику. Она была методична и требовательна. А литературой и историей ведала молоденькая, вся в светлых кудряшках, Александра Дмитриевна. Живая и восторженная, она научила нас любить историю и чувствовать прелесть поэзии. Она читала нам вслух стихи, а на уроках истории – по учебникам «Наш город» и «Наша страна» – умела воссоздавать яркие картины прошлого. От нее я впервые услышала о романе «Князь Серебряный» Алексея Толстого: она прочитала нам оттуда описание царского пира, и мне было так интересно, что я не успокоилась, пока не достала эту книгу. Тогда-то я и пристрастилась к

* Главы из книги воспоминаний. Печатаются в сокращении.

чтению исторических романов и повестей. Среди первых прочитанных мною книг были трилогия Г. Сенкевича «Огнем и мечом» и повести о князе Курбском, об Иоанне Грозном, о смутном времени.

По сути дела, Александра Дмитриевна была единственной, кто преподавал нам историю, потому что, начиная с пятого класса, мировая – да и русская – история вообще исчезла из расписания. Ее заменил придуманный советскими идеологами предмет – «обществоведение». «Обществоведы» нам выборочно преподносили эпизоды так называемой «классовой борьбы» – в той форме, как они виделись новоиспеченным историкам-марксистам. Непонятно, почему, но нудное изложение одного и того же повторялось с пятого и вплоть до десятого класса. Из года в год, все сначала; причем мы не учили, а «прорабатывали»! Прорабатывали движение английских рабочих-луддитов, ломавших машины в XVIII веке; затем шла Великая Французская Революция, где чуть ли не большевиками считались якобинцы и Марат, а Дантона и прочих требовалось презирать за мелкобуржуазность; потом, скачками – буржуазная революция 1848 года и «ограниченно-геройская» Парижская коммуна. На этом западная история заканчивалась, и никаких больше стран в природе не было, они вообще не упоминались. А русскую историю начинали сразу с революции 1905 года. Затем мельком упоминалась Первая мировая война как преддверье победоносной Великой Октябрьской революции, которая была венцом всей всемирной борьбы рабочего класса, так же, как ее великий итог – построение социализма в «одной, отдельно взятой стране». На этом заканчивался курс «обществоведения». Историзмом тут и не пахло, а многие общеизвестные факты вообще не принимались во внимание.

Почти так же препарировали и литературу. О западной классике и речи не шло, хотя где-то в планах десятого класса стояли Шекспир и Гете. Но на них никогда не хватало времени. А русскую литературу уложили в прокрустово ложе критического реализма. Подход был самый примитивный, раз и навсегда заданный. Раз ты критикуешь крепостничество или буржуазный строй, значит, ты – критический реалист, т.е. порядочный человек. И талант тут значения не имел. К лучшим относили, прежде всего, Чернышевского с его романом «Что делать?», который, с точки зрения художественной, был просто «жвачкой» (профессиональное редакторское определение). За Чернышевским уже следовали Пушкин, Гоголь, Тургенев, но непременно с оговорками по поводу их классовой ограниченности. Толстого допустили только потому, что сам Ленин обозвал его «зеркалом русской революции». Говоря о толстовской философии, стыдливо мямлили что-то об идеализме, да и вообще старались о ней не упоминать. Что же касается Достоевского, то на все его творчество, кроме «Преступления и наказания», был наложен такой запрет, что даже в конце 60-х годов, когда моя дочь сказала в школе, что она читала «Маленького героя», ей за такое преступление велели вызвать родителей. И я ходила к учительнице – объясняться.

При таком подходе у плохих педагогов литература увядала и теряла всякую привлекательность. Узость, скука и начетничество длились для нас с пятого по восьмой класс, пока мы были отданы на откуп Вере Ивановне, мрачной брюнетке цыганистого вида. Надо от-

дать ей справедливость: драконовскими методами она хорошо обучила нас грамоте. Вне школы В.И., возможно, слыла хорошей бабой и на вечеринках красивым низким голосом пела цыганские романсы, но преподавателем литературы была никудышным. О различии художественных средств у разных писателей она просто не догадывалась. Что же касается глубины суждений, то их иллюстрирует хотя бы ее ответ на мой вопрос по «Анне Карениной». Я спросила, можно ли считать, что Левин списан с самого Толстого? В.И. уверенно ответила: «Конечно, ведь Толстой пахал, и Левин пахал». К счастью, в восьмом классе царство Веры Ивановны закончилось, и до конца школы у нас вела литературу светлой памяти Прасковья Андреевна, умная и тонкая.

Надо сказать, что к пятому классу наша школа вообще сильно изменилась. Свирепую Евгению Васильевну куда-то перевели, а на ее место прислали Грозу Нину Асафовну. Несмотря на такую фамилию, она была не грозной, а энергичной и деловой. И – доброй, несмотря на то, что любила покричать на учеников. Она, например, на свой страх и риск взяла в школу моего одноклассника Сеньку Батышева, которого за озорство уже успели выгнать из нескольких школ. Катаясь на трамвайном прицепе, он потерял ногу, но это не мешало ему быть подвижным «бузотером», т. е. заводилой во всех шалостях. Однако Нину Асафовну он уважал и любил, и ей удалось сделать из него человека.

Она довольно быстро превратила школу из худшей 38-й – в 25-ю Образцовую. Конечно, без показухи не обошлось, и тут наш класс внес свою лепту: класс был сильный и быстро научился давать так называемые «показательные уроки», которые приводили в умиление работников городского отдела образования.

Все науки, кроме общественных, преподавались отменно. Правда, не обошлось без зигзагов: ведь в СССР строили «новую» систему обучения. Из-за чего уже в пятом классе школу начали сотрясать педагогические эксперименты, и нам здорово от них досталось. Помню, как на основании павловской теории условных рефлексов мы приучали кур нажимать на педаль поилки с водой. Без этого пить не давали (к счастью – курам, а не школьникам). Легко себе представить, как мы веселились, чего нельзя сказать о бедных курах. Правда, с этой ерундой быстро расстались, зато «бригадный метод» обучения оказался более стойким.

Эта нелепая система должна была приобщить школьников к идее коллективизма – эдакая бескровная учебная «коллективизация». Нас поделили на группы, по типу рабочих бригад. Мы вместе готовились к урокам, и за знания отвечал не каждый ученик, а вся бригада в целом. Догадливые школьники быстро сообразили, что раз за ответ одного оценку ставят целой бригаде, то совсем не обязательно всем учить все уроки. Предметы быстренько поделили между собой, причем хорошие ученики охотно взяли на себя самые трудные. А для лентяев и тупиц настало счастливое время. К тому же, чтобы не поощрять индивидуализм, отметок было всего две – «удовлетворительно» и «неудовлетворительно, сокращенно «уд» и «неуд». Результаты такой системы не замедлили сказаться, но, к счастью, вскоре она тоже была отменена.

Как я уже сказала, учителя у нас были хорошие. Наша толстая, рыжая, немолодая, явно еврейского вида учительница биологии (к сожалению, не помню ее имени) была настоящим педагогическим гением. Она учила нас всего один год, но уже в середине этого года в нашем седьмом «Б» все твердо знали, что пойдут учиться только на биологический факультет. А пока что дружно вступили в кружок по изучению анофелеса – таково латинское название малярийного комара. Я понимаю, что сегодня это звучит комически, но мы с Игорем Синдеевым – будущим генералом – вовсе так не думали, когда ездили к черту на кулички, на какой-то мясозавод, чтобы купить банку бычьей крови для этих самых комаров: они сидели у нас в мелкорешетчатой клетке и мы их с энтузиазмом подкармливали добытой кровью.

Конечно, такой кружок, как и уйму других, школа могла иметь только благодаря щедрости нашего шефа (слова спонсор тогда еще не было), газеты «Известия». Тут нам очень повезло, т.к. богатая газета не скупилась: они оборудовали у нас слесарные и столярные мастерские для уроков труда, открыли хорошую столовую и подарили симпатичную маленькую печатную машинку. Легко себе представить, что если школа позволяла себе роскошь раскошелиться на кружок по изучению нравов малярийного комара, то и других кружков хватало с избытком. И королями среди них были два – литературный, где блистали Борьки – Заходер, будущий известный поэт-переводчик, и – Розенфельд; а вторым был кружок драматический. Я состояла в обоих, но, как писал великий немецкий поэт Гейне, моей «величайшей забавой и утехой, и счастьем и славой» был именно драмкружок.

Впервые я узнала о том, что такие существуют, во втором классе, когда нас торжественно привели в большой зал смотреть постановку – гвоздь сезона – спектакль старшеклассников. Центром «действия» там служила песенка, которая начиналась так:

*Мы с тобой родные братья,
Я – рабочий, ты – мужик
Ай-да люли, ай-да люли!–
Я – рабочий, ты – мужик.*

*Наши крепкие объятья –
Смерть и гибель для владык!
Ай-да люли! Ай-да люли!
Смерть и гибель для владык.*

Этот музыкальный шедевр, был, видимо, сочинен нашим учителем пения, Петром Петровичем. Пение длилось на сцене довольно долго, и под звуки его «рабочий» с «мужиком» сначала обнимались, а потом, ухватившись друг за дружку, делали вид, что тянут-потянут огромную репку. Кого еще они звали на помощь, не помню, но когда репку, наконец, вытянули, из-под нее вылезла Циля Минц, самая крохотная первоклашка во всей школе. А поперек ее фигурки красовалось написанное огромными буквами слово «КОНСТИТУЦИЯ». Слово, конечно, было совершенно непонятным, но восторг зрителей не имел предела. А я так и вовсе навсегда прилепилась душой к драмкружку. Позднее мы дела-

ли упор на так называемые литературные монтажи – театрализованные картины жизни и творчества великих писателей. Из них самыми удачными были «Грибоедов» и «Шекспир». В первом я была «ведущей», т. е. читала текст, связывавший отдельные сцены и картины. А в «Шекспире» исполняла роль матери Гамлета в ее главной сцене с сыном. И тут уж костюмы, парики и грим были настоящими. В частности, мое роскошное платье пришло ко мне прямо из театра Вахтангова, где только что запретили «Гамлета» в постановке великого ленинградского режиссера Акимова – из-за того, что режиссер слишком увлекся «вульгарным социологизмом».

Траговка трагедии и вправду была невообразимой. Там замечательный актер Анатолий Горюнов играл немолодого полноватого Гамлета и бурно организовывал заговор против короля Клавдия. Дух отца его в спектакле вообще отсутствовал: сам Гамлет притворялся этим призраком, а чтобы напугать стражу вкупе с суеверным королем, друг принца Горацио сквозь глиняный горшок загробным голосом сообщал страшную повесть о братоубийстве и взывал к страже: «Клянитесь!». Гамлет прикидывался сумасшедшим и между действиями бегал по авансцене под улюлюканье датских мальчишек. Бедную Офелию превратили в распутную фрейлину, которая в подпитии пела свои знаменитые песенки, а потом – пьяная – пошла бродить и утонула. Весь этот бред я видела своими глазами, так как папа-театрал поспешил купить билеты на премьеру. Сам он был в шоке, а мне, семикласснице, сказать по правде, спектакль понравился. Чудовищность его я поняла много позже. Тем паче, что постановка была очень красивой. Особенно впечатляла сцена «мышеловки», когда охваченный ужасом Клавдий стремглав неся вниз по огромной, – во всю сцену – черной лестнице, а за ним по воздуху летел черный же бархатный плащ на красной подкладке и кроваво-черными складками стелился следом.

Однако при всей красоте постановки трактовка Шекспира была настолько вульгарной, что оставить спектакль в таком виде было просто неприлично. Его сняли, а костюмы сохранились. И так как наша школа дружила с театрами через родителей учеников, то я сподобилась выступать в костюме королевы Гертруды, которую играла у Вахтангова знаменитая трагическая актриса Анна Орочко. Платье было чудное – голубое, бархатное, но к нему, – о ужас! – прилагался ярко-рыжий парик. Очень мне не хотелось красоваться в рыжем парике, но – пришлось.

Надо сказать, что ведущую роль в кружках играли дети еврейских кровей. В том же шекспировском монтаже кроме меня и Шуры Гольдмана (Гамлета) роль демонического Отелло исполнял высокий черно-волосый десятиклассник Даня Проектор, юноша с ярко выраженной еврейской внешностью. Он очень картинно душил хорошенькую Люсю, внучку русского писателя Глеба Успенского.

На ловца и зверь бежит. Когда школа стала образцовой, сюда потянулись дети творческой интеллигенции, и благодаря папам режиссерам-актерам у нас появилась почти неограниченная возможность бывать в театрах. За символические деньги, а то и вовсе бесплатно, нас пропускали во МХАТ, в Театр Революции и в Студию Станиславского. На пять билетов целый класс проходил на пустые места. А если пустых

мест не было, то во МХАТе мы отлично сидели на ступеньках. В Театре Революции стояли на галерке, так как сидя там ничего не было видно. Зато во МХАТе Втором, любимом театре москвичей, мать моей подруги Иры, актриса Невельская, была одной из ведущих. Мы там на всех спектаклях восседали в директорской ложе и, как я помню, один раз чуть не умерли от страха на генералке спектакля «На дыбе» по роману А. Толстого «Петр Первый». Ложа была слегка выдвинута на сцену, и по ходу действия прямо под нами очень впечатляюще «умирал» один из крестьян, строивших Петербург. Кстати, спектакль был вскоре снят за «искажение фактов», не припомню уж каких.

Так благодаря театралу-папе и школьным зрелищным роскошествами (многие певцы и чтецы у нас в школе давали пробные концерты) я за свою юность перевидала лучших актеров в лучших спектаклях, в том числе всех знаменитых мхатовцев. Мне довелось побывать на одной из постановок «Дней Турбиных» Булгакова, которая сначала была запрещена, а потом возобновлена после письма Булгакова Сталину. И я хорошо помню удивительную игру Хмелева в роли Турбина и, позже, – в роли Тузенбаха в «Трех сестрах». Я видела и великих Москвина (в «Царе Федоре») и Качалова (в «Днях нашей жизни»). И, конечно, стояла за билетами в незабываемой очереди на постановку «Анны Карениной» во МХАТе с Аллой Тарасовой. Это событие было в своем роде уникальным, потому что, хотя за продуктами и за пищей духовной в виде книг приходилось часто выстаивать в очередях, однако длившаяся целые сутки очередь в театр оказалась неожиданно не только для зрителей, но и для властей предрежащих.

После превращения в 25-ю Образцовую наша школа так прославилась, что неожиданно у нас появились дети партийной верхушки. В году 1935-м, в знаменитом МОПШИКе (бывшей единственной в своем роде Опытно-показательной школе-коммуне), где учились дети всех членов правительства, произошел какой-то скандал. Ходили смутные слухи, что детки элиты, старшекласники, там совсем распоясались: замордовали учителей, диктовали им оценки и не учились, а резвились. Когда их барские шалости были обнаружены, это, конечно, от всех скрыли (даже моя приятельница, тогда учившаяся там в младших классах, до сих пор уверяет меня, что ничего такого не было). Престижную школу не закрыли, но многие ученики оттуда ушли и поступили к нам. Может быть – по рекомендации тогдашнего наркома просвещения Бубнова, который как раз отхватил псевдоготический особняк в соседнем переулке и перевел в нашу школу свою дочь. А позже к ней присоединились и другие знатные дети, в том числе дочь Молотова, а также Светлана и Василий Сталины.

Времена были еще довольно демократичные, никто родственниками не кичился, и учителя не раболепствовали перед учениками (об исправлении этой ситуации позже позаботилась жена Молотова). Я припоминаю такой случай. Была перемена. Мы стояли в коридоре и разговаривали: сын модного писателя Огнева, племянница знаменитого полярника Отто Шмидта, моя подруга Люся – внучка Глеба Успенского и я. В это время в школу явилась очередная иностранная делегация, и вездесущая гепеушница Катя Дутикова, подрулив к нам,

начала поименно представлять иностранцам отпрысков великих людей. И тут Люся не выдержала и с криком: «Нечего спекулировать на наших родственниках!» увела нас прочь.

Да и вообще в те времена мы не только подсмеивались над чернобелыми красками газетных статей и явным враньем сводок о достижениях, но и иронизировали по поводу неумеренного восхваления вождей. Так, в начале 30-х мы к навязшим в зубах именам «Ленин-Сталин» прибавили имя известного школьного тупицы. Получилось гладко: «Ленин-Сталин-Акулинин» (фамилия-то какова!). Это вошло в обиход, и все постоянно так и говорили.

А вот как я познакомилась с Васькой Сталиным. Это было в девятом классе. Мы все знали, что где-то у нас учатся дети Сталина, но особенно этим не интересовались, да и сына Сталина никто иначе как Васькой не называл. Я зачем-то зашла в канцелярию и заметила, что по телефону говорит рыжий лопоухий мальчишка. Он бойко заказывал билеты на коллективный просмотр спектакля в недавно открывшемся Мюзик-холле. На вид ему было лет тринадцать и я, пионервожатая, с высоты своих семнадцати сообщила ему, что в Мюзик-холле младшеклассникам делать нечего. И тут между нами произошел такой диалог:

Мальчик (опустив голову): А папа мне разрешил.

Я: Ну и что?!

Он (тихо): Но мой папа – Сталин...

Я (поспешно): Но у папы, может, не было времени увидеть этот спектакль, а я его видела.

С этими словами я быстренько ретировалась, и так и не знаю, ходили ли они в Мюзик-холл. Еще более знаменательно то, что мы не хотели принимать Ваську Сталина в комсомол, потому что он плохо учился. Тогда вышеупомянутая «внешкольный работник» Катя Дутикова от ужаса чуть с ума не сошла и почти со слезами умолила нас принять его условно.

Надо сказать, что по сравнению с другими «цековскими» детьми дети Сталина вели себя очень скромно. Васька вообще, казалось, был подавлен своим положением: ходил, словно пробираясь по стеночке, вечно скованный и смущенный. А Светлана, наоборот, вела себя очень естественно и просто – в отличие, скажем, от дочери Молотова, которая держалась как принцесса и все время исподтишка следила, замечают ли ее другие. Тут, видно, сказывалось влияние ее мамы, Жемчужиной, которая в школе сыграла довольно гадкую роль: она командовала, ввела систему подарков учителям и, разгневавшись на слишком самостоятельную Нину Асафовну, добилась ее увольнения. Знаменательно, что директором по ее же указке назначили любимую учительницу молотовской дочери.

Вообще времена постепенно менялись, хотя преследования за каждое нелояльное слово начались не сразу. Во второй половине 30-х годов, когда я уже училась в институте, изменился и облик школы: мне рассказывали, что среди учеников возникла табель о рангах: «знатные» помыкали обычными учениками, соперничали в марках машин и т. д. и т. п. Правда, в расстрельные годы конца 30-х очень многие дети пострадали, но до этого отпрыски партийных боссов ус-

пели походить в вельможах. Кстати, дети Сталина по-прежнему держались скромно – например, никогда не ставили машину во дворе школы, как другие, а останавливались где-то за углом и в школу приходили пешком. А в старших классах Светлана вообще ездила на троллейбусе – конечно, с охранником, но он не бросался в глаза. Дочь, кстати, обманула надежды державного отца и вышла замуж за соученика и друга Васьки, Гришу Мороза. А он был не просто нежелательным, но еще и – евреем, за что и получил свое – был разведен и вместе со своим отцом вроде бы арестован.

Я хорошо училась, и меня любили преподаватели литературы, математики и химии, зато классные руководители считали, что со мной слишком много хлопот. Причиной тому была моя отдельная квартира, где постоянно собирались ребята, а к сборищам у нас в стране всегда относились с подозрением. Доносчиков, видимо, хватало: то становилось известным, что мы играем в карты не в «дурака», а в покер (на спички, вместо денег), то – еще хуже – читаем запрещенных Гумилева и Ахматову. Попрекали меня и за празднование нового, 1934 года и за историю с похоронами нашего товарища, Вити Мягкова.

Все началось с новогоднего вечера. Мы впервые встречали Новый год большой школьной компанией. Мои родители встречали в другом месте и оставили мне квартиру. Но организовать праздничный стол оказалось непросто. В стране был голод. Помню, как в поисках съестного мы бегали по магазинам, ничего не могли достать и были счастливы, когда в случайном кафе удалось заказать десять кусков сладкого пирога. Обрадованные, мы так громко смеялись и шутили в трамвае, что вызвали раздражение остальных пассажиров, хмурых и озабоченных. Пирог-то мы достали, а больше ничего не было. Это горячо обсуждалось в школе, и тут в разговор вмешался Витя Мягков, новенький, недавно пришедший к нам в класс. С виду это был спокойный симпатичный блондин, так похожий на известного актера Мягкова, что, может быть, они и родственники. Витя слегка грассировал, хоть и был коренной русак, носил пенсне (тогда очкарики еще нередко носили пенсне), был умным, начитанным и очень общительным. Он как-то сразу вошел в нашу компанию и особенно подружился со мной. Однако все это произошло позже, а накануне нового 1934-го года мы были еще мало знакомы. Он рассказывал, что есть у него любимая сестренка Соня и – отчим, но кто этот отчим и что за семья, мы не знали. И вдруг Витя заявил, что стол он целиком берет на себя. И тут посыпалось, как из рога изобилия: масло, сыр, колбаса, консервы, соленья, сладости – все то, о чем мы и думать забыли. Видно, Витин отчим был крупным чиновником или чекистом, словом – большой шишкой. Но тогда мы, восьмиклассники, ни над чем не задумывались: главное, Новый год прошел вкусно и весело.

А позже с Витей все оказалось непросто. Он загрустил, ушел в себя и неожиданно, ничего не объясняя, перешел в другую школу. Правда, дружба наша не оборвалась. И вот как-то в неурочный час мне позвонила наша общая подруга и сбивчиво сообщила, что Витя погиб. Повесился! Все дальнейшее я помню, как во сне. Это была тяжкая потеря. Отчего? Почему? Как это произошло? Мы так толком никогда и не узнали.

Между тем в школе разразился скандал. Дело в том, что мы, друзья Вити, и представить себе не могли, что не пойдём на его похороны. А школьные власти резко воспротивились, словно церковники, отвергающие греховные похороны самоубийц. Как это можно? Пионер – и вдруг покончил с собой? Стыд и позор! На 25-ю Образцовую ляжет пятно! Нам запретили идти, грозили всякими карами, но мы на похороны, конечно, пошли и слышали обращенную к молодежи холодную, идеологически выдержанную речь Витино отчима. В школе история с запретными похоронами еще более укрепила мою репутацию смутьянки; но я слишком хорошо училась, и тут придрасться было не к чему.

Разумеется, нельзя вести разговор о школе, не упомянув о пионерской организации, хотя особого внимания она и не заслуживает. Я застала ее почти в расцвете, когда отряды существовали при учреждениях. Известно, что пионерия была создана советской властью в противовес бойскаутам, которых вскоре запретили как буржуазных, при этом содрал у них многие обычаи и ритуалы. Вначале все и держалось на противостоянии, а когда бойскаутов прикончили, то вскоре стало очевидным, что взамен, кроме сбора утиля с барабанным боем да прославления вождей, предложить особенно нечего.

Октябрят в моем раннем детстве еще вообще не было, и в восемь лет меня приняли в пионерский отряд при 16-й типографии, который гордился тем, что некогда был самым первым. Сборы отряда я совершенно не помню. Но у первых пионеров была советская символика и свои обряды в стиле «ай-да лю-ли». Красный цвет пионерского галстука символизировал рабочую кровь, пролитую в борьбе с буржуями. На призыв: «Будь готов!» непременно следовал отзыв: «Всегда готов!» Но в ходу был еще один рабоче-крестьянский ритуал; сомнительной чистоты рука хватала тебя за галстук, и раздавался крик: «Ответь за галстук!» Ты должен был ударить по этой руке и выкрикнуть безграмотный, но обязательный ответ: «Не трожь рабочую кровь!»

Кроме того, требовалось знать, что этот окровавленный галстук состоял как бы из трех частей: треугольник сзади, под воротником, означал коммунистическую партию, концы – длинный и короткий – комсомольцев и пионеров, а узел – их неразрывную связь. Вся эта немудреная символика стерлась, как только пионерскую организацию перевели в школы. Отряды совместили с классами; это было практически удобно, но бессмысленно, так как теперь никто не знал, как и зачем отделить пионеров от школьников. По-настоящему пионерия оживала только летом, взвиваясь кострами лагерей, а в школьное время она влачила жалкое существование и вскоре совсем выродилась. Интересные сборы стали редкостью и зависели только от таланта вожатых. А ими назначали старшеклассников, у которых не было ни времени, ни особой охоты, ни умения.

Вспоминается еще эпизод из школьной жизни, о котором мало кто знает. Он связан со смертью Кирова. Как только тело убитого было привезено в Москву и помещено в Колонном зале, начались стихийные прощальные демонстрации. Милиция не была к этому готова, и в результате похороны Кирова оказались похожими на будущие похороны Сталина: тут тоже произошла давка, только гораздо меньше и не такая

губительная. А устроила ее – конечно, невольно – наша школа, поскольку старшеклассники, как и все, отправились проститься с убитым. Я училась тогда в девятом классе и стала непосредственной участницей этих событий.

Школа помещалась в одном из переулков на Тверской. Когда мимо проходила колонна идущих от Белорусского вокзала, мы влились в нее и шли во главе до Охотного ряда. И то, что мы, старшеклассники, оказались впереди, спасло жизнь мне и моим друзьям. У Охотного мы уперлись в колонну идущих с Волхонки. Там тоже были и школьники и взрослые. Ждать, пока пройдет встречная колонна, мы, конечно, не стали и сходу врезались в нее. Теперь по направлению к Дому Союзов неслась уже беспорядочная толпа, во главе с нами.

Тут власти перепугались и вызвали наряд конной милиции. Вместо того, чтобы постепенно пропускать людей в Дом Союзов, где лежал Киров, нас загнали на Театральную площадь, в промежуток между Большим театром, Детским театром и – сквером. Здесь путь преградила конная милиция. Мы, четыре девочки, держались за руки, чтобы не потеряться. А толпа все прибывала, сзади напирала; мы уже слышали крики людей, которых давили, и я, обернувшись, увидела женщину, очень бледную, с закрытыми глазами, видимо, без сознания. Деваться было некуда, но нас спасло то, что мы оказались в первых рядах. Мы стояли так близко к конной милиции, что под напором толпы одна из моих подружек уперлась рукой в круп лошади. Нам просто повезло. Милиционер, сидевший на этой лошади, заметил девочку, вытащил ее за руку, а за ней потянулись и мы, остальные трое. Нас вывели из толпы, проводили до угла Тверской, и мы побежали домой. Об этой давке никогда не сообщалось в прессе, и я мало кому рассказывала о ней, но чувство ужаса осталось на всю жизнь.

ИФЛИ

В институте – знаменитом ИФЛИ я дружила в основном с мальчиками. У нас на курсе было четверо ребят; они жили в одной комнате в общежитии. Илья Зайдлер и Толя Коркешкин приехали откуда-то из-за Урала и учились на Русском цикле, а Яша Миндин из Тбилиси и Ника Балашов из Одессы – на нашем, Западном. Я вначале просто помогала им, иногородним, ориентироваться в Москве, но первое знакомство вскоре перешло в дружбу. Да такую, что они объявили меня названной сестрой. Мы много времени проводили вместе и заботились друг о друге.

Помимо названных братьев, я не могу также не вспомнить о Павле Когане, талантливейшем поэте. Меня с ним еще до института познакомил одна из его пассий, Мэри, – поэт был очень любвеобилен, – а здесь мы по-настоящему подружились. Он даже на спор, за десять минут, написал мне симпатичный акrostих, в котором, как в зеркале, отразился характер поэта. К сожалению, при посмертном опубликовании небольшой книги его стихов мое имя в акrostихе было искажено, но здесь я приведу стихотворение полностью:

*Листок, покрытый рябью строк...
Искусство, тронутое болью.
Любовь, тоска, надежды, рок,
Единственность моих дорог,
Мазков – широкое раздолье.
А воздух был безумно чист,
И, пошлости не замечая,
Земля цвела под птичий свист,
Еловый запах – запах мая.
Листок, покрытый рябью строк...
Слова, где боль, любовь и рок.*

(Лиля – моё второе имя, которое я носила до приезда в Израиль, а в юности долго не подозревала, что «по паспорту» я – Самилла).

В ИФЛИ Павел был вожакom и кумиром всех наших поэтов и любителей поэзии – в том числе и ставшего известным Давида Самойлова, которого мы знали под именем Дзика Кауфмана. Мы тогда его не очень принимали всерьёз, и все надежды связывали с Сережей Наровчатовым. Он и стихи писал неплохие, и был необыкновенно хорош собой. Когда он принес свои стихи на отзыв Николаю Асееву, тот взглянул на юношу и, всплеснув руками, позвал жену: «Какие стихи? Ты на него посмотри!». Наровчатов не стал ни Пастернаком, ни Самойловым, зато попал в тёплое местечко в руководстве Союза писателей. О стихах его после института я, по правде сказать, не слыхивала. Да и, судя по фотографиям заплывшего жиром секретаря СП СССР, удивительная его мужественная красота со временем куда-то испарилась. Но в институте мы были молоды, часто собирались, читали стихи, свои и чужие, и спорили. Это о нас и для нас Павел написал свою знаменитую «Бригантину» – гимн мечте и дерзанию.

Мятущаяся душа – поэт, бродяга и правдоискатель – Павел с трудом терпел советскую действительность и с горечью писал: «Я говорю: “Да здравствует история” и головою падаю под трактор». К сожалению, его так мало знают, что появляются даже статьи, в которых он изображен истинно советским поэтом. Но это – ерунда. Он был полной противоположностью прирученным писателям. Наша с ним дружба кончилась довольно нелепо: мы поссорились из-за какого-то пустяка. А потом он вообще ушел в Литературный институт. Уже здесь, в Израиле, мне говорили, что перед войной он примкнул к какой-то группе антисоветски настроенной молодежи и доносил на них; но я ни за что не поверю, что он повел себя как предатель. Так могут считать только те, кто совершенно не знал Павла. Как и другой мой друг, блистательный несостоявшийся литературовед Яша Миндин, Павел безвременно погиб на войне, оставив лишь тоненькую тетрадку стихов. Да будет благословенна память их обоих!

Мы, как тогда говорили, «гужевались» (по-нынешнему «тусовались») в институте и его окрестностях. А расположен был наш ИФЛИ в замечательном зеленом уголке Москвы – Сокольниках. Здание было неприметное, краснокирпичное, но стояло недалеко от Оленьих прудов, и вокруг был лес (или запущенный парк). Нежно-зеленый – вес-

ной, пламенеющий – осенью, он был раем и для влюбленных, и для тех, кто, лежа на траве, готовился к сессии. Просто для прогулок времени бывало маловато, так как студенты, в массе, занимались серьезно, и даже романы, в основном, протекали в библиотеках.

Как отличнице мне не нужно было сдавать вступительные экзамены, и знакомство с институтом началось с трехминутного собеседования с директором – строгой величественной дамой. Она чем-то напомнила мне мою первую суровую завшколой. Фамилия ее (директора ИФЛИ, а не завшколой) была Карпова, что и сыграло решающую роль в ее карьере. Волшебным ключиком, открывавшим для нее служебные двери, оказалась одна фраза из письма Ленина, который кому-то сообщил, что у него в гостях побывал Карпов со «своею прелестной женой». В скобках скажу, что в наше время никакой прелести в ее серо-желтом лице уже не наблюдалось. Однако случайная ленинская строчка стала путеводной звездой нашей «Карпули», как мы ее между собой называли. Кроме того, у нее были и две еще менее любезные клички: «маман» (так называли свою директрису воспитанницы Института благородных девиц) и «хозяйка заведения» (это прозвище – уже из области борделей). По образованию она была историком, и все внимание сосредоточивала на историческом факультете – из любви, а на философском – по необходимости, т.к. он был самым ответственным и вздорным.

Этот факультет требовал не просто внимания, а настоящей слежки, ибо призван был ковать кадры большевистских идеологов. А с «философами» в ИФЛИ дело обстояло отнюдь не благополучно. Бывший студент филфака, Григорий Померанц, в своей автобиографической книге «Гадкий утенок» описывает философский факультет, каким он был до моего поступления в институт. По его описанию, в этой кузнице партийных кадров учащиеся вели себя, как пауки в банке. Расчищая себе путь в ряды большевистской элиты, студенты изничтожали всех остальных и обвиняли друг друга в смертных политических грехах. И эти разборки принимали такие размеры, что факультет решено было расформировать, а сам Гриша тогда перешел на русское отделение нашего Литературного факультета, где я его и видела.

Литфак был самым своевольным и, насколько возможно, свободомыслящим. Слишком смело было бы говорить о полном вольномыслии – достаточно вспомнить погромные комсомольские собрания 1937-38 годов, однако по духу наш литфак явно отличался от большинства гуманитарных факультетов советских вузов, где господствовала цензура, – прямая и внутренняя, – и где редкий преподаватель осмеливался выходить за рамки тупых «идеологических установок». От нас преподаватели требовали – на основе тщательного прочтения произведений писателя – глубокого анализа всего творчества, причем без малейшего признака вульгарного социологизма. Это и питало свободу мысли.

Вообще, к середине 30-х годов наивный вульгарный социологизм был уже не в моде. Отношение к культуре прошлого оказалось серьезной идеологической проблемой: ведь речь шла и о классиках мировой литературы. Они феодальное и буржуазное общество хоть и критиковали, – за что и заслужили звание «критических реалистов», однако даже самые великие считались «классово ограниченными». Большин-

ство их если и начинали с критики, то отнюдь не были прогрессивными в своих политических взглядах, а к концу жизни замыкались в консерватизме. Чтобы не зачеркнуть всю мировую литературу и, прежде всего, – русскую, надо было принять какое-то решение.

И тут очень кстати пригодилась теория венгерского марксиста Дьердя Лукача. Он еще в 20-е годы заговорил о том, что взгляды великих реалистов полны противоречий, и что они часто критиковали существующие порядки с позиций консервативных, то есть «благодаря» реакционности своих убеждений. Другими словами, Лукач допускал, что критика может быть не только слева, но и – справа. Этим он и отличался от принятого у советских литературоведов мнения, что Бальзак или Диккенс, хоть и были реакционерами, однако осуждали буржуазные нравы «вопреки» своим политическим взглядам. Точку зрения Лукача поддержал бывший тогда в фаворе Михаил Лифшиц, искусствовед, редактор «Литературной газеты» и «Литературного критика». Идеологический отдел ЦК Партии благосклонно разрешил устроить диспут. И на литфаке ИФЛИ состоялся известный публичный спор, получивший негласное название «“Вопрекисты” против “благодаристов”». Спор шел об истоках творчества западных писателей XIX века и о корнях критического реализма.

Независимо от исхода дискуссии, сама постановка вопроса была двусмысленна и вполне смела для своего времени. Победили «благодаристы», но ненадолго. Правоверные адепты соцреализма эту теорию сразу же объявили еретической, ибо она была слишком сложна для примитивной коммунистической пропаганды. «Благодаристов» в конце концов распяли, Лифшиц как редактор был уволен, однако проблема «классовой ограниченности» художников прошлого все равно осталась. Надо было что-то придумать, чтобы их обелить и не совсем зачеркивать. И выход подсказала классическая триада царизма – «самодержавие, православие, народность». Обтекаемое и туманное определение – «народность» отлично подошло в качестве якоря спасения.

С помощью этого термина удалось замять огрехи мировоззрения Пушкина, Гоголя, Тургенева и других. Только плохого Достоевского оправдать не удалось. Роман «Бесы» был явно «контрреволюционным», да еще осуждал милого сердцу Ленина нигилиста Нечаева, из учения которого вождь Октября усвоил для себя основу революции – насилие. Единственным романом Достоевского, которому дали зеленый свет в последнем классе школы, был «Преступление и наказание». Спасительный термин «народность» помогал отделаться от любых теорий. Уже к 1940 году «Благодаристов» во главе с опальным М. Лифшицем, объявили крамольниками и навесили на них ярлык пособников англо-французского империализма. К счастью, никого, кажется, тогда не посадили. А вот до ученика Лифшица, талантливого ученого, знатока западной литературы Леонида Ефимовича Пинского в гнусные годы «космополитизма» все-таки добрались и арестовали.

Нам же повезло, что за пять лет некоторой свободы творческой мысли Михаил Лифшиц воспитал плеяду блестящих ученых-литературоведов, и лучшие из них – упомянутый выше Леонид Пинский и Владимир Гриб – читали нам лекции. Это был просто подарок судьбы!

Неудивительно, что в глазах партийных и комсомольских вожakov ИФЛИ получил репутацию заведения сомнительного. Упертым комсомольцам, вроде некой Тани Карповой – будущей замдиректора издательства «Советский писатель», – видно, нелегко было там учиться, и они вспоминали его почти с ненавистью. Я как-то случайно повстречалась с Таней и для поддержания разговора промямлила что-то о радостных институтских днях. Товарищ Карпова холодно меня оборвала и решительно заклемила ИФЛИ как учебное заведение ничемное, вредное и чуждое советской идеологии. А я провела в его стенах интереснейшие пять лет и получила прекрасное образование.

Но до этого еще надо было дожить, а я хочу пока поподробнее рассказать о нашем Западном цикле Литературного факультета ИФЛИ. Гриша Померанц в своих воспоминаниях называет отделение Западной литературы «институтом благородных девиц», но это несправедливо. Автора, видно, смутило обилие одетых со вкусом московских девушек (на Русском цикле преобладали иногородние). А между тем западники отличались не только столичным лоском, но и высоким уровнем знаний. На самом деле, на нашем отделении учиться было труднее: неслучайно западников на курсе было всего двадцать, а на Русском цикле – сто двадцать человек. Знаменательно, что сам Померанц вполне четко формулирует причины, по которым большинство, в том числе и он, поступали на Русский цикл. Он пишет: «Русская культура помещалась в одном веке (от Пушкина до Горького), имена были выучены в школе, оставалось только вешать на каждого свой ярлык. А западная – тут что ни имя, то поручик Кижэ, арестант секретный, фигуры не имеет. Поди разберись... И указаний на это не было...». При всей иронии, из слов Померанца ясно, что студентам-славистам учиться было проще.

У западников с самого первого курса были очень хорошие преподаватели. Начиная с профессора Радцига – античника – красивого, с благородными седидами и прекрасной русской речью. Мы, хоть и неоперившиеся студюзы, понимали, что он всего-навсего пересказывает Гомера и, не комментируя, читает нам стихи Горация; но мы его любили и лелеяли за то, что он не просто читал, а воспевал античную литературу и обучал нас любви к ней. Благодарные за это, мы не пытались искать глубины в его лекциях. Зато, скажем, профессор Неусыхин, историк, был царем и богом нашего первого курса. Низкорослый, подслеповатый (в нескладных очках с толстыми линзами), неряшливо одетый, он читал историю Средних веков с такой глубиной и силой, что сдать ему экзамен на «отлично» стало для нас делом чести и доблести. Он был единственным, кому мы за все пять лет преподнесли цветы, причем он сунул наши розы подмышку, как банный веник, и вместо благодарности сказал, что еще посмотрит, как мы сдадим.

Литературу у нас, как правило, читали прекрасные преподаватели, среди которых первое место принадлежало, конечно, Леониду Ефимовичу Пинскому. Он отнюдь не был оратором, читал тихим неверным голосом, часто прерываясь и задумываясь. При этом он имел привычку все время переступать с ноги на ногу и руками перехватывать края кафедр. Но это все никак не умаляло значения и смысла его лекций. Слушать их приходили и студенты с других курсов и факультетов.

По серьезности и глубине лекции Пинского, быть может, превосходили даже блестящие – и по форме и по содержанию – лекции Владимира Романовича Гриба. Гриб вроде бы шел тем же путем. Но, хотя черно-белыми его оценки тоже не были, он всегда стремился придать выводам «розоватый» оттенок. И потому в курсе французской литературы XVII-XVIII веков, который он читал с не меньшей глубиной и историзмом, чем Пинский, Гриб старался доказать, что без знания творчества Корнеля и Расина нельзя построить идеальное общество. Он убеждал нас читать их трагедии в подлиннике, «пусть даже с двумя словарями». Не менее яркими и глубокими были лекции Александра Абрамовича Аникста по английской литературе. Кстати, студенты – народ умный. Мы, например, ценили и любили Дмитрия Михайловича Михальчи, несмотря на его скучнейшие лекции по Средневековой литературе. Зато семинары он вел интересно и остро.

Я уже упоминала о группе ифлийских студентов, которые, подобно Шелепину, делали ставку на политическую карьеру. Конечно, не все, как «железный» Шурик, «примкнули» к высшей власти. Но Карпова стала чиновницей от литературы, а Богомолец дослужился аж до генерала ГБ. Начали они свою карьеру еще в институте и особенно проявили себя в годы большого террора, когда в ИФЛИ, как повсюду, проходили бесконечные комсомольские собрания, на которых «прорабатывали» и исключали членов семей «разоблаченных врагов народа». Их обвиняли в отсутствии бдительности и в недоносительстве. ИФЛИ очень пострадал в то время, так как у нас училось много детей сильных мира сего, из тех, кто погиб на большевистской гильотине. Некоторые студенты сами были арестованы, как дочь Ганецкого, Хана, или племянница Муралова, Елка.

Я присутствовала на карательных собраниях и отлично помню, как это происходило. Всех «виновных» заставляли каяться и отрекаться от родных. И на моей памяти единственной, кто не отказался от отца, была Агнесса Кун, дочь главы венгерской компартии Белы Куна. В своем рвении комсомольские вожаки доходили до абсурда: например, моей однокурснице «поставили на вид» (самое мягкое из наказаний) за то, что у нее была арестована соседка по квартире. Не могу не отметить, что поведение прикрепленного к ИФЛИ работника ГБ Яши Додзина отличалось от усердия ярых карьеристов. Он, видно, тяготился своей ролью, держался деликатно и почти сочувственно, но изменить что-либо не мог. А те, кто делал карьеру на этих «чистках» от «детей врагов народа», трудились не зря. Это сказывалось на распределении на работу после института: хорошие места доставались лишь тем, кто сумел выслужиться. Распределение прочих оказалось очередным обманом: даже «западников», в том числе и меня, кандидата в аспирантуру, посылали преподавать русский язык в школах Сибири.

Если не считать разгромных собраний, то общественная работа у нас не очень кипела, и ею интересовались те, кто нацелился на партийную карьеру. Важнее для остальных были успехи академические. Однако чем нас действительно допекали, так это – профсоюзными собраниями. Они тянулись долго, народу было много, так что приходилось проводить их в клубе завода «Серп и Молот». Клуб был построен во

времена увлечения конструктивизмом. Здание имело форму гайки в проекции «вид сверху»; гаечные отсеки внутри были тесные и неудобные, а мы там в духоте тупо просиживали целые часы.

В заключение еще раз вернусь к нашей ифлийской профессуре. Не могу не рассказать о печальных исключениях, которые как нарочно были собраны на кафедре марксизма-ленинизма. Во главе ее стоял профессор Гагарин, который свое звание и должность получил за подвиги на поле коллективизации: он проводил ее в числе «парттысячников». Не смею корить его: может быть, среди них он был и не самым жестоким; а в мое время и вовсе выглядел вполне rispettable — маститый ученый, несший с кафедры несусветную чушь. Но именно с его безграмотных перлов и начался наш сборник «По вершинам ифлийской элоквенции», т. е. красноречия.

У многих преподавателей бывали обмолвки или отдельные неудачные выражения. Бурджалов, например, с умилением говорил о строках, «написанных молоком Ленина». Седов с энтузиазмом рассказывал, как царские солдаты отказались стрелять в рабочих, и вместо выстрелов «со стороны солдатов раздался сухой треск». Даже профессор Галкин, ставший позже ректором МГУ, умудрился произнести с паузами роскошную фразу: «Сестра Марата, престарелая впоследствии... жила в деревне... преимущественно умирая...». Все цитаты точные.

Но никто не шел в сравнение с Гагариным по количеству и качеству ляпов и безграмотных высказываний, так что я не могу удержаться от того, чтобы не привести несколько примеров. Прежде всего, ему, вроде бы, принадлежит знаменитая характеристика противоречий в мировоззрении Гегеля: «Гегель одной ногой стоял в прошлом, а другой приветствовал счастливое будущее». Трудно поверить, что такое можно сказать всерьез, но любитель глубоких обобщений Гагарин даже в научной статье, опубликованной в журнале «Под знаменем марксизма», умудрился написать: «Животные отличаются от человека тем, что у них органы осязания покрыты копытами». Статья, кстати, входила в список обязательной литературы по его курсу. А вот пример гагаринского устного творчества. В лекции об атеизме он не обошел молчанием «Гаврилиаду» Пушкина, только слегка перепутал ее с произведением совсем другого автора; он сказал: «Пушкин в своей «Генриаде» (!) вывел Марию как богородицу, но презирал ее как *укомотку*!» (откуда он взял это выражение?) Наш профессор слышал, что Пушкин свою эротическую поэму написал вслед за Вольтером. О французском-то просветителе профессор отдаленное понятие имел, но «Орлеанскую девственницу», видимо, не читал и на лекции ляпнул название совсем другого произведения Вольтера — «Генриада», да еще и приписал его авторство Пушкину.... А когда мы смеялись, Гагарин считал, что нам его курс труден и говорил: «Вы, видно, не понимаете, так присылайте *членораздельные* записки».

Так мы учились и жили до 1941 года, когда во время государственных экзаменов вдруг грянула война, на пятый день которой я вышла замуж. Но это уже другая история. И новая жизнь.

Михаил Фельдман

ПОЧТИ В УПОР

ВЕНОК СОВЕТОВ

Покуда вертится Земля
и мы у Бога под прицелом –
Воспринимайте женщин в целом,
на части тела не деля.

Мозгами будучи узки,
мы возмущаемся и ропщем,
Не принимая женщин в общем,
а лишь отдельные куски.

Покуда вертится Земля,
не измельчайте воду в ступе,
А принимайте женщин вкупе –
со всеми ихними «ля-ля»!

Открой глаза, прелюбодей,
и напряги свой мозг бараний –
У женщин есть так много граней
помимо бёдер и грудей!

Не забывайте, господа,
что перед вами всё же личность, –
Её не купишь за наличность,
ну, если только иногда.

И отнеситесь без обид
к моим призывам хладнокровным
Побольше думать о духовном
или хотя бы делать вид.

И пусть я буду одинок
среди поэтов и эстетов, –
Я вам дарю венок советов –
чужого опыта венок:

Переходите женщин вброд,
без аквалангов и без масок!
О! Сколько нам безумных красок
сулит любви водоворот!

Переходите женщин вброд,
чтоб кислорода не хватало,
И чтобы дело обретало
необратимый оборот.

Шепчите женщине слова.
Слова для женщины – основа.

Шепчите снова их и снова,
пока не треснет голова!
Не отходите от клише,
и опасаться не придётся –
Как ваше слово отзовется
в её таинственной душе.
Не лейте воду в кислоту,
не финишируйте на старте.
(Хотел сказать – «не спите в марте»,
но это ясно и коту.)
И посылайте всех подряд,
кто рвется вам помочь советом –
Один чудака забыл об этом,
и плохо кончил, говорят...

ОБ ОСНОВНОМ ВОПРОСЕ

Сидели двое за столом, тоской охвачены,
А на столе – ну просто лом из всякой всячины:
Горбушка хлеба и флакон «Стандарта Русского»,
Что характерно испокон для круга узкого.

Свела друзей в который раз проблема личная –
Что там первичное у нас, а что вторичное.
Никак не вынесут вердикт, ведут дознание –
Один – «материя», – твердит, другой – «сознание».

И вот один вошел в пике и сыплет фразами
О дарвинистском тупике и чистом разуме,
Другой кричит, что в мире сплошь одна материя,
А чистый разум это ложь и бижутерия!

А первый чокнется вот-вот от напряжения,
Кричит: «Материя – лишь плод воображения».
Второй отвечает: «Прости, с тобою, с неучем
Не то что диспуты вести, а выпить не о чем!»

И больше века длился спор в таком вот ракурсе,
Почти навзрыд, почти в упор, почти без закуси.
И чтоб достичь таких высот самозабвения,
Кому-то нужно грамм пятьсот, кому-то менее...

Увы, финал предугадать дано заранее:
Один, познавши благодать, терял сознание,
Другой, обнявши унитаз, терял материю,
И всё кончалось каждый раз такой потерей !

А с неба падала заря на Землю тоннами,
Лучами царственно соря, искрясь фотонами,
И хаотично, наугад, несла материя
Кому тепло, кому распад ядра дейтерия.

Михаил Синер
САМИ СЕБЕ ПРОРОКИ

М. ФЕЛЬДМАНУ

Мой трезвый хозяин, прекрасна беседа в беспечном застолье,
Где я не скрываю ни мысли, ни фразы, ни фигу в кармане,
Лишь светит янтарь заключенного в толстом стекле алкоголя,
И льются слова и порою блестят незатёртою гранью.

Мой трезвый хозяин, я – гость не случайный, хотя и не частый,
Мне в кухне уютно твоей, где у форточки дым сигаретный.
Ещё мы вполне в тех годах, что не требуют клея на ласты,
А значит, и темы у нас незатейливы и предрассветны.

Язык непослушен, но думы чисты и скрываться не смеют,
Я так откровенен, но знаю, что после жалеть не придётся,
Ведь с кем мне еще говорить обо всем, что сегодня имею,
И что предстоит, что мне на сердце ляжет, и чем отзовётся?

«Ты помнишь?» Я помню. «Ты знаешь...»

Ну, что ты, конечно же, знаю.

Согласен вполне, и причин совершенно не вижу для спора.
И пусть я совсем не уверен, что тучи когда-то растают,
Но я удержусь и не стану в печали кричать «неверморы».

Мой трезвый хозяин, уже розовеет пустынное небо,
И ночь убегает на запад – подумать, какая утрата!
Бутылки стоят, как опоры в соборе Бориса и Глеба,
И я разрушаю их строгость, идя по следам Герострата.

* * *

В этом городе Бог не проездом бывал,
Он здесь жил, и следы на брусчатке видны.
Он тогда безбород был, беспечен и мал,
Его тень до сих пор на песке у стены.

Среди пальм и олив, возле сточных канав,
Между камнем и облаком плачет душа.
Кто мне скажет, он прав был? Наверное, прав,
Просто надо подумать о том не спеша.

А куда мне спешить, нарушая покой?
На добро и на счастье исчерпан лимит,
И бездарны мгновения жизни такой,
Если не с кем в дороге сухарь преломить.

Нету разницы, в рубище или мехах,
Всухомятку, иль где-то воды наберём,
Но все цели, старанья и помыслы – швах,
Скажешь, нет? Ну, а все-таки, как с сухарём?

Но когда в пустоте запечалится плоть,
Подними в небо взгляд и увидишь ответ –
То не облако, то пролетает Господь,
Оставляя зевакам инверсии след.

* * *

Сами себя лечили, сами себя варили,
В этакой суматохе что только ни творили.
Сами себя сжигали, сами собой гордились,
Те, кто поумирали – заново народились.

Сами себе читали, сами себе внимали,
Много затёрли истин, мало что понимали.
Сами себе платили, сами себя зевнули,
Если бы море рядом – сами бы утонули.

Сами себе основы, сами себе пророки,
Были всегда бесправны, веселы и жестоки.
Верили каждой мрази, едущей без билета.
Сами собой исчезли. Боже, прости нам это.

КАРТИНКА

На берегу огромного залива
Сию и устремляю взор на запад,
В ребристой кружке золотится пиво,
И от сетей витает рыбный запах.

Вокруг шумит беспечный город Акко,
Как будто в предпоследний день Помпеи.
Моя невыразимая Итака,
Несущий ужас танец Саломеи,

Рычание катеров и мотолодок,
Собаки лай и крики муэдзина –
Такой вот сумасшедший околоток,
Нескладно-разноцветная картина.

Плеща в залив расплавленными днями,
Похоже, что со всей вселенной в ссоре,
Ложится вечность синими тенями
На камни, отшлифованные в море.

Вот облака ягнёнок убелённый
Взрослеет, выпирая из размеров.
...Уходит солнце, бросив луч зелёный
В развалины причала тамплиеров.

REQUIEM

На огромнейшей свалке поверхность рыхла и горбата,
По железу под вечер стекает предсмертный извилистый пот
И ложится туман воплощением густым аромата
Запылённых годов, недопитых чаёв и истоптанных бот.

Vita brevis est, кто ж сомневался, конечно же, brevis.
Только грянул хорал, а уже ноты кончились, зал опустел.
Можно вжаться друг в друга, от стужи немыслимой греясь,
Поражая весь мир бутербродом живым неистраченных тел.

Упирается линия жизни в запястье, что явная лажа,
Чем струльдбругом на свалке смердеть,
лучше вспышка – и свет.
Остаются от нас угольки, что прекрасно, но мелкая сажа
Всё же чаще являет наследие тех неприкаянных лет.

Спинка стула, обрывок конверта, часы без стекла и браслета,
Полусмытое фото, на нём – никого, даже нет пустоты.
Где-то осень, весна и зима, где-то лето и где-то
На краю этой свалки совсем растерявшийся ты.

Сергей Арно
ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ

БАЛЛАДА О ПРОПАВШЕМ ТАЛАНТЕ

Юрию Кукину

Из общенья слагают песни.
Только как ни крутите лиру,
Подмахнули там что-то в Хельсинки...
Миру – мир, но ОВИР – ОВИРу.

На мосту лейтенанта Шмидта,
Где разводят имя и званье,
Пропадал талант композитора
Ивана Дмитрича Зайна.

Как он на воду слезы капал,
От реки не подъемля взора.
А на Неве-рукаве, как запонка,
Сверкала залпом «Аврора».

Как он замысел мог вынашивать,
Исааком нигде не значился.
Не носил ничего ненашего,
Из-за авторских не артачился.

«Пропади ты пропадом, Ванька! –
Молвят три собутыльницы утром, –
Выйди вон, да на бочку встань-ка,
Ты эпоху с непрухой спутал!»

Молвит первая Зайну, Любка:
«Что ж, что в музыке ты Кулибин,
А в Израиль не можешь Люфтваффе
Угнать хучь какой бы там ни был?»

Молвит Зайну Лариска, вторая:
«Что ж не крутится твоя fuga?
Раскрутись на балет
"Стирающая штаны любимого друга"».

Молвит третья, вовсе сука:
«По моим сусекам ты Скрябин,
Пропиликал все, промяукал,
Эпохален ты и похабен.

Мимо похоти не пройдёшь ты,
Остальное всё мимо да мимо.
Тут ли, там ли, а пропадёшь ты,
И отдельно и неделимо!»

Он прервал ораторию разом,
Он бежал через Марсово Поле.
В стане ноты смешались с фазами.
В мыслях сдвиги смешались с бемолями.

И, диплом разорвав на порции,
Обрусевший от муки расовой,
Он книжну свою консерваторскую
В набежавшие волны сбрасывал...

1979

ВОРКУТА

Стучит ЧК, чеканкой занимается,
А Зиша Брейбер – так себе сексот.
Под Воркутою лето занимается
На глубине километров семьсот.

На Сеньке Либерзоне шапка волчья,
Он был еще на зоне на мази.
Живётся кверху мехом и Лейбовичам,
Которых из Одессы привозил.

Наум Ефимыч в Корабелке кафедру
Тащил, не видя жизни за кормой.
До шестьдесят девятой, как по кафелю,
Таскал он шпалы по полста восьмой.

Угонщик «Мессершмитта» из концлагеря
Пятнашку в Воркутлаге отволол.
Конечно, на расправе у Канариса
Он схлопотал бы, падла, потолок.

У тётки Двойры от мороза вылезли
Глаза ещё, чем были до того:
– Как! Землю Франца-Йосифа вы видели?!
И шо там, нет супруга моего?..

А Зиша засиделся на пельменях
У адъютанта Власова в гостях.
А шо, начальник Шахтстройуправления
Не может с Зишей выпить арманьяк?

А в Воркуте приличное снабжение,
Спроси меня: и шо туда везут?
Из института кораблястроения
От дыма, бля, отечества слезу.

Здесь денег – тьма, но дело не в количестве.
Смеются дети, их душа чиста.
Наверное, играют в политических,
В воров играть здесь негде – мерзлота!
1981

* * *

Зачем ушла ты в балерины
Из таксопарка нашего с утра?
Что будет с Жориком? Он проигрался в «спринты»,
И льёт из Жорика, как из ведра.
А к нам в таксисточки идут из Мариинки,
И водят тачки, как по речке катера.

И на аварию у Жоры
Мы все билеты взяли в бельэтаж.
Он скрежетал зубами и рессорами,
И все партеры брал на абордаж.
И от духов твоих шалел в кабине сорной,
И пассажирам забывал отдать багаж.

Весёлому Посёлку плакать,
И Володарскому мосту прогнить
Без шин твоих, без шин, которых мяготь
На понт пуантов никогда не заменить.
Слова на бампере твоём не нацарапать,
И светофора аксельбант не нацепить.

Ушла. Шлагбаум уронила,
И отдала Жоре всё, что есть.
И тут сказал один мудрец-води́ла:
«Не знает женщина, что лучше предпочесть.
Пусть профессия мясник ей не светила –
Так это ж надо с горя в балерины лезть...»

Подбор несложных выражений
Не донесётся, Жора, до её ушей.
Теперь по правилам лихих телодвижений, –
Батманов, вывертов и антрашей, –
Она сигает за кордон с каким-то Женей,
Который ноги в синагоге сделал ей.

1981

* * *

На смену тем, кто ждёт меня, придут другие.
Не потому, что тех уж нет – отчасти да –
А потому, что завещать дела благие
Кому-нибудь находится всегда.

Уходим мы, а дни рожденья остаются.
Подумать только, раз в году вновь родились!
Не собираются друзья, но всё ж поются
Те песни, что на молодость пришли.

Спугнули птиц, и лёгкой стайкой встрепенутся
И отлетят, и переждут, им не впервой.
Я возвращаюсь, и никак мне не вернуться,
Среди чужих – хоть плохонький, да свой.

Стэмфорд, Коннектикут, 2001

* * *

Ой, сожгут мой портрет на какой-нибудь
Демонстрации против меня.
Хоть не Курт никакой я, не Воннегут,
Расскажу всё, как есть, сохраняя.

Ой, подложат мне бомбу под старенький,
Виды видевший велосипед,
И отравленный чем-то комарик мне
Напищит кое-что о тебе.

Ой, не выйдет никто замуж за меня,
Надо же до такого дойти,
Провалил на гражданство экзамен я,
И тебе со мной не по пути.

И не примет сердитая родина,
И не впустит назад Вашингтон,
И висю я один в небосводе, на
Фиг нужный, как виденный сон.

Ой, ворвётся толпа оголтелая
В дом-музей мой, натопчет, нальёт...
Вот отпустит горячечка белая,
И сама за собой уберёт.

Стэмфорд, Коннектикут, 2001

* * *

И ночь, и день,

и ночь, и день!..

Так жизнь натикала на счётчике, проказница,
Мы покатались, а расплачиваться лень.
Но дело, видно, снова в прошлое покатится,
Где всё доступно – и любовь, и бюллетень.

Перемоталась бы назад судьба дурацкая,
Пересмотреть, где тень наводят на плетень.
Но, очевидно, наша копия – пиратская,
И жизнь опять перекосило набекрень.

Но снова паруса обиженно надуются,
И разыграются то буря, то мигрень,
И корабли во всю с просторами целуются,
Пока не высмотрен ещё ты, как мишень.

Уже испытана вся удаль молодецкая,
И так останется, косая, как сажень,
Всё не привыкнуть, что не наша крепость Брестская,
И окружает Поле Марсово – сирень.

Стэмфорд, Коннектикут, 2004

ОТВАЛЬНАЯ

Соблазнил Америку и бросил.
Вот такой вот оказался возвращенец.
Даже те же так не делали матросы,
О любви хотя бы пели в выраженьях.

Нет бы, чтоб амнистии дождаться,
Амнезии, дистрофии, диабета,
Не подняться, и тогда уже остаться
Где-нибудь недалеко от лазарета.

И пришли все двадцать пять гражданок,
Что любили и за песни, и за басни.
Посидели на моих же чемоданах.
Эти проводы, что может быть ужасней.

Эти проводы, что может быть прекрасней...

Нью-Йорк, 2008

[illegible]

пить вина марки «ио»
единственный исход
чегóрока́ромío
чегóрокармеод

E 1010 D V 5 2

П. 0.1.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

Вот еще одна цитата-головоломка. Мало того, что с помощью поисковой программы читатель сможет найти неизвестные ему слова, потом увязать их смысловыми нитями и лишь затем насладиться остроумием автора.

магические квадраты

И...У...Д...А	И...У...Д...А
У...Р...О...Д	У...Х...О...Д
Д...О...Р...У	Д...О...Х...У
А...Д...У...И	А...Д...У...И

Кобринский неистощим на выдумки, ни на миг не забывая, что он сочиняет именно стихи, по форме, оригинальности своей не писанные никем, или, может, – единицами (по крайней мере, я не знаком с чем-либо подобным). Эти визуальные стихи, до того как попасть в сборник, были выставлены на его интернетовском сайте, и ни один из читателей не обвинил его в эпигонстве. Продолжатель Бурлюка и Каменского по одному вектору и Бокштейна – по другому, Кобринский делает шаг в неизведанные просторы. Славу подобные эксперименты редко кому приносили, но в том, что через какое-то время книга Кобринского станет букинистической редкостью, сомнений у меня нет.

Евгений Минин

Пинхас ПОЛОНСКИЙ, «Две тысячи лет вместе. Евреи и христианство – невозможность совмещения и необходимость осознания дополнительности». – Иерусалим – «Маханаим», 2008.

Тринадцать лет назад то же издательство выпустило сборник, снабжённый более кратким и категоричным названием: «Евреи и христианство: Несовместимость двух подходов к миру». Его авторы и составитель (тот же П. Полонский) вплотную подошли к осознанию необходимости (несмотря на декларируемую несовместимость) преодолеть многовековые взаимоотношения и вражду. На какой основе? В заключении сборника содержалось очень важное положение: «Стремление свести "к одному знаменателю" все идеологии, теологии, религиозные воззрения – это проявление тоталитарной аномалии мышления». Оставалось сделать ещё один шаг: увидеть собственное духовное наследие в ряду бесчисленных путей к Истине, преобразовать свою вероучительную Истину в духе структурообразующего, а не внешнего по отношению к своему духовному наследию плюрализма. Тогда, в 1995 году, этот шаг сделан не был. В новой книге он делается...

Анализ ситуации в иудейско-христианских взаимоотношениях начинается с констатации того факта, что «сегодня пересматриваются и исправляются концепции, казавшиеся незыблемыми в течение тысячелетий, причём это происходит не в результате реформы или образова-

ния новых сект, а в ходе "ортодоксальной модернизации", когда новое направление развития данной религии полностью сохраняет свою ортодоксальность и при этом модернизируется».

Многие столетия христианство и иудаизм разделяла стена, первые камни в которую были заложены на заре христианства, когда новое, стремительно набирающее силу вероучение стало оттеснять «материнскую» религию и её носителей на обочину духовной истории европейского континента. Диалог между христианством и иудаизмом с конца I-го до середины XX века сводился к попыткам затолкать евреев в христианскую веру методами «активистского» убеждения (квазидиспуты с заранее предreshённым результатом, миссионерство), а порой и принуждения (как в Испании и Португалии в XV веке). Всё начало меняться – в положительную сторону – после Катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой войны и образования Государства Израиль.

Речь идет о кардинальном изменении подхода ряда влиятельных христианских мыслителей и церковных авторитетов (включая римских понтификов) к статусу «Первого (Ветхого) Завета», в признании его незыблемости и теологической действенности в качестве слова Божия, обращённого к евреям. Это, полагает П. Полонский, «даёт возможность иудаизму также занять более открытую позицию»; тем самым «стороны, впервые за много сотен лет, могут начать действительный диалог, направленный на взаимопонимание, а не на переубеждение оппонента».

Само собой разумеется, книга содержит сведения по истории возникновения христианства в недрах иудаизма. Значительное внимание уделяется фигуре Иисуса как харизматического – еврейского! – проповедника, а также вопросу историчности образа Иисуса в его евангельском освещении (не путать с «исторической истиной его существования») и роли, которую он сыграл в процессе исторического «размежевания» христиан и евреев.

Автор указывает на полное согласие Иисуса с учением фарисеев (при несогласии с их поведением), ссылаясь на однозначные свидетельства евангелистов. Тем самым опровергается версия, будто он был великим религиозным реформатором, как его часто изображают апологеты христианства. Что касается его критики поведения фарисеев, автор книги считает её «нормальной "внутренней критикой" истеблишмента собственной религии». «Лишь позднее, – поясняет Полонский, – будучи записанной в Евангелиях и перенесённой в эллинистическую культуру христианами-неевреями, она могла ошибочно восприниматься как критика учения иудаизма вообще».

Подробно рассмотрена в книге роль учеников Иисуса, в особенности Павла из Тарса, в формировании новой мессианской теологии – «иудаизма для народов мира». Оспаривается утверждение, будто Павел отменил «оправдание делами», якобы доминирующее в иудаизме, заменив его на «спасение через веру». По мнению автора, неверно, что иудаизм – чисто «законническая» религия, – Благодать и Любовь занимают в нём столь же важное место, как Божественный Закон и Справедливость. Полонский объявляет такое искажение иудаизма подлогом!

В целом, однако, «еврейская оценка вклада христианства в раскрытие Бога человечеству» сводится у автора к тому, что оно лишь при-

способило иудаизм для неевреев. Впрочем, П. Полонский подчёркивает, что «возникновение христианства и его развитие было огромным творческим (и даже провиденциальным) процессом, раскрывшим человечеству многие аспекты духовности: силу самопожертвования и самоотречения, смысл страданий, готовность к мученичеству ради ясно осознаваемой, осязаемой истины, опыт деятельного милосердия и помощи ближнему и также "далёкому ближнему", утверждение в мире идеи бессмертия души и многое другое». (Тут же – «для ясности» – добавляется, что «несомненно, в иудаизме уже содержится "исходное зерно" всех этих сторон христианства...»)

В прошлом – «классическом» – периоде христианство с течением времени окончательно сформировалось в теологию антииудаизма, теологию замещения иудаизма, но в новейшую эпоху западное христианство (и католицизм, и некоторые протестантские конфессии) пришло к историческому выводу о взаимной дополнительности «материнского» и «дочерного» вероучений: пусть каждое из них остаётся приверженным своей истине, признавая при этом духовные достоинства другой стороны. «Это надо делать, – подчёркивается в книге, – не из ложной "политкорректности" (а бывает и не ложная? – М.К.), а истинного восприятия истории (и двухтысячелетнего сосуществования иудаизма и христианства) как Божественного Провидения, (...) как продолжающегося Откровения, дающего возможность более верно расставить акценты в исходном Откровении (никоим образом, разумеется, не подменяя его)».

Та часть книги, которая обозначена в заголовке как «Невозможность совмещения», показывает, впрочем, что, с точки зрения автора, иудаизм не готов уступить оппоненту ни «пяди» своей духовной территории. Это в общем-то понятно, ибо речь всё-таки идёт не о «слиянии» двух религий, а лишь о взаимной дополнительности, как это и обозначено в подзаголовке книги. И меня больше заинтересовала часть, которая посвящена осознанию необходимости в такого рода дополнительности, а в ней – всё, что касается изменений в отношении к иудаизму в христианской теологии второй половины XX века. Здесь содержится ряд важных материалов, иллюстрирующих эти изменения, включая изложение «Декларации об отношении к нехристианским религиям», принятой на Втором Ватиканском Соборе (1963-1965), фрагменты статьи сторонника школы политологической теологии Дидье Поллефе (Бельгия) «Иудейско-христианские отношения после Освенцима с католической точки зрения» и другие документы подобного рода.

Но если христианская сторона рассматривается в книге достаточно репрезентативно, то еврейская теология, лежащая в русле диалогической дополнительности иудаизма и христианства, представлена подходом единственного авторитета – рава А.-И.Кука, создателя философии религиозного сионизма.

Новая книга Пинхаса Полонского содержит много интересных и ценных сведений по объявленной тематике. Написана она нормальным, а не наукообразным языком, что делает её, при всей сложности проблематики, доступной для широкого читателя, которому тема диалога евреев с христианством совсем не безразлична.

Михаил Копелиович

**Елена ИГНАТОВА, «Обернувшись». – Санкт-Петербург–
«Геликон плюс», 2009.**

Не случайно, читая эту книгу, я вспоминал строки Б. Пастернака.

*Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты пригород, а не припев.*

Деревня, «поселок городского типа», пригород – метафора особого угла зрения на мир. Такого угла, под которым естественное желание «пробиться» не заслоняет от человека устоявшиеся ценности непритязательной и честной народной жизни. Пригород, позволительно сказать, – это лирический герой произведения Елены Игнатовой.

В то время как многие обитатели Пригорода, набравшись ума, всеми правдами и неправдами рвутся «в город» и стыдятся клички «лимита», иные из них, даже преуспев, продолжают чувствовать себя неприкаянными в новой среде. Неизжитый комплекс неполноценности? – скажете вы. Возможно. Неумение окончательно приспособиться? И это тоже. Но такое неумение порой многозначительно. За ним стоит неготовность к предательству.

С первых же строк книги перед нами предстает человек Пригорода – Венедикт Ерофеев, с которым Е. Игнатову связывала многолетняя дружба. Он существо особенное, но и «тип», с которым мы уже встречались. Тип неизбежно противоречивый. Чувствуя в себе неоформленные духовные силы, он не знает, куда их девать (они перетекают за края предлагаемой действительности). И топит их в водке. А обнаружив в себе общепризнанное дарование, не усматривает в нем личной заслуги – это дар Божий (Бога не спрашивают, за что), либо откуда-то взявшееся везение. Из этого как-то неловко извлекать выгоду. Ну, не откажешься от славы и денег, если они сами плывут в руки (после всемирной известности поэмы «Москва – Петушки»), но в то же время точит неосознанный стыд за вознаграждаемое «мудозвонство» (цитата из Вен. Ерофеева), за навязываемую роль «мэтра». От неловкости опять-таки уходишь в запой, а тут ни от каких денег вскоре ничего не остаётся, и пальтишко все то же, на рыбьем меху. Сильнопьющему вообще знакомо острое чувство вины – перед домашними, которым получку не донес, а мерзостей прибавил, перед приятелями, у которых занял, да не отдал, перед самим собой, исковеркавшим собственную жизнь, и спасение от этого – в очередном запое. Но оставим наркологам порочный круг психологии алкоголизма. Художник и мыслитель из Пригорода не может избавиться еще от одной вины. Он наделен врожденным недоверием ко всему показному (то же, заметим, у Шукшина). Художника смешат, раздражают, бесят маски значительности на «мудозвонах», которыми со всей определенностью движут своекорыстие, угодливость и самозабвенная любовь к собственной персоне. Он казнит себя еще и за то, что попал в эту компанию и согласен плыть по течению. Реакция: «И немедленно выпил».

Противоположный тип из того же Пригорода – поэт-начальник, холуй властей, держащий у ноги собственных холуев. Он, конечно, пьет –

российская традиция, но меру знает, а «топит» свое человеческое начало в присоединении к дубовым формулам советской идеологии. Вот так оно, это начало и низводится до свинского. Удивительно приметлива Елена Игнатова. Вот краснодеревщик, изготавливающий сохи и бороны для краеведческих музеев – этот мнит себя «славянофилом», ну не смешно ли? А вот диссиденты, робко сходящиеся на Сенатскую площадь, дабы, помянув декабристов, уподобиться им; и тут же – полчище сотрудников «из органов», надзирающих за неразумной литературной молодежью. А вот «Клуб-81», специально созданный КГБ, чтобы эту молодежь пасти и вовремя выдергивать из массы тех, кто не на шутку радикально настроен. Какой фарс! Как непригляден «андеграунд», в котором сразу выстраивается иерархия по образцу Союза Советских Писателей – того самого, куда, в действительности, почти все мечтают прорваться. Вот видные поэтессы из упомянутого ССП, примеряющие чужие дорогие шубки в гардеробе Писательского дома. Вот поборники оригинальности, сочиняющие стихи о совокуплении слонов или бегемотов, стихи со строками типа «Это что за пупочка? Это чья-то пипочка». Вот сочинители, убежденные, что раз человек не побывал в психушке, значит – «не гений». Читая Игнатову, то и дело ловишь себя на хохоте. Не то чтоб она обладала так называемым злым умом – просто человеку с нормальным складом ума открывается не замечаемая другими анекдотичность окружающей действительности. Тем большее восхищение вызывают разбросанные в книге эпизоды встреч с подлинными умами, с блестящими образцами эрудиции, остроумия и пронизательности. Тут автор книги «Обернувшись» вступает в тайный сговор с читателем, втягивает его в другую компанию, которая тоже существовала в те годы. Она была, антисоветской по существу: поскольку была антиидиотической. Игнатова скорее жалеет описываемых нелепых людей, чем смеется над ними. Она понимает, что произошло. Они Бога забыли. А точнее, и не знали – откуда им было узнать? Отсюда их нравственная и поведенческая неразборчивость, слепота разума, комическая претенциозность.

Поэт Елена Игнатова, формально приписанная к питерскому «андеграунду», в действительности ни кому не примыкала – тошно ей было и с «западниками», и со «славянофилами», и с противниками, и с поборниками режима, объявившего себя «диктатурой пролетариата». Без ее стихов, полных любви к родине и боли за ее судьбу, трудно сегодня представить хрестоматию русской поэзии. И такие вот стихи приходилось выносить на суд чиновников или осмотрительных литературных карьеристов. Приходилось браться за любую работу, требующую компетенции филолога и историка (это, собственно, ее профессия, ведь поэт – не профессия, а призвание), лишь бы что-нибудь платили. Пришлось, в конечном счете, вырваться из Советского Союза, пройдя через иезуитские пытки властей, знакомые многим «отказникам».

Написанная Еленой Игнатовой книга – вовсе не мемуары. Это проза человека с отточенным вкусом, редким чувством слова, незаурядным объемом знаний, драгоценной цепкостью памяти. Проза, естественным образом огибающая речевые и фразеологические штампы. Полная красок, запахов и трудноопределимых состояний души. Являющая собой образец непривычной в наши дни скромности: собственные стихи Иг-

натова не цитирует ни разу (а кажется, как бы к месту они были, какой коллаж составили бы с прозой!). Из своих поэтических «мощностей» она дозированно черпает для прозы лишь завораживающую метафорику, словно даря ее от поэзии другому жанру. Эта позиция не случайна: Игнатова сама Человек Пригорода, причем, не столько биографически, сколько по сути. Россия, которую она несет в себе – это Пригород: скудно живущий, тяжело работающий, презирающий позерство, умеющий учиться, молиться и делиться последним. Это ее родня – и в переносном, и в прямом смысле. Любовь к этим людям и составляет «тайный двигатель» ее творчества.

Коль скоро такая – «пригородная» – Россия существует и способна к самовоссозданию вопреки извращенным режимам и уродливым временам, дело поэта делается.

Анатолий Добрович

Михаил ГОНЧАРОВ «Записки маргинала». – Бостон – «M Graphics Publishing», 2007.

В книге шесть разделов. В каждом по несколько... рассказов? Минимемуаров? То ли это некие кентавры – продукт работы и памяти, и воображения? Вот как рекомендует себя сам автор: «Всё, что мы пишем, мы пишем о себе...» Кто эти «мы»: все вообще пишущие или только пишущие *маргиналы*? К примеру, Бабель, по свидетельству Паустовского, рассуждал совершенно иначе: «Я беру пустяк: анекдот, базарный рассказ – и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться» («Время больших ожиданий»).

Но мой герой не Исаак Эммануилович, а Михаил Маркович. (Это я подлаживаюсь под Гончарка, нередко заменяющего в своих текстах фамилию известного человека его именем-отчеством: Анна Андреевна вместо Ахматовой, Владимир Семёнович вместо Высоцкого...)

Итак, всё о себе. Многое в книге работает на эту формулу. Рассказы – все – написаны от первого лица, причём нередко это лицо называет себя Мишей, намекает и на своё отчество, которое иные русские люди заменяли более понятным «Макарыч». И возраст рассказчика совпадает с возрастом автора. И описанные *случаи из жизни* тоже вполне реальны, хотя, признаться, многовато их на одного человека, даже если он маргинал. Некоторые персонажи переходят из рассказа в рассказ: «моя Софа», о которой не раз доверительно сообщается, что она – его *вторая* жена; сосед дядя Коля; однопольчанин Серёга...

Ощущение документальности усиливается упоминанием в некоторых рассказах довольно известных фигурантов (например, «надел клетчатую рубашку, которая раньше принадлежала Саше Якобсону, бывшему члену ЦК левоатеистической партии МЕРЕЦ»).

Упомяну и склонность автора к поэтике сказа, придающей прозе привкус экзотичности: «Я приходил сюда по пятницам, я шёл к сердцу арабского квартала Старого города в ленивой сутолоке базара <...>; я добирался до лавки старика ровно без пяти двенадцать – и застыл, медленно поворачиваясь по часовой стрелке» (рассказ «Очарованный

принц»). Помимо «ленивой сутолоки базара» и «медленного поворота», тут ещё и анафоричность, которая воздействует, как крупный план в кино, заставляющий поверить в подлинность происходящего.

Порою, увлекаясь сказом, М. Гончарок переходит на стихотворение в прозе а-ля Андрей Белый, например, в концовках того же превосходного в целом «Очарованного принца» и другого рассказа – «Глазницами в рассвет»; впрочем, в последнем ритмизованная проза более оправданна, поскольку представляет собой поток сознания.

Если говорить о жизненном материале сюжетов, укажу на обширную географию (Ленинград советских времён и окрестности; Калининград, он же «Кёниг»; Афганистан; и, конечно, Израиль со своей столицей – местом обитания и объектом восхищения автора) и этнографию (евреи, русские, украинцы, армяне, арабы, бедуины...).

Многообразен и «социальный срез» героев «Записок». Полукрестьянин-полупролетарий Василь Васильевич, ненавидящий курево и «коммуняк». Репатриант Иван, живущий в Кирьят-Арбе и разгуливающий по арабским районам Хеврона «враскачку, как моряк на суше». Однокашник Владик, учившийся «легко и быстро, как бы шутя», прошедший через все искусы позднесоветского времени и ставший «духовнопросветлённым гуру нового поколения». И тот «иссохший от учёности старец с меховой шапкой на голове», коего встретил рассказчик «в самом сердце талмудической учёности и святости великого города». И другой старец, араб Абд-Аллах, свято блюдуший законы гостеприимства и честно предупредивший Мусу-Михаила, чтобы он больше не приходил, ибо уже не сможет защитить его в своём доме...

Борис Камянов в послесловии к книге Гончарка пишет, что «его предтечи – из тех, кто составляет гордость русской литературы». Не знаю, совпадут ли мои гипотезы с камяновскими, но отважусь их озвучить. Мне кажется, прежде всего речь должна идти о Бабеле и Довлатове. Вот образчик а-ля Бабель: «Тьма взяла меня за горло. Я был весь в поту, из переулков вываливались тонны и века ватной тишины». А вот «довлатовское»: «Посидев в машине под палящим солнцем ещё секунд двадцать и зная неспешный характер своего ленинградского соученика, бывшего комсомольца и отличника политической подготовки, я перечитал записку и, подумав, добавил в конце большими буквами слово "БЛ..б", не думая ни на секунду о том, что товарищ мой может принять это выражение за подпись». Тут похож не крой фразы, а насыщенность её внутренним комизмом при сохранении невозмутимой серьезности повествования.

И ещё одно влияние разглядел я – в рассказе «Василиса». Может быть, это покажется странным самому автору, но я имею в виду... Фолкнера, с его совмещением времён на узком пятчке текста и длинными речевыми периодами наподобие того, что занимает двадцать семь лет и целый абзац на стр. 166, начиная со слов: «И сказала, плача и злясь» и кончая словами: «...ты дурак такой, Мишка, приезжай».

Книжка приехала к нам из Бостона, причём там её издали по собственной инициативе, ознакомившись с текстами, выложенными в Интернете. Пересказываю то, что слышал от вышеозначенного «Мишки».

Михаил Копелиович

ИМЕНА

Марк АЗОВ (Айзенштадт) родился в Харькове в 1925 году. Во время войны был на фронте. Дошел до Берлина. Преподавал литературу в школе. Много лет жил в Москве. Писал миниатюры для театра Аркадия Райкина. Автор поэтических сборников, книг прозы, пьес и киносценариев. Репатриировался в 1994 году. Живет в Нацрат-Илите. Главный редактор альманаха «Галилея» и руководитель одноименного театра. В 2003 году вышла книга «И смех, и проза, и любовь», в 2009-м – «И обрушатся горы. Книга откровений и фантазмов». В «ИЖ» рассказы и эссе **М. А.** опубликованы в №№ 8, 13, 30, 31.

Андрей АНПИЛОВ родился в Москве в 1956 году. Окончил Московский текстильный институт, факультет прикладного искусства. Стихи, проза и критические статьи публиковались в «НЛО», «Родник», «Волга», «День и ночь», «Новая камера хранения», «Остров», «Контрапункт», «Знамя», «Монолог», «Литературная газета» и др. Издал три книги стихотворений, книгу прозы, несколько книг стихов и рисунков для детей, а также восемь CD своих песен в авторском исполнении. Живёт в Москве.

Сергей АРНО родился в 1950 году в Новосибирске. С детских лет жил в Ленинграде. Работал гитаристом в Ленинградской филармонии, Ленконцерте. Систематически начал писать песни после знакомства с Юрием Кукиным в 1978 году. С 1993 по 2009 годы жил в США. Автор дисков «Песни в звёздную полосу», «Манхэттенская кручинушка», «Девочка из фарфора» и др. и книг «Я женат на Свободе» (рассказы) и «Вокруг света на гитаре» (тексты песен). Живет в Санкт-Петербурге.

Давид БААЗОВ (1883, Цхинвали, Грузия, – 1947, Тбилиси), раввин и общественный деятель. Изучал еврейскую философию и историю в Слуцке и Вильно, где сблизился с будущими лидерами русского и мирового сионизма. В 1903 году вернулся в Грузию. В 1918 году совместно с Ш. Цициашвили основал газету «Голос еврея». Будучи главным раввином Ахалцхского уезда, оккупированного турецкими войсками, пользуясь своими связями с руководителями ахалцхской мусульманской общины, спас христиан уезда от уничтожения мусульманскими фанатиками. После советизации Грузии (1921) вместе с Н. Элиашвили и своим старшим сыном Г. Баазовым организовал еврейские школы (с преподаванием иврита и истории еврейского народа), а в 1924 году издавал еврейско-грузинскую газету «Макавеели», вскоре закрытую властями. В 1925 году добился разрешения советских властей на выезд части грузинских евреев в Эрец-Исраэль, которую он посетил с целью подготовки этой алии, сумев получить у британских мандатных властей сотни сертификатов на въезд в страну. Во второй половине 1920-х гг. – 1930-е гг. продолжал поддерживать контакты с легальными, а затем и с ушедшими в подполье сионистскими организациями России. В начале 1938 года был арестован и приговорен к смертной казни за сионистскую деятельность. Смертный приговор был заменен ссылкой в Сибирь. После возвращения в Грузию в 1945 г. и до конца жизни вел национально-просветительскую деятельность. В Иерусалиме именем **Д. Б.** названа улица в районе Рамот-Алон.

Гурам БАТИАШВИЛИ родился в 1938 году в Сенаки (Грузия). Окончил Тбилисский госуниверситет (1959). Автор пятнадцати книг, в т. ч. романов «Если я забуду тебя, Ерушалаим», «Десятый человек», «Человек из Вавилона» и др. Пьесы Г. Б. ставились в Грузии, России, Израиле. Редактор грузинского журнала «Театр и жизнь», основатель и редактор еврейской газеты «Менора», издающейся в Тбилиси на грузинском языке. Лауреат Государственной премии Грузии в области литературы и искусства. Живет в Тбилиси.

Анаида БЕСТАВАШВИЛИ родилась в Тбилиси. Окончила Литинститут им. Горького (1963). Печатается с 1958 года. Перевела с грузинского более тридцати авторов – от древней литературы (эпос «Русуданиани», «Исторические хроники Грузии») до наших современников, в том числе Чабуа Амиразджиби, Тамаза Чиладзе, Гурама Гегешидзе. Заслуженный деятель искусств Грузии. Гражданка Израиля, в настоящее время живет в Москве. Автор статей о литературе и культуре Израиля, опубликованных в Израиле, России, США.

Семён ГРИНБЕРГ родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репатриировался в 1991 году. Один из основателей «Иерусалимского журнала». Автор поэтических книг «Разговоры и сонеты» (1992), «Иерусалимский автобус» (1996), «За столом и на улице» (1996) «Разные вещи» (1998), «Стихотворения из двенадцати книжек» (2003). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов С. Г. «Дни творения» (№ 2), «Встреча» (№ 18), «Городское» (№ 24-25), «Баранов» (№ 26), его переводы из У. Офека и Й. Гефена (№ 7).

Иосиф БУКЕНГОЛЬЦ родился в 1955 году в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт. Репатриировался в 1990 году. Живет в Иерусалиме. Работает реставратором археологических находок в Департаменте древностей. Ранее не публиковался.

Анатолий ДОБРОВИЧ родился в 1933 году в Одессе. С начала 60-х годов жил в Москве. Репатриировался в 1988 году. Автор 13 популярных книг по психологии и психотерапии, поэтических сборников «Монолог» (2000), «Линия прибоя» (2003), «Остров Явь» (2005). Живет в Бат-Яме. Работает врачом.

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Случай и судьбу благодаря» (№ 22) и рецензии на книги Велвла Чернина (№ 23) и Александра Воронеля (№ 30).

Борис КАМЯНОВ (Барух Авни) родился в Москве в 1945 году. Репатриировался в 1976 году. Автор поэтических книг и юмористических сборников; в его переводе (в соавторстве с Н.-З. Рапопортом) вышла в свет «Песнь песней» с комментариями. Стихи и переводы включены в антологии «Строфы века» и «Строфы века – 2». Лауреат нескольких литературных премий. Основатель и руководитель объединения израильских русскоязычных писателей «Столица». Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы стихи Б. К. и его переводы из У. Ц. Гринберга (№№ 12, 13, 24-25), а также воспоминания «Знамя строителя» и его знаменосцы» (№ 16).

Алёна (Алия) КАРИМОВА родилась в 1976 году в г. Кызыл-Кия Киргизской АССР. Окончила физфак Казанского госуниверситета и ВЛК при Литинституте им. Горького. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Юность»... Автор книги стихотворений «Другое платье». Живет в Казани.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ родился в 1937 году в Харькове. По образованию инженер. Репатриировался в 1990 году. Автор книг о современной русской литературе и об израильской литературе на русском языке «В погоне за бегущим днем» (2002), «Литература и кино» (2006), «Рецензия – любовь моя» (2006). Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликованы его рецензии на книги Бориса Голлера (№ 6), Светланы Шенбрунн (№ 7), Эли Шехтмана (№ 13), Геннадия Беззубова (№ 23), Федора Лясса (№ 26), Елены Аксельрод и Ирины Рувинской (№30); эссе «Три оды Богу» (№ 29).

Самилла МАЙЗЕЛЬС родилась в 1918 году в Москве. В 1941 году окончила ИФЛИ. Преподавала английскую и американскую литературу в московских вузах. В 1955 – 1974 гг. работала в журнале «Иностранная литература». Репатриировалась в 1990 году. Живет в Маале-Адумим.

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг; восемь из них вышли в переводе на иврит, девять – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.

В «ИЖ» опубликованы рассказы Д. М. «Конец света» (№ 6), «Гуревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12), «Тринадцатая нить» (№ 17), «Рассказы у костра» (№ 24-25), «Старик, который забыл умереть» (№ 27); эссе «Русская рулетка Олеши» (№ 14-15), интервью с В. Полухиной «Всё зависит от мастера!» (№ 31).

Светлана МАРКОВСКАЯ родилась в 1965 году в Новосибирске. Много лет прожила на Крайнем Севере. Работала на телевидении и радио. Публиковалась в региональной прессе, в литературных альманахах. Лауреат поэтического конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», победитель первого всероссийского конкурса артистов эстрады «Радуга талантов», автор песенных текстов, телесценариев, телесериалов, сценариев массовых зрелищ и концертов, заслуженный работник культуры РФ. С 1998 года живет в Москве, руководит информационным бюро ОГТРК «Ямал – Регион».

Евгений МИНИН родился в 1949 году в Невеле. Окончил Витебский станко-инструментальный техникум. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского пединститута. Работал на заводе, преподавал в школе. Репатриировался в 1990 году. Автор сборников стихов «Разве» (1999), «Линия крыла» (2002), «Сто пародий и кое-что еще» (2006), текстов

песен к дискам «Верность», «Дамские секреты», «Июльское варенье». Лауреат Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006) и конкурса «Пушкинская лира» (США, 2005). Живет в Иерусалиме. Работает учителем в школе. В «ИЖ» опубликованы подборка стихов Е. М. «Без Мальчиша и без Гавроша» (№ 23) и подборка пародий «Сквозь точки-запятые» (№ 27).

Лион НАДЕЛЬ родился в 1937 году в Киеве. После эвакуации вернулся в Харьков, окончил Политехнический институт, работал инженером-электриком. Репатриировался в 1990 году. Автор многих статей о жизни и творчестве В. Высоцкого, лимериков и палиндромов (с 1996 года), которые публиковались в израильской и российской периодике. В 2000 году вместе с художницей Нинелью Шаховой выпустил книгу палиндромов и стихов «Мыло – голым!». Живет в Афуле.

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, росла в Подмосковье. С 1963 года жила в Москве. Окончила МИНХ им. Плеханова, ВЛК при Литинституте им. Горького. Работала линотиписткой, санитаркой, социологом, сторожем. Автор десяти поэтических сборников. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки ее стихов (№№ 3, 12, 18, 24-25). Лауреат поэтических фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006). Стихи поэта в переводе З. П. опубликованы в «ИЖ» (№№ 20-21, 22). В «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышли книги З. П. «Иерусалимские картинки» (2000), «Счастье без прикрас» (2002), «Новые иерусалимские картинки» (2004), «Ближневосточница» (2006), «Энергия согласия» (2008).

Виктория РАЙХЕР родилась в 1974 году в Москве. Репатриировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией. Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (тт. 1, 2, 3), «ПрозаК», «Секреты и сокровища: лучшие рассказы 2005 года» и др. Автор книги прозы «Йошкин дом» (2007), издала диск своих песен «Полёт шмеля» (2000). Живет в Текоа. В «ИЖ» – рассказы «От суммы, от тюрьмы...» (№ 19), «Сделка» (№ 22) и подборка психосказок «Прекрасный результат» (№ 31).

Михаил СИПЕР родился в 1954 году в Нижнем Тагиле. В 1976 году окончил УПИ. Репатриировался в 1991 году. Автор сборников стихов «Из неперечёркнутого» (1996) и «Струна, порезанная пальцем» (2005). Лауреат многих фестивалей авторской песни, обладатель приза «Поэт и толпа» Турнира поэтов «Пушкин в Британии», (2005), «Гран-при» конкурса пародистов памяти А. А. Иванова (2005), Золотой медали Франца Кафки (2008). Один из основателей КСП «Зеленая лампа» (1982) и интернет-форума «Ристалище» (2004). Живет в кибуце Кфар Масарик.

Михаил ФЕЛЬДМАН родился в 1964 году в Москве. Окончил МАДИ. Репатриировался в 1991 году. Лауреат фестивалей авторской песни, выпустил диски «Билет на Альфу-Центавра» (2005),

«Вдоль по бездорожью» (2009), один из авторов диска «Иерусалимский альбом». Автор книги песен и палиндромов «Со среды на пятницу» (2002), один из участников «Антологии авторской песни», собранной Д. Сухаревым. Живет в Беэр-Шеве.

В «ИЖ» стихи и песни **М. Ф.** публиковались в №№ 6, 19, 27, 30.

Михаил ХЕЙФЕЦ родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Пединститут им. А. Герцена. В 1955 – 1996 гг. преподавал литературу и историю в школе. С 1966 года – профессиональный литератор (основная тема публикаций – народничество и народовольчество). В 1974-м осужден на шесть лет (лагеря и ссылка) за написание предисловия («Иосиф Бродский и наше поколение») к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. В заключении написал, переправил «за проволоку» и выпустил в Париже книги публицистики, документальной прозы и интервью «Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак».

Репатриировался в 1980 году. Работал научным сотрудником Центра по изучению и документации восточно-европейского еврейства при Иерусалимском университете и обозревателем газеты «Вести»; написал книги «Глядя из Иерусалима», «Цареубийство в 1918 году», «Воспоминаний грустный свиток», «Суд над Иисусом – еврейские версии и гипотезы», «Ханна Арендт судит XX век» и др., вышедшие в Израиле, России и на Украине. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы рецензии **М. Х.** на журнал «Время искать» (№ 2), на книги Марка Зайчика «Жизнь Бегина» (№ 8) и Лорины Дымовой «Никодим и Фиолета» (№ 22); статья «Почему Жаботинский не стал еврейским вождем» (№ 29).

Светлана ШЕНБРУНН родилась в Москве в 1939 году. Окончила Высшие сценарные курсы (1964). Репатриировалась в 1975 году. Автор книг прозы «Декабрьские сны» (1990), «Искусство слепого кино» (1997), романов «Розы и хризантемы» (2000, шорт-лист премии «Букер») и «Пилюли счастья» (2006). Перевела на русский язык рассказы, повести, романы и пьесы многих израильских писателей XX века, включая классиков ивритской литературы. Лауреат премии Союза писателей Израиля (2001). Живет в Гиват-Зееве.

В «ИЖ» опубликованы первая часть романа **С. Ш.** «Пилюли счастья» (№ 5), переводы из Авигодора Шахана (№ 1), Шмуэля Йосефа Агнона (№№ 2, 5), Иеудит Кацир (№ 4), Дана Орьяна (№№ 7, 19), Гершона Шофмана (№ 9), Давида Гроссмана (№№ 24-25); эссе «Когда есть "летучие почты"» (№ 29).

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЪВИНЫЕ ВОРОТА

СЕМЁН ГРИНБЕРГ. В первом приближении. <i>Стихи</i>	3
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН. Розы и хризантемы <i>Глава из третьей части романа</i>	7
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. Про кота. <i>Стихи</i>	112
БОРИС КАМЯНОВ. Из мрака – в свет. <i>Стихи</i>	114
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ. Поэма о доме и големе. <i>Повесть</i> . .	118
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. Дом времени. <i>Стихи</i>	153

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ДАВИД МАРКИШ. Тубплиер. <i>Главы из романа</i>	160
--	-----

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

АЛЁНА КАРИМОВА. Только обнять. <i>Стихи</i>	185
АНДРЕЙ АМПИЛОВ. Одним росчерком света. <i>Стихи</i>	188
СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ. Вдоль ручья. <i>Стихи</i>	193

УЛИЦА ГАЛИЛЕИ

МАРК АЗОВ. Два рассказа	198
ЛИОН НАДЕЛЬ. Азарт разга. <i>Палиндромы</i>	206

УЛИЦА БААЗОВА

ГУРАМ БАТИАШВИЛИ. Синагога. <i>Рассказ</i> <i>Перевела с грузинского Анаида Беставашвили</i>	211
---	-----

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Из будущей книги. <i>Мемуары</i>	223
САМИЛЛА МАЙЗЕЛЬС. Квартира на Благовещенском <i>Мемуары</i>	244

ПАРК САКЕР

МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН. Венок советов. <i>Песни</i>	260
МИХАИЛ СИПЕР. Сами себе пророки. <i>Стихи и песни</i>	262
СЕРГЕЙ АРНО. Песни разных лет	265

НОВЫЕ ВОРОТА

ЕВГЕНИЙ МИНИН, МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ, АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ о книгах Александра М. Кобринского, Пинхаса Полонского, Елены Игнатовой, Михаила Гончарка	270
--	-----

ИМЕНА

Авторы и персонажи	278
------------------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,
P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Иосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехизэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)
за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2009 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме»; Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка»

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,

«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас»,

«Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»

Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»; Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведевко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

книги Григория КАНОВИЧА, Ицхокаса МЕРАСА, Евгения МИНИНА,

Хавы КОРЗАКОВОЙ, Феликса КРИВИНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

SEMEN GREENBERG. As an approximation. *Poems*

SVETLANA SCHOENBRUNN. Roses and chrysanthemums
A Chapter from Part Three of the novel

VICTORIA RAIKHER. About the cat. *Poem*

BORIS KAMYANOV. From darkness into light. *Poems*

JOSEF BUKENGOLTS. The poem about the House and the Golem
Novelette

ZINAIDA PALVANOV. The house of time. *Poems*

JAFFA GATE

DAVID MARKISH. Tubplier. Chapters from the novel

RUSSIAN COMPOUND

ALYONA KARIMOVA. Just to embrace. *Poems*

ANDREY AMPILOV. With a stroke of light. *Poems*

SVETLANA MARKOVSKAYA. Along the brook. *Poems*

GALILEE STREET

MARK AZOV. Two short stories

LEON NAIDEL. Palindromes

BAAZOV STREET

GURAM BATIASHVILI. Synagogue. *Short story*

Translated from Georgian by Anaida Bestavashvili

MOUNT SCOPUS

MICHAEL KHEIFETS. From the new book. *Memoirs*

SAMILLA MAIZELS. The apartment in Blagoveshchensky lane
Memoirs

SAKER GARDEN

MICHAEL FELDMAN. Almost point-blank. *Lyrics*

MICHAEL SYPER. Prophets themselves. *Poems and lyrics*

SERGEY ARNO. Songs of different years

NEW GATE

EVGENY MININ, MICHAEL KOPELIOVICH, ANATOLY DOBROVICH
on new books by Alexander M. Kobrinsky, Pinchas Polonsky,
Elena Ignatova, Michael Goncharok

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 32, 2009

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: antho.net/jr/index.html
magazines.russ.ru/ier/

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Elena Ignatova, Yuly Kim, Zinaida Palvanova,
Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary: **Evgeny Minin**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina,**
Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky,
Victor Gopman, Gregory Gordin, Leonid Levinson,
Svetlana Moiber, Inna Vinyarsky

Print: ***TSUR OT***

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2009. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-6451288

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-495-5507747; apksp@narod.ru
Victor Indenbaum – 7-495- 9157178; sifria@mail.ru

in New York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
in Chicago: **Alexander Blinsein** – 1-847-6761134; sashablin@hotmail.com
Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 336 73024165; v.smekhov@primetouch.com

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים :

שער אריות

סמיון גרנברג. בקירוב הראשון – שירים
סבטלנה שנברון. וורדים וחרציות – פרק מחלקו השלישי של רומן
וויקטוריה רייכר. אודות החתול – שירים
בוריס קמיאנוב. מחושך לאור – שירים
יוסף בוקנגולץ. פואמה על הבית והגולם – סיפור
זינאידה פלבנובה. ביתו של הזמן – שירים

שער יפו

דוד מרקיש. טובפליאר – פרקים מרומן

מגרש הרוסים

אליונה קרימובה. רק לחבק – שירים
אנדרי אנפילוב. במשיכה אחת של אור – שירים
סבטלנה מרקובסקאיה. לאורך הנחל – שירים

רחוב הגליל

מרק אזוב. שני סיפורים
לאון נדל. להט של פעם – פלינדרומים

רחוב באזוב

גוראם בתיאשבילי. בית כנסת – סיפור
מגרוזינית – אנאידה בסטוושבילי

הר הצופים

מיכאיל חפץ. מספר עתידי – זיכרונות
סמילה מייזלס. דירה בבלגובשינסקי – זיכרונות

גן סאקר

מיכאיל פלדמן. כמעט באופן חד – שירים
מיכאיל סיפר. נביאים לעצמם – שירים
סרגי ארנן. שירים משנים שונות

השער החדש

יבגני מינין, מיכאיל קופליוביץ', אנטולי דוברוביץ'
על ספריהם מאת אלכסנדר קוברינסקי, פינחס פולונסקי,
ילנה איגנטובה ומיכאיל גונצ'רוק

שמות

דמויות ויוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קיס,
זינאידה פלבנובה, וולוד טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, סבטלנה מויבר, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קרן רוסקי מיר



משרד התרבות והספורט
מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2009 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-9960302, 02-5361947
E-mail: jerusalemreview@gmail.com

